В. Белов

Кануны

Василий Белов Кануны



Василий Белов

Кануны

Хроника конца 20-х годов

«Современник»
Москва
1976

Р2
Б43

Белов В. И.

Кануны. Хроника. М., «Современник», 1976 г.
333 с. (Новинки «Современника»).

«Кануны» Василия Белова — первая книга задуманного автором многопланового повествования. В этой книге писатель дает полотно жизни и быта доколхозной северной деревни, конца 20-х годов.

Б $\frac{70302-196}{М\ 106(03)-76}$ 10—76 Р2

Часть первая

I

Кривой Носопырь лежал на боку, и широкие, словно вешнее половодье, сны окружали его. Во снах он снова думал свои вольные думы. Слушал себя и дивился: долог, многочуден мир, по обе стороны, по ту и по эту.

Ну, а та сторона... Которая, где она?

Носопырь, как ни старался, не мог углядеть никакой другой стороны. Белый свет был всего один, один-разъединственный. Только уж больно велик. Мир ширился, рос, убегал во все стороны, во все бока, вверх и вниз, и чем дальше, тем шибче. Сновала везде черная мгла. Мешаясь с ярым светом, она переходила в дальний лазоревый дым, а там, за дымом, еще дальше, раздвигались то голубые, то кубовые, то розовые, то зеленые пласты; тепло и холод погашали друг дружку. Клубились, клубились вглубь и вширь пустые многоцветные версты...

«А дальше-то что? — думал во сне Носопырь.— Дальше-то, видно, бог». Хотелось ему срисовать и бога, но выходило не то чтобы худо, а как-то не взаправду. Носопырь ухмылялся одним своим по-волчьи пустым, по-овечьи невозмутимым нутром, дивился, что нет к богу страха, одно уважение. Бог, в белой хламиде, сидел на сосновом крашеном троне, перебирал мозольными перстами какие-то золоченые бубенцы. Он был похож на старика Петрушу Клюшина, хлебающего после бани тяпушку из толокна.

Носопырь искал в душе почтение к тайнам. Опять срисовывал он богово, на белых конях, воинство, с легкими розовыми плащами на покатых, будто девичьих, плечах, с копьями и вьющимися в лазури прапорцами, то старался представить шумную ораву нечистого, этих прохвостов с красными ртами, прискакивающих на вонючих копытах.

И те и другие постоянно стремились в сражения.

Было в этом что-то пустоголовое, ненастоящее, и Носопырь мысленно плевался на тех и на этих. Вновь возвращался он к земле, к тихой зимней своей волости и к выстывающей бане, где жил бобылем, один на один со своею судьбой.

Сейчас он вспомнил свое настоящее имя. Его ведь звали Алексеем, он был сыном набожных, тихих и многодетных родителей. Но они недолюбливали младшего сына, отчего и женили на волостной красавице. На второй день после венчания отец вывел молодых за околицу, на обросший крапивой пустырь, воткнул в землю еловый кол и сказал: «Вот, прививайтесь, руки вам даны...»

Алеха был дородный мужик, но уж слишком несуразен лицом и фигурой: длинные, разной толщины ноги, косыня в туловище, а на большой круглой голове во все лицо уродился широкий нос, ноздри торчали в стороны, словно берлоги. От этого и прозвали его Носопырем. Он срубил избу на том самом месте, где отец поставил кол, но к землице так и не привился. Ходил ежегодно плотничать, бурлачил, на чужой стороне жить не любил, но из-за нужды привык зимогорить. Когда дети выросли, то вместе с матерью, оставив отца, ударились за реку Енисей, уж очень хвалил Столыпин-министр те места. Еще сосед Акиндин Судейкин придумал тогда частушку:

Мы живем за Енисеем,
Ни овса, ни ржи не сеем,
Ночь гуляем, день лежим,
Нахаркали на режим.

От семьи не доходило ни слуху ни духу. Носопырь навечно остался один, оброс волосами, окривел, дом продал, а для жилья купил баню и начал кормиться от мира. А чтобы не дразнили ребятишки нищим, он притворился коровьим лекарем, носил на боку холщовую с красным крестом сумку, где хранил стамеску для обрубания копыт и сухие пучки травы зверобоя...

Ему снилось и то, что было либо могло быть в любое время. Вот сейчас над баней в веселом фиолетовом небе табунятся печальные звезды, в деревне и на огородных задах искрится рассыпчатый мягкий снег, а лунные тени от подворий быстро передвигаются поперек улицы. Зайцы шастают около гумен, а то и у самой бани. Они шевелят усами и бесшумно, без всякого толку скачут по снегу.

Спит в пригороде на елке черный стогодовалый ворон, река течет подо льдом, в иных домах бродит в кадушках недопитое никольское пиво, а у него, у Носопыря, тоскуют суставы от прежних простуд...

Он очнулся от восхода луны, цыганское солнышко проникло в окошко бани. Тяжесть желтого света давила Носопырю на здоровое веко. Старик не стал открывать зрячий глаз, а открыл мертвое око. В темноте поплыли, зароились зеленые искры, но их быстрая изумрудная россыпь сразу сменилась кровавым тяжким разливом. И тогда Носопырь поглядел здоровым глазом.

Луна светила в окошко, но в бане было темно. Носопырь пощупал около, чтобы найти железный косарь и отщепнуть лучинку. Но косаря не было. Это опять сказывался он, баннушко. Носопырь хорошо помнил, как ввечеру топил каменку и как воткнул косарь между стеною и лавкой. Теперь вот баннушко опять спрятал струментину... Баловал он последнее время все чаще: то утащит лапоть, то выстудит баню, то насыплет в соль табаку.

— Ну, ну, отдай,— миролюбиво сказал Носопырь.— Положь на место, кому говорят.

Луну затянуло случайным облачком, в бане тоже исчезло мертвое желтое облако. Каменка совсем остыла, было холодно, и Носопырю надоело ждать.

— Совсем ты сдурел! Экой прохвост, право. Чево? Ведь не молоденькой я баловать с тобой. Ну, вот, то-то.

Косарь объявился на другой лавке. Старик нащепал лучины и хотел затопить каменку, но теперь, прямо из-под руки, баннушко уволок спички.

— Ну, погоди! — Носопырь погрозил кулаком в темноту.— Вылезай добром, ежели!..

Но баннушко продолжал разыгрывать сожителя, и Носопырь топнул ногой:

— Отдай спички, дурак!

Ему казалось, что он ясно видит, как из-под лавки, где была дыра в пол, по-кошачьи мерцают два изумрудных глаза. Носопырь начал тихо подкрадываться к тому месту. Он только хотел схватить баннушка за скользкую шерсть, как нога подвернулась. Носопырь полетел. Он чуть не кувырнул шайку с водой, плечом ударился в дверку. «Хорошо что не головой»,— вскользь подумалось ему. Тут баннушко завизжал, бросился в притвор, только и Носопырь не зевал, успел-таки вовремя прихлопнуть дверку.

Он крепко тянул за скобу, был уверен, что зажал в притворе хвост баннушка.

— Вот тебе, так! Будешь еще варзать? Будешь охальничать, бу...

Визг за дверью перешел в какой-то скулеж, потом как будто все стихло. Носопырь хлопнул по балахону: спички оказались в кармане. Он вздул огонь и осветил притвор. Меж дверью и косяком был зажат конец веревки. «Вот шельма, ну и шельма,— Носопырь покачал головой.— Каждый раз грешить приходится».

Теперь он зажег лучину и вставил ее в гнутый железный светец. Веселый горячий свет осветил темные, будто лаковые бревна, белые лавки, жердочку с висящими на ней берестяным пестерем и холщовой сумой, где хранились скотские снадобья. Большая черная каменка занимала треть бани, другую треть — высокий двухступенчатый полок. Шайка воды с деревянным, в образе утицы ковшиком стояла на нижней ступени. Там же лежала овчина, а на окне имелись берестяная солонка, чайный прибор, ложка и чугунок, заменяющий не только горшок для щей, но и самовар.

Носопырь взял веревку, которую баннушко заместо хвоста подсунул в притвор. Босиком пошел на мороз, за дровами. Врассыпную от бани с визгом бросились ребятишки. Остановились, заприплясывали:

— Дедушко, дедушко!

— Чево?

— А ничево!

— Ну, ничева-то у меня много и дома.

Носопырь огляделся. Вверху, на горе, десятками высоченных белых дымов исходила к небу родная Шибаниха. Дымились вокруг все окрестные деревеньки, словно скученные морозом. И Носопырь подумал: «Вишь, оно... Русь печи топит. Надо и мне».

Он принес дров, открыл челисник — дымовую дыру — и затопил каменку. Дрова занялись трескучим бездымным огнем. Носопырь сел на пол напротив огня — в руках кочерга, калачом мослатые ноги — громко запел тропарь: «...собезначальное слово отцу и духови от девы, рождшееся на спасение наше, воспоим верніи и поклонимся, яко благоволи плотию взыти на крест и смерть претерпети и воскресити умершия славным воскресением твоим!»

Слушая сам себя, он долго тянул последний звук. Сделал передышку. Перевернул полено на другой, не тронутый огнем бок, и снова речитативом, без заминки спел:

— Радуйся дверь господня, непроходимая, радуйся стено и покрове притекающих к тебе, радуйся необуреваемое пристанище и неискусобрачная, рождшая плотию творца твоего и бога молящи не оскудевай от воспевающих и кланяющихся рождеству твоему-у-у!

— У-у-у! — послышалось и за банным оконцем. Ребятишки барабанили в стену поленом. Он схватил кочергу, чтобы выскочить на мороз, но раздумал и закурил табаку.

«Святки. В святки и я бывало дразнил бобылей. Пускай дикасятся, больше не выйду».

Дрова протопились, надо было закрывать трубу. Носопырь обулся, нахлобучил на голову шапку, снял с жердочки сумку с красным крестом и кликнул баннушка:

— Иди, иди, не греши... Ступай наверьх, дурачок, сиди в тепле. Я погулять схожу, никто тебя не тронет.

Месяц висел высоко над белыми крышами. Еще выше роились, уходили друг за другом в запредельную даль скопища звезд.

Носопырь, выкидывая обутые в лапти долгие ноги, по своей тропе поднялся в деревню. В ногах его с шумом путались полы обширного холщового балахона, голова в лохматой шапке была повернута здоровым глазом вперед и оттого глядела куда-то в сторону. Ему вдруг стало уныло: приходилось думать, в какую избу идти. Он рассердился и решил идти наугад, к кому попало.

Рубленный в обло дом Роговых припал от старости на два передних угла. Нахлобучив высокий князек, он тремя желтыми окошками нижней избы весело глядит на деревню.

В обжитом тепле — привычно и потому незаметно для хозяев — пахнет капустными щами, березовой лучиной и свежей квасной дробиной. Легкий запах девичьего сундука примешивается сегодня к этим запахам. На зеркале и на сосновых простенках висят белые, с красными строчками полотенца; в кути, на залавке, мерцает начищенный речным песком, медный, фабрики Скорнякова, самовар.

Вся семья Роговых дома, близится время ужина. Никита Рогов, сивый и суетливо-ходкой, синеглазый и неворчливый старик режет ложку, сидя на чурбаке у топя-

щейся печки. Древесные завитки летят из-под круглой стамески, иные прямиком в огонь. Никита бормочет в бороду, совестит сам себя.

Хозяин Иван Никитич — при такой же, как у отца, но только черной бороде, с мальчишеской ухмылкой, зацепившейся где-то между ртом, правым глазом и правым ухом. В исстиранной, когда-то красной, с белым крестом по вороту рубахе, в дубленом жилете с рябиновыми палочками вместо пуговиц, в твердых от еловой смолы штанах, он сидит на полу и вьет завертки, успевая играть с котом и не давая погаснуть цигарке.

Сережка — заскребышек и единственный сын Ивана Никитича — вяжет вершу, жена Асинья сбивает мутовкой сметану в рыльнике, а дочь Вера, то и дело приплевывая на персты, споро прядет куделю.

В избе тепло и тихо, все молчат, только полощется в печке огонь да тараканы шуршат в потолочных щелях, словно шушукаются.

Вера вдруг прыснула смехом прямо в куделю. Она вспомнила что-то смешное.

— Ой, ой, Верушка-то у нас! — Аксинья тоже рассмеялась.— Чего это, видать, смешинка попала в рот?

— Попала.— Вера отложила прялку.

Она поохорашивалась у зеркала и подошла к Сережке:

— Сережа-то, Сережа-то вяжет и вяжет. А самому смерть охота на улицу.

— Самой-то охота!

Она кинулась его щекотать. Сережка сердито отпихивался от белых мягких Веркиных рук, ему было и смешно, и злость разбирала на назойливую сестру.

— Ну-ко, петель-то много наделал?

— Сама-то наделала!

И мать, и дедко много раз посылали Сережку гулять, но он из упрямства вязал и вязал вершу. Вера отступилась от брата и снова взялась за прялку.

— Ой, дедушко, хоть бы сказку сказал.

— Вишь ты, сказку ей,— Никита поверх железных очков ласково поглядел на внучку.— Уж на беседу-то шла бы...

— Да ведь рано еще, дедушко!

— Дедко севодни все сказки забыл,— сказал Иван Никитич и откинул руку с заверткой, чтобы поглядеть издали.— А вот я скажу одну. Бывальщинку...

— Ой, тятя, ничего ты не знаешь!

— Знаю одну.

— Сиди! — замахалась Аксинья.— Чего-то он знает. А до ерманьской войны, в Ольховице у Виринеи было...

— Это что избушка-то с краю?

— Да. Так отец у ее был, говорят, главный колдун на всю волость. Смерть-то пришла, дак маялся, умереть-то ему никак не давали.

— Кто? — Сережка вскинул светлые, в мать, ресницы.

— Да беси. Оне и не давали, мучили. Ему надо было знатье кому-нибудь передать. Пока знатье-то знаток не передаст с рук на руки, беси ему умереть не дадут. Сторожем жил при церкве, от деревни-то на усторонье. Все говорил, что когда умру, дак вы первую ночь дома не ночуйте. Умер он, а гроб-то в углу на лавке поставили, под божницей. Ночевать дома остались, в деревню не пошли.

Сережка перестал вязать, слушал. Аксинья ловко постукивала мутовкой, рассказывала:

— Вот, закрыли покойника, легли спать. А дело было тоже о святках. Огонь, благословясь, погасили. Спят они, вдруг мальчик маленький в полночь-то и пробудился. «Мама, говорит, тятя встает».— «Полно, дитятко, спи». Он ее опять будит: «Мама, тятя встает!» — «Полно, дитятко, перекрестись да спи». Никак не может матка-то пробудиться. Тут мальчик и закричал несвоим голосом: «Ой, мама, тятя к нам идет!» Она пробудилась, а колдун-от идет к ним, руки раскинул, зубы оскалены...

В роговской избе стало тихо, казалось, что даже тараканы в щелях примолкли. Вдруг огонь в лампе полыхнул, двери широко распахнулись, что-то большое и лохматое показалось в проеме.

— Ночевали здорово! — сказал Носопырь. И перекрестился. Иван Никитич плюнул, Вера заойкала, а Сережка, белый от страха, поднял с полу копыл с вершей. Носопырь сел на лавку.

— Ну, видно, пора и ужнать! — сказал весело Иван Никитич. Он сложил завертки и пошел к рукомойнику. Аксинья отложила рыльник и начала собирать на стол.

— Что, дедушко, не потеплело на улице-то?

— Нет, матушка, не потеплело.

— Пусть. Видать, сенокос будет ведреной.

У Носопыря заныло в нутре, когда Аксинья выставила из печи горшок со щами. Носопырь снял свою лохма-

тую шапку, склал ее на лавку около. Только теперь Вера рассмеялась своему испугу:

— Ну, дедушко, как ты нас напугал-то!

Увидев, что одно ухо шапки без завязки, она рассмеялась еще громче:

— Ой! Ухо-то у тебя без завязочки! Дай-ка я тебе пришью.

— Пришей, хорошая девка.

Вера достала с полицы берестяную с девичьим рукодельем пестерочку. Нашла какую-то бечевку и вдела в иглу холщовую нить. Носопырь подал ей шапку. Вера вывернула в лампе огня, чтобы было светлей пришивать. Вдруг она завизжала, бросила шапку на пол и затрясла руками: из шапки проворно выскочил мышонок. Все, кроме Никиты и кота, устремились ловить. Аксинья схватила ухват, Сережка лучину. Иван Никитич затопал валенком. Поднялся шум, а мышонок долго тыкался по углам, пока не нашел дырку под печку.

— Серко! А ты-то чего? Лежит, будто и дело не евонное. Ой ты, дурак, ой ты, бессовестный! — Аксинья поставила ухват и начала стыдить кота:— Гли-ко ты, прохвост, тебе уж и лениться-то лень, спишь с утра до ужны!

Кот как будто чуть застеснялся, но виду не подал. Он зевнул, спрыгнул с лежанки, потянулся и долго царапал ногтями ножку кровати. От многолетнего этого царапания ножка стала тоньше всех остальных, Серко точил когти только на ней.

— Ай да Серко! — подзадоривал Иван Никитич.— Ну и Серко, от молодец, от правильно делаешь? Нет, это неправильно ты делаешь...

— Он, вишь, мышонок-от... визоплох,— заступился за кота Носопырь.— Можно сказать, по нечаянности минуты.

— По нечаянности! — Аксинья все еще хлопала себя по бедрам.— Да его бы неделю не кормить, его, сотоненка, надо на мороз выставить.

Иван Никитич, перекрестившись, полез за стол. Когда все успокоилось, Асинья уже всерьез обратилась к Носопырю:

— Дак каково живешь-то?

— Да што, так бы оно и ничего,— Носопырь поскреб за ухом.— Только с им-то, с прохвостом, все грешу.

— С кем?

— Да с баннушком-то.

— Шалит?

— Варзает. Нет спасу.— Носопырь переставил с места на место длинные ноги.— Сегодня уж я не хотел с ним связываться. Нет, выбил из терпенья.

— А чего?

— Да спички уворовал.

— Мышонка-то, видать, тоже он подложил!

— Знамо, он. Больше некому.

Женщина сочувственно поойкала:

— А ты бы святой водой покропил. Углы-то!

Она раскинула на столе широкую холщовую скатерть, выставила посуду. Дед Никита положил на полицу ножик и недоделанную ложку, вымыл руки. Перекрестился, оглядел избу. При виде Носопыря крякнул, но ничего не сказал и, по-стариковски суетливо, уселся за стол. Начал не спеша резать каравай.

— Ну, со Христом! — Хозяйка разложила деревянные ложки.

— Верка, а ты чего? — оглянулся Иван Никитич.

— Не хочу, тятя.

Она подала Носопырю шапку с новой завязкой и, приплясывая, повернулась у зеркала. Спрятала под платок толстую, цвета ржаной корки, натуго заплетенную косу. Надела казачок, схватила какой-то приготовленный заранее узел и, вильнув сарафаном, выскользнула из избы.

Носопырь раза два для приличия отказался от предложенной ложки. Потом перекрестился и придвинулся к столу. Он с утра ничего не ел, запах щей делал его словоохотливее. Стараясь хлебать как можно неторопливее, говорил:

— Он, понимаешь, днем-то смирёный. А как ночь приходит, так и начинает патрашить.

— Ты бы, брат, взял да женился,— сказал Иван Никитич.— Вот бы тебе и не стало блазнить-то. Тебе потому и блазнит, что холостой живешь.

— Чево?

— Без бабы, говорю!

— Один.

— Ну вот... Долей-ко еще, матушка.

Хозяйка, смеясь и махаясь на мужа, сходила к шестку. Большое деревянное блюдо еще раз наполнилось щами. После старательно съели пшенную кашу, потом выхлебали опрокинутый в блюдо, залитый суслом овсяный кисель.

— Право слово,— не унимался Иван Никитич.— Вон хоть бы Таня. Чем тебе не старуха? Тоже одна живет. Женился бы, понимаешь, то ли бы дело.

Сережка за столом фыркнул. Дед Никита смачно кокнул ложкой по его кудельному темени. Парень перестал жевать, хотел обидеться, но фыркнул еще и, сдерживая смех, выбрался из-за стола.

— Мам, мне бы рукавицы!

— Куды лыжи-то навострил? Опять до полночи прошараганитесь. Диво, и мороз-то вас не берет!

Однако мать подала Сережке сушившиеся в печурке рукавицы. Парень проворно убрался к дружкам на морозную улицу. Вскоре заторопился гулять и Иван Никитич. Аксинья, вымыв посуду, тоже засобиралась в другоизбу. Носопырь отправился вместе с ними.

Дома остался один дед Никита.

Он увернул в лампе огонь, закрыл трубу жаркой лежанки. Сходил на сарай и в хлевы навестить скотину.

За печным кожухом потрескивала, высыхая, лучина, шуршали в стенах тараканы. Кряхтя от боли в спине, дед Никита опустился на колени, с виноватой отрадой, исподлобья взглянул на божницу. Перед большеглазым и скорбным Спасом чуть покачивалось на цепочке оправленное в резную медь голубое фарфоровое яичко, за ним тускло горела лампадка. Никита кидал щепоть ко лбу и по костлявым плечам, шептал молитву на сон грядущий:

— Господи, царю небесный, утешителю душе истины, умилосердись и помилуй мя грешного и отпусти вольныя мои грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя, яже от науки злы и суть от наглства и уныния, аще именем твоим клялся, или похулил еси в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал гневом моим, или солгал, или безгодно спал, или нищ придя ко мне и презрел его, или брата моего опечалил, или сводил, или кого осудил, или разреличахся, или разгордехся, или стояшу ми на молитве ум мой о лукавствии мира сего подвижехся, или развращение помыслил, или доброту чуждую видев и тою уязвлен был сердцем, или неподобныя глаголах, или греху брата моего посмеялся, или ино что содеял лукавое. Господи, боже наш, даждь нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу и соблюди нас от всякого мечтания и темныя сласти,

устави стремление страстей, угаси разжение восстаний телесных.

Никита вздохнул и сделал глубокий поклон. Глядя на крохотный, еле мерцающий огонек лампадки, он закончил молитву:

— Помилуй мя, творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти и прости ми, яко благ и человеколюбец да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречистое имя твое, со отцом и единородным его сыном, ныне и присно, и во веки, аминь.

Он проворно встал и так же по-стариковски суетливо полез на печь. Там, наверху, он поставил валенки на горячее место, заткнул уши куделей, чтобы не заполз таракан, и положил голову на узел просыхающей ржи.

Где-то в бревнах летней избы сильно пальнул мороз. Было девять часов вечера. Шла вторая неделя святок, святок нового тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

II

Примерно в тот самый момент, когда смеркли окна у Роговых, в доме напротив вспыхнул огонь. Десятилинейная лампа осветила внутренность Шибановского сельсовета. Длинный, на точеных ногах стол был покрыт розовым полотном. Залитый в иных местах химическими чернилами, стол этот и венские стулья, как и само подворье, принадлежали когда-то местному торговцу Лошкареву. Поэтому стены сельсовета были оклеены цветными шпалерами, повторявшими один и тот же рисунок: барыня в кринолине и с зонтиком прогуливала около дома с верандой какую-то диковинную собачку. У дверей громоздилось три-четыре сосновые скамьи, около изразцовой печи размещался несгораемый железный сундук, а на нем лежали старинные лошкаревские счеты.

Колька Микулин (по-деревенски Микуленок), молодой парень, председатель сельсовета и лавочной комиссии, он же председатель Шибановского ТОЗа, смачно и вслух выругался. Микулина допекала, вывела, как он

говорил, из всех рамок бумага, полученная из уезда еще неделю назад. Он подвинул огонь поближе и перечитал ее.

«Председателю Шибановского сельсовета тов. Микулину. Срочно. Несмотря на неоднократные указания, вами до сего времени не представлены сведения проработки материалов XV партсъезда. Требую в бесспорном порядке в срок до первого января сообщить результаты проработки тезисов ЦК и контртезисов оппозиции, результаты обсуждения резолюции ЦК о работе в деревне в неукоснительном проведении классовой линии.

Зам. зав. АПО Захарьевского укома ВКПб Меерсон».

Директива была отпечатана на тонкой бумаге, под копирку. Ниже подписи стояли нерусские буквы PS и приписка красным карандашом: «Не ограничивайтесь одной констатацией фактов!!»

— Рэ, рэ... так, ладно,— произнес Микуленок.— Кон... Констан-та-ци-я. Констатация. Ясно.

«Нет, а чего это? — подумал он.— Кооперация, кастрация... Не то, вроде не подходит. Вот мать-перемать!»

Он рассердился и плюнул в сторону, но тут же одумался и огляделся. Однако в помещении никого не было. Микуленок вздохнул и закурил махорки из даренного девкой кисета. Надо было писать сведения, а что писать, он не знал. К тому же вот-вот должен был зайти Петька Гирин, по прозвищу Штырь, приехавший из Москвы в отпуск, одногодок и холостяк. Они еще утром уговорились идти на игрище ряжеными.

Микуленок ходил по полу, курил, расправлял и подтягивал длинные, до пахов, голенища валенок. Наконец его круглое девичье лицо па-мальчишески просияло, он сел и написал на графленном под амбарную книгу листе:

«Сведенья.— Микуленок поглядел в потолок, пощипал чисто выбритую румяную щеку.— Зам. зав. АПО тов. Меерсону. Собранье по преломлению 15 партсъезда провели вечером при закрытых дверях с активом. Имея на лицо общим наличием трех членов актива слушали доклад

Микулина Ник. Николаевича. Он сделал доклад вкратце по соображеньям 15 партсъезда и вчасти деревенской линии. Выступило в прениях два, вопросов задано шесть. Вопервых всецело поддержали устремления центрального комитета и всячески отвергаем в корне неправельные тезисы оппозиции, как оне чужды трудовому крестьянству а деревенской жизни совсем не знают. Клеймя позором английских капиталистов, требуется укрепление ТОЗа кредитом, также просим выделить одну конную молотилку. Чуждых элементов на нашей территории сельсовета не имеется, из-за недостатка грамотных, и по причине низкой сознательности кадров имеем большую нужду в указаниях работы и в канцпринадлежностях. Ревизия кооперации проводится легулярно...»

На этом месте мысли Микулина оборвались, потому что хлопнули наружные ворота. Скрипуче запела давно не чиненная лошкаревская лестница. Вслед за валом холода в сельсовет с утробным воем закатился наряженный покойником Штырь.

— Ну, ну, хватит,— Микулин попятился к сейфу.

На Гирина жутко было глядеть. Длинный, до пят саван из беленого холста, вывернутая на левую сторону шапка, по плечам седые кудельные космы. Выбеленное мукою лицо искажалось вырезанными из брюквы громадными редкими зубами. Зубы не умещались, выпирали изо рта и наводили настоящую жуть. Вурдалак, да и только.

— Что? Ничего? — смеялся Петька.

Он вынул из-за щек «зубы», закинул в сторону полу савана. Из кармана синих комсоставских галифе проворно выволок четвертинку водки и завернутый в газету кусок вареной бараньей печенки.

— Ты это...— Микуленок затравленно оглянулся.— Крючок, крючок-то накинь. Тут вот с бумагами не могу развязаться.

— В части пятнадцатого?

— Ну. Сведенья требуют, как приспичило.

Петька Гирин, по прозвищу Штырь, знал толк в политике. В деревне говорили, что он служит теперь в канцелярии у самого Михаила Ивановича Калинина. Но сам Гирин не хвастал пока этим даже перед Микулиным — первым его дружком и теперешним главным командиром Шибанихи. Петька накинул на дверь крючок, поставил четвертинку под стол.

— Ну-ко, покажи...

Микулин подзамялся.

— Да ты не боись, не боись, я и не такие бумаги видывал! — Он быстро пробежал глазами по «сведеньям».— Так. В ажуре. А чего молотилка-то? У вас была молотилка лошкаревская.

— Вышла из строя. Дадут, как думаешь?

— Дадут не дадут, а в лоб не поддадут. Должны дать.

— Должны, должны! Вон Ольховской коммуне пехают в оба конца, чего не спросят. Два лобогрея, сепаратор. А нашему ТОЗу — хрен с возу!

— Так это коммуна, а у вас ТОЗ,— засмеялся Гирин.— Голова садовая. Должон чувствовать разницу.

— Да в чем? — обозлился Микулин.— У них вон всего две коровы да полтора мужика в хозяйстве. Остальное бабы и едоки. Будет от этой коммуны толк, как думаешь?

Петька ничего не ответил. Он снял с графина стакан, откупорил четвертушку. Широкие лошкаревские половицы запрогибались под его долговязой, в саване, фигурой.

— Ты вот скажи,— не унимался Микулин.— Чего там большие-то мужики думают? Какие у их центральные планы, куда оне-то мекают? С крестьянством-то...

— А чего? — Гирин глуповато, по-детски сморщился.— Земля вам дадена? Дадена.

— Дадена-то она пока дадена... А, ладно! — Микуленок бесшабашно махнул рукой.— Давай наливай, пойдем на игрище...

Решили обменяться валенками и вывернуть микулинский полушубок, чтобы нарядить Микуленка цыганом. Берестяная личина была сделана заранее, но лежала у председателя дома.

— Ты тут покарауль помещение, а я сбегаю,— сказал Микуленок.

— Давай.

Председатель выскочил на мороз в одном пиджачке.

Синие знобящие звезды близкими гроздьями висели в фиолетовом небе. На севере, за деревней, бесшумно и призрачно ворочались необъятные сполохи: на святки гулял везде дородный мороз. Желтым нездешним светом источались повсюду и мерцали под луною снега, далеко вокруг дымились густо скопившиеся в деревни дома.

В Шибанихе собиралось веселое игрище. Со стороны деревни Залесной слышались громкие всклики девок,

с другой дороги, от Ольховицы, в морозном воздухе наяривала балалайка. У Микулина что-то восторженно заныло между ключицами. У самых ворот косого своего дома его вдруг осенило: надо достать еще. Надо отпотчевать Петьку. Бежать на дом к продавцу он не решился, чтобы не было разговоров, а достать четвертинку в другом месте можно было только в избушке у старухи-бобылки Тани.

Она при свете лучины большой хомутной иглой кропала себе рукавицы. Нищая эта старушка, маленькая, но осадистая, как бы утоптавшаяся, опрятно жила в полузасыпанной снегом избушке. Округлым движением верхней губы она шевелила маленьким, о двух бородавках, носом, шмыгала. Она ушивала рукавицу, изредка пальцем в наперстке обламывая нагоревший уголь. И напевала тихо, тоненько:

Шел мой миленькой дорожкой,
Дорожкой, милой, столбовой...

У нее было то отрадно-умиротворенное настроение, когда человек, живущий в постоянной тревоге и холоде, сам добился себе всего: тепла, покоя и куска хлеба. И, чувствуя, что все это у нее сейчас есть, она с отрадой напевала старую, почти беззвучную песенку. Иногда, прерывая работу неглубоким зевком, Таня крестила рот и приговаривала: «О господи, царица небесная, матушка». И это краткое, вполне искреннее обращение как бы давало ей право попеть маленько еще:

За ним девушка следочком,
Следочком бежала за ним.

День у нее прошел, и прошел, как она думала, хорошо, счастливо. У нее имелась над головой своя крыша, была своя печка, и даже своя живая душа животинка, как она называла курицу Рябутку. Эта Рябутка днем гуляла по полу, теперь же по случаю ночной поры сидела за печкой, в закутке, на деревянном штырьке. И Таня поминутно вспоминала о ней. Вспоминала она и этот счастливо прошедший святочный день.

Утром, когда бабы в деревне испекли пироги, она босиком от одного крылечка к другому обежала Шибаниху. Таня никогда не теряла очередности, ходила по деревням строго по порядку, притом только по воскресеньям и

праздникам. Собирать свою дань в одной и той же деревне два раза подряд она считала святотатством, а когда собранные милостыни подходили к концу, поспевал какой-нибудь праздник в другой деревне.

Сегодня на очереди была как раз своя деревня, Шибаниха. Таня пришла домой еще до полудня с большой корзиной кусочков. Отогрела ноги, обулась в шубные шоптаники и долго перебирала кусочки, вспоминая, в каком дому какой даден. Она разложила их по сортам: этот ржаной — на сухарики, этот пшеничный — к празднику, а этот ячневый — с кипятком для будня. У Роговых, кроме большого воложного куска, Тане дали плашку хорошей лучины. Днем она исщепала полплашки и теперь сидела при ясном, совсем бездымном и теплом огне. Что еще надо крещеному человеку?

Шел мой миленькой дорожкой,
Дорожкой, милой, столбовой...

Какая-то застарелая, давно забытая и горькая нежность шевельнулась в сердце. Таня вздохнула, отложила наперсток и поглядела на простенок. Потемневшая питерская карточка, приколоченная гвоздиком, висела в простенке больше десятка лет. Все эти годы Таня так и не осмелилась оторвать ее от стены и по-настоящему поглядеть трех своих сыновей. Но она хорошо знала, что слева стоит младший Мишенька, справа средний Олешенька, а в середине, на венском стуле, сидит старший Никандр. Младшие сыновья стояли в фуражках, в сапогах и в царских мундирах, держа в руках обнаженные сабли, а мастеровой Никандр сидел в пиджаке и в косоворотке. Он сидел нога на ногу, сцепив на колене руки, его кудрявая голова была чуть откинута. Когда летом к Тане приходили гулять маленькие ребятки, она давала им по крохотному кусочку сахара, крестила и, указывая на карточку, говорила: «Этот вот — Мишенька, этот — Олешенька, посередке — старшой Никандр». Больше ей было нечего показать в своей избушке.

Она зажгла свежую лучинку и шепотом прочитала коротенькую молитву, поминая преставленного Никандра. С Никандром ей было легче, она уже не жалела его, потому что умер он дома, на родной стороне. В двадцатом году он приехал из Питера, но приехал не один, а вдвоем с непонятной нутряной хворью. Таня лечила его травяны-

ми настоями, заговаривала сама и ходила в дальнюю волость к другому знатку. Может быть, и поставил бы сына на ноги тот, хороший знаток, кабы не худые харчи: вскоре она своими руками похоронила Никандра, попричитала и успокоилась. Другое дело младшие сыновья. У нее все время, вот уже десять годов, болит о них сердце, потому что никому не известно, где и как они похоронены. Сынки воевали, как говорит Таня, «один в белых, другой в красных». Вот только который в каких, она всегда путала, впрочем, было это ей все равно, и тужила она только о том, что лежат они в чужой стороне. По этой причине она иногда не совсем добрым словом поминала мастерового Никандра: ему-то, мол, тут что, ему полдела лежать. Дома-то.

Таня обломила нагар, избушка осветилась. Рябутка за печкой сонно кокнула и затихла, но в это время в ворота застукало.

Микуленок, прислонившись в косяку, ждал, он не хотел поднимать лишнего шуму. Сначала в избушке как будто почуялось движение. Председатель постучал еще и опять затаился. Ответа не было. Микуленок затряс скобу сильнее, и вдруг воротца открылись, они были просто незаперты. «Эк меня,— подумал председатель.— Истинно в открытые двери ломлюсь». Он околонул снег с валенок, бодро ступил в сенцы. Еле нащупав скобу, согнувшись для страховки чуть ли не вдвое, шагнул в избушку.

— Здорово, Матвеевна!

— Поди-тко, здравствуй, Миколай да Миколаевич.— Таня обтерла лавку.—Проходи, батюшко, да садись, давно не захаживал.

— Маленькую найдешь? — не теряя времени, пошел в наступление Микулин.

— Ой, нету, Миколай Миколаевич, ой, духу нету-тка! Была одна, да и ту отдала третьего дни...

— Кому отдала-то?

— Да Володе Зырину. Пришел с гармоньей, не могла отвязаться-то.

По тону голоса и по тому, как бойко она заговорила, Микуленку сразу стало понятно, что пришел не зря.

— Ну, ну, бабушка, Петька Штырь приехал, надо выручить.

— Да как бы не надо, знамо, надо, да нету-тка.— Она поглядела на западню, уже готовая лезть в подполье.—

Третьего дни... Одна посудинка и была и ту отдала. Ну, да уж только ежели для тебя...

— Давай... Такое дело.

Она отодвинула светец, открыла подполье и вынула запотевшую четвертинку. Микуленок успел-таки наклониться и поглядеть: в дупельке с овсом торчали горлышки еще двух маленьких. Он вынул бумажник и подал старухе деньги.

— Ой, батюшко, у меня и сдачи-то нету, больно велика денежка. Ну, да ладно, вутре воротишь.

— Можно и вутре,— Микулин положил деньги обратно.— Ну, дак каково здоровье-то?

— Да что, батюшко, здоровье. Здоровье не больно стало добро, вон дровами-то все маюсь. А хлебця-то старухе не выпишешь?

— Фунтов двадцать можно. Ежели из бедняцкого фонда...

Скрип снега у воротцев и стук обиваемых валенок встревожил Микулина. Таня проворно спрятала четвертинку под холщовый передник.

— Это... не надо бы...— Микуленок заоглядывался.— Нехорошо, надо бы спрятаться...

Таня понимающе замахала руками, указала ему на закуток. Председатель поспешно скрылся за печью. В дверях показалась лохматая шапка Носопыря.

— Ночевали здорово.

— Поди-тко, Олексий.

В запечье у Тани было до того тесно, что председатель не мог повернуться. Он присел на корточки как раз под самым штырем, на котором сидела Танина кура. Рябутка подала недовольный голос и начала хлопотливо перемениваться лапами. Что-то мокрое и горячее шлепнулось Микуленку за ворот. «В душу, в курицу мать...» Он еле удержался, чтобы не схватить Рябутку за лапы и не свернуть ей шею. Кляня мысленно Носопыря, Микуленок вытер за воротом носовым платком и затих в напряжении. Он надеялся на скорый уход старика.

Однако там, на свету, Носопырь не торопился в скором времени уходить из избушки. Он снял шапку и сел, потом долго и смачно кашлял, утирая какой-то тряпицей здоровый глаз и бормоча что-то насчет морозной погоды.

Микуленок был вынужден сесть на пол и, сдерживая дыхание, вытянуть ноги: по всему было видно, что сидеть

придется нешуточное время. Он боялся, что не хватит терпенья высидеть, ругал себя, вспоминал оставшегося в сельсовете Петьку и матерился в уме самыми жестокими матюгами. Но когда Носопырь после обстоятельного обсуждения погоды начал подходить к главному, когда, поощренный блеснувшей из-под Таниного передника чекушкой, старик издалека заговорил о женитьбе, Микуленок напрягся, прислушался.

— А что, девка, одна и так одна и есть,— говорил Носопырь.— И я вот один, а мы бы двое-то... Две головешки дольше горят.

Носопырь поскреб батогом сучок в полу.

— Ой, да уж, что уж, ой, Олексий,— ойкала Таня, не зная что делать. Микуленок за печкой фыркнул изо всей силы, какая скопилась в груди от долгого напряжения.

— Ну, дедко! — Микуленок согнулся от смеха в дугу, выскочил из-за печи. Сел на пол у дверей, закашлялся и долго не мог ничего сказать.

— Ну, дедко! Ну и дедко! Да по такому делу... По такому делу... Давай четвертинку, Матвеевна! Буду сам главным сватом...

Пока Таня сообразила, что к чему, и начала ругать Носопыря сивым дураком, водяным и бесстыжею красноносою харей, пока искала для Микуленка луковицу, а он распечатывал четвертинку, чтобы выпить с Носопырем, случилось никем не предвиденное событие.

Ребятишки, еще задолго до этого выследившие Носопыря, заперли снаружи ворота избушки. Они воткнули в пробой плотную деревяшку, закидали порог снегом, утрамбовали, наносили из колодца воды, облили и бесшумно удалились, лишь в другом конце Шибанихи они дали волю восторженным и победным крикам.

Все остальное доделал за них крепкий, не менее озорной новогодний мороз.

III

К вечеру, пока не поднялось главное молодежное игрище, Шибаниха распределилась на две большие компании: одна в доме Евграфа Миронова, другая у Кеши Фотиева.

Не каждый старик в Шибанихе помнит молодость задубелой мироновской хоромины. Двухэтажный пятистенок

с зимовкой не нагнулся еще ни в какую сторону. Широкий сарай, куда с любым возом въезжают по отлогому въезду,— под одной крышей с домом, на сарае три сенника-чулана. Между сенниками — до крыши набитые соломой и сеном перевалы: там и в крещенский мороз пахнет июньским травяным зноем. На переводах, под крышей висят на жердях гирлянды зеленых березовых веников, пучки табачного самосада, свекольная и брюквенная ботва. Под настилом сарая — три низких теплых хлева для рогатой скотины и конюшня. Под въездом вкопан сруб неглубокого колодца для скотинной воды, около — поленница заготовленных впрок березовых плашек. Лежит пластами береста — скалье для перегонки на деготь, сложены черемуховые заготовки для вязов и стужней. Там же большая груда еловой хвои, чурбан для ее рубки, а на стенных деревянных гвоздях висит скрипучая, промазанная дегтем сбруя. Под летней избой — два темных подвала с чанами и сусеками, с кадушками соленых рыжиков, огурцов и капусты, с коробьями беленых станов холста, с корзинами мороженой клюквы и толоконным ларем. Не считая гумна с двухпосадным овином, имеется у Евграфа Миронова амбар, а около дома, на спаде холма, вырыт картофельный, на один скат, погреб. Внизу, у реки, где кончаются огороженные косой изгородью грядки, стоит закоптелая баня. Вся постройка стара, но изобихожена, дровни, розвальни, выездные сани, соха и железная, купленная в кредит борона прибраны под крышу. Лошадь, две коровы с нетелью и шесть суягных романовских ярок стоят в тепле. Двух петухов с десятком рябых молодок Евграф в расчет не берет и считает бабьей забавой.

Когда Иван Никитич Рогов с женой Аксиньей пришли гулять к Мироновым, в избе у Евграфа уже сидело десятка полтора спокойных мужиков и баб. Они нюхали табак, говорили о кредитах, о ТОЗе и о налоге, мекали насчет вешнего, кому сколько пахать.

Широкоплечий, розовый после чаю Евграф сидел на чурбаке у дверей и сучил для вершей нитки. Хозяйка Марья мыла посуду, а их дочь, грудастая, белокурая и востроглазая Палашка собиралась в кути на игрище. За столом сидел гость, бородатый хозяйкин брат Данило Пачин, который, беспокоясь об уехавшем за рыбой сыне, пошел его встречать, не встретил и все поглядывал в окно и тужил, что приходится ночевать.

— Полно, Данило Семенович,— утешал Пачина шурин Евграф,— погости и в Шибанихе, не все Ольховица.

— Оно бы что,— кряхтел Данило.— Парень-то у меня... Третьи сутки ни слуху ни духу.

— Пашка парень проворной, ничего с ним не сделается, нараз прикатит.

Но Данило не успокаивался и все поглядывал за занавеску в окно, поджидая сына. Рядом с Данилом сидел и перебирал семенной горох Степан Клюшин, черный, с разными глазами мужик. Клюшин был книгочей и выдумщик. Он выписывал из Вологды какие-то журналы, ежегодно вводил в хозяйство что-нибудь новое: то посеет клевер, то смастерит какую-то особую соху. Больше всего Степан Клюшин не любил попов и нищих, был молчалив, хотя частенько говорил о политике, а в ТОЗ, кредитку и мелиоративное товарищество вступил самым первым. Сейчас он отбирал в решето горох, принесенный из дому в корзине. Жена его, Таисья, пряла, отец Петруша, хлопотливый старик с белой апостольской бородкой, судил о чем-то с Евграфом. Клюшины пришли гулять целой семьей.

Были здесь и чинные Орловы, муж да жена, сидел тихий, словно пришибленный, Василий Куземкин, осторожно покуривали братаны Новожиловы. Дожидался Палашку гармонист Володя Зырин, а на горячей лежанке, разувшись, сидела старушка Климова, по прозвищу Гуриха. Она сидела и нюхала табачок из деревянной, оправленной медью Петрушиной табакерки, то и дело колотя друг о дружку сухими жилистыми ножками.

Из мужиков самым непоседливым на этой беседе был Иван Нечаев — молодой, только что отслуживший действительную. Красноармейская жизнь прошла для Нечаева приятно и скоро. Служил он под Питером, в небольшом, но веселом городке, именуемом Красным Селом. Нечаеву присвоили звание младшего командира, и, приколов на ворот гимнастерки два рубиновых треугольничка, он вернулся в Шибаниху. Вернулся с тем же настроением беззаботного мальчишества, с каким уезжал на службу. Когда он, даже не дождавшись последорожной бани, побежал в гости, мать его, Фоминишна, только и успела сказать: «Ох, Ванькя, Ванькя...» За один год Нечаев удосужился и жениться, и срубить новую зимовку, амбар, баню и хлев: азарту в руках было много. Зато по праздникам, даже трезвому, ему не сиделось на месте, надо было куда-

то бежать, с кем-то говорить, что-то делать. Нынче, угодив на спокойную мироновскую беседу, Нечаев не знал что делать, его подмывало уйти в другую компанию.

— Что, Ванюшко, не принесла еще Анна-то? — спросила Гуриха.

Анна — это жена Нечаева. Ей вот-вот надо было родить, отчего на Нечаева нападал страх и хотелось спрятаться куда-нибудь наглухо, с головой. Он сказал, что нет, Анютка еще не принесла, и из озорства попросил понюхать. Он дважды и сгоряча сильно нюхнул и начал так часто и громко чихать, что все зашумели, подавая всякие советы. Дедко Петрушка Клюшин тряс редкой белой бородкой, бегал вокруг зятя Нечаева, приговаривал:

— Ванькя, надо затычку, Ванькя, остановись, затычку выстрогаем!

Как раз в этот момент и вбежала в избу сестра Нечаева, перепуганная и простоволосая Людка. Она забыла даже поздороваться, всплескивая руками, приговаривала:

— Ой, Ваня, беги домой-то! Ой, Анютка-то родит, ой, Ваня, скорее-то!

Нечаев оглянулся вокруг, ища выхода из такого положения. Но выхода не было, он перестал чихать, вскочил с пола, и они убежали оба с Людкой. Все зашумели еще больше, обсуждая событие.

— Поняли барскую жись, поняли! — верещал дедко Клюшин в ухо Евграфу. Он намекал на то, что Анютка не барыня, могла бы родить и так, без мужика, с одними бабами.

Но чуть позже дедко вспомнил, что Анютка ему внучка, и, довольный зятем Иваном, блаженно задумался, потряхивая своей белой бородкой, сквозь которую пробивался еще совсем не стариковский румянец.

Тем временем Нечаев за два прыжка перемахнул дорогу, стремительно пробежал по тропке и влетел в дом. Оказалось, что тревога была напрасной. Жена Анютка еще не рожала.

— Так ты чего, значит, это...— Нечаев быстро ходил по полу.— Ну, я побегу. Ежели что, буду у Кеши в избе.

Не слушая ни жену, ни мать, ни сестру, Нечаев убежал на другую беседу, ко второй главной компании.

Дом, вернее, изба Кеши Фотиева стояла точно в центре Шибанихи. Пустая клетина вкупе с порожним хлевом

была придавлена односкатной отлогой крышей, четыре окна без вторых рам, сплошь запушенные морозом, весело бросали на дорогу то угасающий, то вспыхивающий свет. Лучина была еловая.

В эту избу мог входить кто угодно, в любое время года и суток. Фотиевские ворота не запирались от самой Кешиной свадьбы. Кеша, по его словам, не чинил ворота «из прынципа», назло своей теще. Когда однажды он взял напрокат у Брусковых сани с тулупом и поехал сватать будущую жену Харезу, то теща, и правда, пошла супротив Кеши. Сначала она вообще не отдавала дочку, вертела Кешей и так и сяк. Через неделю после сватовства она приехала смотреть место. Дорога была длинна, и к дому будущего зятя прикатили уже затемно. Ворота сильно заскрипели. Кеша с матерью вышли встречать гостей. Но теща не вылезла из саней. Она велела мужу заворачивать мерина, говоря, что у хорошего хозяина ворота не скрипают и что в такой дом дочку она не отдаст. Кеша своротил-таки тещино упрямство и Харезу высватал, но от ворот с той поры отступился начисто. Они второй год не закрывались совсем.

Изба освещалась двумя лучинами, вставленными в кованое светильне, перед которым стояло долбленое корыто с водой. Еловые угли дымили и заворачивались в круги, норовя упасть мимо корыта. Дым от лучины, а также табачный в большом изобилии накопился в избе, часть его вытягивало топящейся печкой, сложенной посреди пола уступами, в виде пирамиды. Эта печка, называемая почему-то «галанкой», тремя коленами железных трубаков соединялась с боровом русской печи.

Человек двадцать одного пола, но самого разнообразного возраста собралось у Кеши. Сидели на лавках, за столом, либо полулежа около печки на черном, но почему-то уютном полу. Может быть, потому и уютном, что на нем можно было сидеть и лежать в любом виде, в любом очертании, не рискуя замарать его штанами и валенками. Дух полной свободы и легкости витал в этой избе вместе с дымным, снежным, табачным и прочим, вся компания разделена была на несколько мелких. Кто окружал «галанку», кто стол под святыми, а кто старательно и невозмутимо обслуживал светильне: щепал лучину, вставлял, подпаливал. У печки, орудуя кочергой, розовые доброхоты по очереди усиленно подкидывали на огонь, иные

пекли принесенные из дому луковицы, другие делали из лучинок кресты и стрекалки. У задней стены состязались в загадках, а также в том звуковом, не очень благородном, но, впрочем, всегда кратковременном занятии, которое недостойно упоминания.

За столом же человек шесть мужиков играли в карты. Отец Николай, которого называли просто поп Рыжко,— громадный, красный — тасуя колоду, перекрывая все звуки, гудел своим по-бычьи нутряным басом:

—Итак, юноши, объявлен бысть должен наиглавнейший стук [1]. На что изволим идти, Северьян Кузьмич? Покорнейше прошу.

Северьян Брусков, по прозвищу Жук, маленький, с румяным востроносым лицом, прищурился. Отец Николай, нетерпеливо притопывая валенком, свободной рукой закинул полу подрясника.

— Ну-те-с?

— Сколько, Николай Иванович, на кону-то? — спросил Жук своим по-сиротски тоненьким голосом.

— Восемь рублей с полтиною,— пробасил банкомет.

— Ну так давай на полтинку-то.

— Супостат! — отец Николай энергично скинул карту.— Истинно, фараон египетский. Довольно ли?

Жучок, не замечая издевки, приоткрыл карту, заматерился:

— Такая мать, надо было на все! Очко ведь!

Отец Николай толстым веснушчатым пальцем небрежно отбросил с кона проигранный с изображением могучего кузнеца полтинник.

— Вам, Акиндин Александрович? — обратился поп к следующему игроку.

Акиндин Судейкин посчитал имевшиеся деньги и решительно хлопнул:

— Давай на все! Шиш с ним, куда куски, куда милостинки...

— Усердно, Киньдя, весьма усердно! Ведаю слабым своим умом, что изволишь ты иметь туза.

— А и дело не ваше, Николай Иванович, что мы имеем, а и дело не ваше...— пел Судейкин, закусив от любопытства язык.— Дай-ко еще одну.

---

[1]Стук — момент игры в «очко», когда выдано до последней карте.

— Изволь.

— А и дело не ваше, Николай Ива... А дай еще, с личиком! Крой!

Отец Николай открыл, на столе красовалась трефовая десятка. Судейкин в сердцах бросил карты, был перебор. Сдвинул проигрыш на кон и вылез из-за стола:

— Пуст! С попом играть — что босиком плясать!

Отец Николай притворился, что не расслышал. Продолжая игру, он обернулся к Судейкину:

— Киньдя, будь добр, погляди-ка мою кобылу.

— Да сам-то чего, батюшка?

— Истинно говорю: недосуг.

— Обыграл, да ему еще и кобылу гляди,— проворчал Судейкин, но встал и пошел на улицу. Он был легок на ногу.

Дело случилось так, что отец Николай ездил в Ольховицу крестить народившихся за филиппов пост ребятишек. Возвращаясь домой, он завернул к Фотиевым выпить законный после трудов шкалик; угостил хозяина да и засиделся.

Брюхатая поповская лошадь с небольшим возом ржи тоскливо стояла у фотиевского крыльца. Луженая, видавшая виды купель была привязана веревкой к мешкам, в купели, свернутая кое-как, лежали старенькая епитрахиль и кропило. Судейкин пнул посудину, пощупал мешок. Хотел бросить лошади охапку сена, но сена на возу не было. Кобыла зря оглядывалась назад. «Ну, сидишь, видно, и с таком»,— подумал Судейкин. Он поглядел в звездное небо. С досады от проигрыша он не знал, что делать и вспомнил, что сейчас святки. Быстро выудил из купели поповскую епитрахиль (кропило он пожалел и оставил в купели). Оглянувшись, по-заячьи, прямо через снег, запрыгал к зимовке Савватея Климова. (Сам Савватей сидел в это время у Фотиевых и заливал бывальщину.) Климовская зимовка была метрах в шести от фотиевского крыльца. Судейкин в три минуты тихо приставил климовские дровни к пристройке и словно по лесенке забрался на крышу. Он быстро заткнул климовскую трубу епитрахилью. Запихал ее поглубже и слез вниз. Поставил дровни на прежнее место и, как ни в чем не бывало, вернулся в компанию.

— Что, Киньдя, какова моя кобыла? — не оглядываясь, спросил поп.

— Кушает.

— Вот благодарствую. Туз на руках, восьмерка плюс пиковый валет. Иван Федорович, ваши не пляшут. Все. граждане, надо и ночевать.

Поп загреб деньги и хотел удалиться, но все возмутились:

— Николай Иванович, так не по чести!

— Нехорошо, не по-православному.

— Должон играть, начинал не первый!

Николая Ивановича вынудили продолжить игру, но деньги оставались только у Жучка и Нечаева. Акиндину Судейкину стало неинтересно, он подсел к Савватею Климову. Савватей, жиденький, неопределенной масти старичок с видом праведника, почесывал желтую бороденку и заливал очередную бывальщину. Суть ее была в том, что он, Савватей, за всю свою протяжную жизнь не сделал с женским полом ни единой промашки. Только один раз, в Питере, будучи квартирантом, Климов будто бы оплошал, да и то по особой причине. Мужики зашумели:

— По какой это по особой-то?

— Да. По какой такой?

— Да-да, ну-ко, скажи! Нет, ты, Савва, скажи, какая она особая-то?

— Притчина-то?

— Да. Вот и скажи, скажи.

Савватей вздохнул. Вряд ли он и сам знал, что говорить, но говорить было надо. И он, выигрывая время, старательно колотил кочергой и без того хорошо горящую головешку.

— Да ведь что уж. Так и быть...

Савватея выручила сестра Нечаева Людка. Перепуганная, в одной кофте, без казачка, она опять прибежала за Нечаевым.

— Ой, Ваня, беги скорее домой-то!

— Чево?

— Да ведь Анютка-то родить начала! Ой, поскорее-то, ой, господи, да чего ты сидишь-то!

Нечаев сначала рассердился, потом одумался и после некоторого недоумения вылез из-за стола. Они с Людкой мигом исчезли.

— Вишь ты,— сказал Савватей.— Как ветром его сдуло.

— Убежал и деньги оставил.

— Говорят, умирать да родить нельзя погодить.

— Умирать можно и погодить,— заметил поп.— А вот родить, истинно, нельзя погодить. Будем двое играть?

— Да ведь что, Николай Иванович,— отозвался Жук.— Давай на полтинничек.

— Не буду и рук марать.

— На рублевку?

— Не пристойно звания человеческого.

— На трешник стакнемся? — не унимался Жучок.

— Давай! Мои красные.

Поп с Жучком начали стакиваться, чем окончательно спасли от конфузии Савватея Климова. Смысл игры состоял в том, что не было никакого смысла. Один из игроков брал из колоды карту, и если она оказывалась красной, то выигрывал, а если черной, то проигрывал. Затем то же самое делал другой, только на черные.

Стакнувшись с попом на трешницу, Жук проиграл, стакнулся еще и проиграл снова. Горячась все больше и больше, он проиграл попу все деньги, осталась одна пятерка. Перекрестившись, Жук поставил, но проиграл и ее.

— Ах ты Аника-воин! — захохотал поп своим красивым нутряным басом.

Жучок ерзал на лавке, вертел востроносой головой и растерянно хмыкал: «Ишь ты, мать-перемать. Задрыга такая. Где правда-то? Где правда-то?»

— Давай шапку за трешник! Фур с ней, что будет, остатний раз!

Теперь все внимание компании скопилось около них.

Жучок проиграл и шапку. Отец Николай великодушно отказался от шапки и встал.

— Погоди, батюшка...—Жучок через стол с суетливым испугом ухватился за полу подрясника.— На баню! Ставь пятерку. На баню стакнемся! Открывай!

Отец Николай ухмыльнулся и снова тщательно перетасовал колоду.

— Ну-с?

Жучок трясущейся коротконалой ручкой взял карту. Слышно было, как сопел волосатым носом хозяин Кеша и легонько потрескивала лучина.

— Ну-с?

Жучок облегченно бросил карту, это была трефовая девятка. Баня, висевшая на волоске, была спасена и пятерка выиграна. Поп, по-прежнему не садясь, стакнулся

из любопытства еще и проиграл. Сел, стакнулся еще и проиграл еще. Жук снова и снова стакивался на все то, что выигрывал, и вскоре отец Николай проиграл не только весь выигрыш, но и заработанные на крестинах деньги... Он поставил сперва мешок ржи, потом второй, третий...

— Кобылу! — сказал под конец поп, мрачно жуя рыжую бороду.— Давай на кобылу!

— Э, нет, батюшка,— сказал Жучок своим сиротским голосом.— Тебе яровое на ей пахать.

— Кобылу! Ставлю кобылу! Ежели черная карта — кобыла твоя. Ежели красная... Будешь стакиваться?

Он сдвинул груду проигранных денег на середину стола.

— Не буду, Николай Иванович!

— Нет, будешь! — Отец Николай хотел через стол взять Жучка за ворот, но тот увернулся.— Ты, Жучок, будешь!

— Это почему я буду?

— Будешь, прохвост,— рычал отец Николай и угрожающе подвинулся по лавке к Жучку, а тот отодвигался по мере приближения опасности.

— Это почему я прохвост? — тянул Жучок.— Сам ты, Николай Иванович, прохвост, вон на рождество весь полуелей пропустил.

— Когда это я полуелей пропустил? Когда, фараон? — Поп все двигался к Жучку и сам оказался за столом, а Жучок пересел на скамью. Таким способом они продвигались вокруг Кешиного стола. Вдруг отец Николай проворно бросился на Жучка, и не миновать бы потасовки, если б в эту самую секунду не погасла лучина. Кеша, увлеченный зрелищем, забыл обязанности хозяина и не подпалил вовремя свежую лучину. Акиндин Судейкин поджег лучину от спички. Изба осветилась, и отец Николай вторично двинулся было на Жучка, но тут послышался голос Савватея:

— Робяты, а где денежки-то?

Все замерли, денег на столе и впрямь не было...

В избе поднялся невообразимый шум, все заспорили. Одни были на стороне попа, другие выступили в защиту Жука. Акиндин Судейкин хлопал от восторга в ладоши, приговаривая: «Так, так! Доигралися!» Савватей предлагал выбрать комиссию, чтобы обыскать всех подряд, кто-то шарил по полу, кто-то потерял рукавицу. Ко всему

этому в избу неожиданно нахлынула большая орава ольховских ряженых, взыграла гармонь и поднялась пляска.

Возмущенный до предела отец Николай еще наступал на обидчика:

— Это когда я полуелей пропустил?

— В рождество, батюшка,— кротко отзывался Жук и и пятился от попа.

— Врешь, бес! Врешь, нечистый дух, и не получишь ты ни ржи, ни кобылы!

— Твою кобылу, Николай Иванович, и за так не возьму, а вот где деньги-то? Ты прибрал, больше некому.

— Да? Ты что? Пойдем в сельсовет, чертов пасынок! Вот пойдем, там нас разберут, там мы поговорим по-сурьезному.

— У тебя, ты прихитил.

Николай Иванович подскочил к Жучку и так тряхнул за ворот, что тот стих. Поп, сдерживая ярость, отпустил супротивника и с достоинством пошел к дверям.

— Поговорим, истинно говорю. В другом месте. Все будут свидетели, все!

От дверного хлопка лучина чуть не погасла. Не отвязывая вконец соскучившуюся кобылу, Николай Иванович действительно пошел в сельсовет жаловаться на оскорбление личности. В Кешиной избе, словно язычники, плясали и ухали ольховские ряженые.

IV

Пашка, молодой ольховский парень, сын Данила Пачина и племянник Евграфа, ехал из Чаронды с возом мороженой рыбы. Чаронда — деревня на берегу большого озера Вожа, осталась давно позади. Воз был невелик, но у Пашки кончилось сено, потому что в Чаронде пришлось ждать лишние сутки, пока рыбаки не наловили рыбы. Мерин был совсем голодный. На волоку Пашка догнал пешехода, который попросил подвезти до Шибанихи. Пашка охотно подсадил, предложил закутаться в один тулуп, но пешеход отказался. Как ни старался Пашка разговориться, спутник не приставал к разговору и только неуважительно плевал в сторону.

— Из Шибанихи сам-то? — Пашка сделал еще одну попытку поговорить.— У меня дядя в Шибанихе, Евграфом зовут.

— Миронов? — отозвался наконец ездок.

— Он,— обрадовался Пашка.— Я гощу у него. И в Шибанихе многих знаю.

Пашка намекал на то, что спутнику пора бы сказаться, чей он и какая фамилия. Но ездок будто и не понял намека.

— Знаю Евграфа,— сказал он и сплюнул снова.— Жмот тот еще.

— Это как так?

— А так.

— Ну... как так, почему? — Пашка почувствовал, как в нем разом всколыхнулась обида за дядю. Собеседник ничего не ответил и отвернулся. Гордо и заносчиво, как показалось Пашке.

Ехали последним перед Шибанихой большим волоком. Долгоногий пачинский мерин вез быстро, розвальни скрипели полозьями и вязами. Пашка с открытым от удивления ртом долго глядел на неподвижного ездока и вдруг потянул вожжи:

— Тп-р-р!

Мерин, считая остановку ошибочной, не останавливался и шел.

— Тпр-ры! Стой, Гнедко! Стой.— Пашка сильней потянул вожжи, лошадь остановилась.— Знаешь что, друг ситный, ну-ко, слезай. Давай, давай, кому говорят!

Ездок, ничего не понимая, обернулся.

— А ну освободи воз! — наливаясь бешенством, заорал Пашка.— Чуешь?

Ездок не торопясь взял котомку, угрожающе крякнул: «Хорошо!» Он встал на возу, но не успел сойти. Пашка сильно стегнул мерина погонялкой. Мерин не ожидал такого оскорбления и, несмотря на усталость, скакнул, ездок полетел в снег. Пашка хлестнул еще, и мерин, перешедший было на рысь, снова пошел галопом.

Пашка, расстроенный, долго не мог успокоиться, наконец миролюбиво перевел Гнедка на шаг. «Тетеря какая,— подумал парень.— Молчит, да еще и на дядю. Ну и тетеря!» Ему понравилось это слово, и он, злясь теперь уж на себя, пожалел, что все так нехорошо получилось.

Высокие звезды роились в кубовом небе. Волок кончился, показались гумна Шибанихи. Дальше пошли дома с красными окошками, тусклыми от светлого месяца. Мерин фыркнул, качнул пушистой от инея мордой, видно,

почуял отдых. В проулке сказалась гармонь, пронзительно взвизгнула девка. Посреди деревни объявилась большая ватага подростков, они остановили подводу:

— Едет хто?

— Иван-пехто! — отозвался Пашка.— А ну, отступись, а то кнутом шарну.

Большой парень, видать, заводила, по-атамански свистнул, и ребятня навалилась на воз. С Пашки мигом содрали шапку, в розвальни полетел снег и мерзлый конский помет. Пашка развернулся, со смехом раскидал мелюзгу. Хотел ехать, но шапка была новая, пыжиковая.

— Шапку давай, у кого шапка?

Ребятишки издалека бросили ему шапку.

Сильный удар колом по спине чуть не сшиб Пашку с ног. Он бросился на атамана, который побежал в заулок, догнал, отнял кол. Пашка трижды глубоко окунул атамана носом в снег, вернулся к возу и уехал к дому дяди Евграфа. Спина болела от удара, но Пашка особенно не тужил. Он был не очень обидчив, к тому же в дороге на святках такие стычки сплошь да рядом. Было только обидно, что ударили сзади, да еще колом, это уже похоже на нехорошую драку.

Услышав скрип розвальней, в проулок вышли Данило и Евграф.

— Тять, а ты чего тут? — удивился парень.— Вот ладно, ты уедешь, а я останусь. Схожу на игрище.

— Лошадь-то погоди поить, пусть постоит,— сказал Данило.— Все ладно-то?

— Все, все. Ты чего в Шибанихе-то?

— Да вот шерсти думал купить,— соврал Данило, распрягая мерина.

Евграф вынес из сарая большое беремя сена, после чего все трое направились в избу.

— А у нас, понимаешь, вечеровальники,— оправдывался Евграф перед племянником,— суседское дело...

— Здорово, божатушка! — поздоровался Пашка.— Здравствуйте.

— Здорово, батюшко, здорово! — Марья, жена Евграфа, всплеснула руками.— Это чего у тебя тулуп-от? Рукав-то совсем оторван.

Пашка рассказал про стычку с ватажкой. Все заругались, заохали:

— Вот прохвосты, проезжего человека.

— Бессовестные!

— Дак ведь это Селя, все он фулиганит.

— Какой Селя? — спросил Пашка.

— А Сопронов Селя. Шилом зовут, двадцать годов скоро, а ничего человеку не далось.

— Экой он бес, экой мазурик,— расстраивалась Марья, наразу пришивая рукав к тулупу.

— Ладно, божатушка.— Пашка лишь скалил белые зубы.— У тебя чего, есть погреться-то?

Но Евграф уже разжег у шестка самовар и теперь выставлял из шкапа бутылку. Вечерние собеседники, ссылаясь на «недосуг», по одному начали расходиться. Вскоре в избе остались только родня Евграфа да Роговы. Иван Никитич с женой тоже хотели незаметно уйти, но Евграф дернул его за рукав и не выпустил из-за стола.

Вскипел самовар, Марья принесла пирогов, а Евграф налил бабам по рюмке, мужикам по стопочке. Мужики вылили водку в чай, а женщины замахали руками, заотказывались.

— И ладно, нам больше достанется,— сказал Евграф и с притворной шутливостью заметил: — Вот, Рогов, девок-то нет. А то бы мы вашу Верку нараз бы и запросватали...

Пашка встал из-за стола, поискал рукавицы:

— Лошадь пойду напою. У тебя, божат, где бадья-то?

Когда он ушел, Марья на ухо пошептала что-то Аксинье Роговой. Аксинья в такт кивала ей головой, а Иван Никитич как бы невзначай спросил:

— Что, Данило Семенович, всурьез ладишь женить? Парня-то...

— Да ведь как, Иван да Никитич, годы уж к тому клонят. Боюсь, как бы не избаловался.

— Хороший парень,— опять вступился Евграф, обращаясь к Ивану Никитичу.— Толчею-то видал около Ольховицы? Всю сам сделал, отец только показывал, как что. Да и Верка его знает давно. Стояли за баней в троицу, видел сам...

Данило вывел Ивана Никитича из неловкого положения:

— Толчея что, Евграф, толчея? Толчея отдана. Ни за што ни про што... Хоть отвязались — и то спасибо.

— Надолго ли отвязались-то? — спросил Евграф.— Цыгану соломы дашь, он сена потребует. А вот отдай-ко

Пашку впримы, ладно и будет. Василья на службу, Пашку впримы. Тут уж вас с Катериной никто не тронет. Как, Оксиньюшка? Сережка у вас мал, а такого парня в дом — лучше не выдумать. Ежели...

Но тут вошел Пашка и сразу догадался, что говорят о нем. В избе стало неловко, даже часы затикали громче.

Евграф крякнул и налил еще по стопочке.

— В волостях-то, Паша, чего нового?

— Да ничего вроде. Вон три мужика коммуну устроили, да два гумна сгорело в округе.

Поохали, поговорили насчет пожара.

— А это какая такая коммуна-то? — спросила Марья.— Не та, что лен-то сама треплет?

— Нет, матка, не та,— засмеялся Евграф.— Эта другого сорту. Вот загонят тебя ежели в коммуну, и будет у тебя все со мной пополам. Ты поедешь кряжи рубить, я буду куделю прясть. Согласная ты на это?

Марья недоверчиво поглядела на мужиков.

— Теперь дело еще такое,— не унимался Евграф.— Ежели, к примеру, у тебя мука в ларе кончилась, а у Сопроновых этой муки — сусеки ломятся. Дак ты, значит, идешь прямо к Сопроновым и берешь этой муки сколько тебе на квашню требуется.

— Да какая у их лишняя мука? Ежели оне и ларь давно истопили. Мелешь бог знает чего.

— Мне молоть нечего, чего мне молоть.

...Пашке хотелось на игрище, но было неудобно уходить сразу. Он выпил предложенную Евграфом стопку, закусил и начал собираться.

— Тять, ты меня не жди, поезжай.

Аксинья откровенно приглядывалась к Пашке, Иван Никитич тоже, а подвыпивший Евграф пер напролом:

— Я тебе, Павел, все уши оборву, ежели ты Верку не возьмешь, такой девки тебе век не найти, девка что ягода.

— А я что? — обернулся Пашка уже из дверей.— Я хоть сейчас, вон тятьку уговаривай!

Не дожидаясь, что будет дальше, он вышел из избы и отправился искать свою двоюродную, чтобы не идти на игрище одному.

Мудреное дело — найти Палашку в такой деревне, да еще и в пору святок! Девки перебегали от одной избы к другой. Они принаряжались у зеркала, гадали на ложках,

менялись на время платками и лентами. А главное — хохотали над чем попало. То и дело кто-нибудь выбегал на крыльцо слушать, не идут ли ольховские.

Палашка Миронова хороводила во всех девичьих делах. Это она уговорила вдову Самовариху, и девки на все святки откупили большую Самоварихину избу. Они принесли вдове по повесму льна, в складчину — керосина. Натаскали скамеек и широких домотканых подстилов для занавешивания запечных углов, ожидалось не меньше пяти-шести горюнов и столбушек.

Складчина была еще и чайная. Сложившись по полтиннику, девки заранее закупили чаю, кренделей и ландрину.

До игрища надо было провести общее чаепитие. Поднялся хохот, потому что самовара в доме не было, и Палашка послала хозяйку за самоваром к себе домой.

— Вой, девоньки, самовара-то у нас нет, одна Самовариха! — Палашка, приплясывая, вынесла из кути крендели.

Не по чаю я скучаю,
Чаю пить я не хочу,
Я скучаю по случаю,
Видеть милого хочу.

— Ой, отстань к водяному со своим Микуленком-то! — выскочила из кути востроглазая Тонька-пигалица.— Только и дела, в сельсовет бегаешь.

— Нет, Танюшка, севодни Микуленку не до Палашки, говорят, Петька Штырь приехал.

— В галифе!

— Да много ли в галифе-то?

— Чево?

— Да всево.

— Ой, денежной, говорят! — не поняла Тонька. Девки засмеялись дружно, иные покраснели, иные заругали Палашку бесстыдницей.

Вера со спрятанными за пазуху двумя зеркальцами, спичками и свечкой незаметно вышла на улицу. Она отбежала от дома, оглянулась и отпрянула в лунную тень. Самовариха, скрипя валенками, несла от Евграфа ведерный самовар. Вера подождала, пока Самовариха скрылась в сенях, и побежала за изгородь, к своему дому. Ее никто не заметил. В загороде, прежде чем бежать к бане, она остановилась, чтобы успокоиться.

Такая большая была эта ночь, ночь девических святок! Месяц висел над отцовской трубой, высокий и ясный, он заливал деревню золотисто-зеленым, проникающим всюду сумраком. Может быть, в самую душу. Широко и безмолвно светил он над миром. Большая тень от отцовского дома падала под гору до самой бани, до заснеженной речки. Вера прислушалась, задержала дыхание. Колдовская необъятная тишина остановилась вокруг, лишь далеко-далеко ясно звучала балалайка ольховских ребят. Они шли еще где-то за полями и согласно, неторопливо пели частушки. Слова еще замирали, но были так же ясны, как этот месяц, как границы лунных теней по снегу. Неторопливо, приятно и по-мужскому нежно доносились до Веры эти слова, и балалайка красиво, чуть печально звенела там, еще далеко-далеко за лунными пустошами:

Вся веселая гулянка
Скоро переменится,
Дорогая выйдет замуж,
А товарищ женится.

От какого-то бесшумного дальнего перемещения мороза, а может, заслоном придорожных кустов притушило на полминуты ребячью песню, но потом все снова послышалось, ясно, красиво и нежно:

Погуляемте, ребята,
Погуляемте одне,
Жить не долго остается
На родимой стороне.

Она с волнением прислушивалась к этой далекой песне и узнавала голос. «Акимко Дымов поет,— подумалось ей.— И балалайка евонная». Ей стало радостно от того, что это идет Акимко, высокий, черноглазый ольховский парень, который ходит в Шибаниху из-за нее и с которым она нарочно, чтобы позлить Пашку, иногда долго задерживалась на посиделках. Пашка злился, но не на нее, а на Акимка, и от этого у нее всегда сладко щемило в груди.

Она побежала, боясь, что кто-нибудь увидит ее, ей никого не хотелось видеть, хотелось увидеть всех сразу и чтобы ее тоже увидели все сразу. Хрустальное пение голубоватой снежной дорожки, чуть отставая, торопилось за нею. Иногда, от слишком глубокого вздоха, у нее кололо в груди. Ресницы схватывало морозом, и ей было смешно, оттого что не может открыть глаз.

Она остановилась у бани, пальцами растопила иней смерзающихся ресничек и вздрогнула. Ей вдруг стало страшно. От бани, топленной третьего дня, тянуло запахом остывших камней, в темном проеме предбанника стояла жуткая чернота. Чтобы не растерять смелость, Вера зажмурилась и поскорее ступила в предбанник. Она замерла и прислушалась. Все было тихо, только в ушах напряженно звенело. Набравшись решимости, она нащупала скобу, отворила дверку, шагнула во тьму, замерла и вдруг вся задрожала от страха. Ей казалось, что вот сейчас, сразу же, кто-то мохнатый и безжалостно страшный прыгнет на грудь, будет ее душить, прокусит шею и выпьет ее кровь. Она чуть не вскрикнула, выбросила вперед руки, хотела бежать, но, боясь пошевелиться, задрожала еще сильнее. Она не помнила, сколько так стояла, дрожа и боясь упасть без памяти, наконец опомнилась и тихонько нащупала в кармане казачка огарок свечи. Вера вздула огонь и зажгла свечку. Ей сразу стало легко, весело, хотя было все так же жутко. Слабый колеблющийся огонек осветил родимую баню. Все здесь было свое, давно знакомое: черная каменка, черные, до вороненого блеска протертые стены, шайки под белыми лавочками, высокий трехступенчатый полок. Вера капнула на лавочку расплавленным воском и прилепила на это место свечу. Она поставила позади свечи большое зеркало, взяла другое, маленькое, и стала разглядывать его отражение. Ей говорили, что глядеть надо очень долго, пока не догорит свечка, иначе ничего не увидишь. Слабый, неверно колыхающийся огонек отразился в зеркале один, второй и третий раз, цепь огоньков уходила далеко-далеко, колыхалась и трепетала. Вера оцепенела, замерла, стараясь различить там что-то, но ничего не было за бесцветной цепочкой бесконечных огней. Под бровями у нее заныло от напряжения, она все смотрела, не мигая, не двигаясь. Ей показалось, что самый далекий, совсем незаметный огонек раздвоился и что за ним округлилось и замерцало слабое бесцветное облачко. Вдруг огонек исчез, и там, далеко, в конце неверной цепи огней Вера увидела что-то живое и неопределенно движущееся. Сердце у нее остановилось, она изо всех сил старалась разглядеть, что это было, она ясно ощущала, что там что-то было, далеко-далеко, в конце бесконечной цепи отражений. Свечной фитиль упал в лужицу воска, ярко вспыхнул и погас. Темень и тишина

смешались друг с другом, ничего не стало вокруг. Только дальнее облачко на месте последнего видимого огня еще светилось, и Вера опять ясно увидела в нем что-то близкое, но непонятное до конца. Это что-то двигалось навстречу ей из самой далекой безбрежной тьмы — стремительно и неотвратимо. Вера вскрикнула и повалилась ничком, память ее вспыхнула и погасла, словно только что сгоревшая свечка...

В это же время две быстрые тени мелькнули у бани. Распахнув дверку, Палашка ойкнула:

— Зажги-ко спичку-то, Паша!

Пашка зажег огонь, подскочил к Вере. Палашка скорехонько сбегала на мороз, натерла ей снегом виски, начала тормошить, приговаривая: «Ой, дурочка! Ой, дура, говорено было, не ходи без меня!» Вера очнулась. Она уткнулась в широкое плечо Пашки, всхлипнула. Он расстегнул пиджак и спрятал под ним тяжелую от кос девичью голову.

Палашка, ухмыляясь в темноте, довольная собой, выпорхнула из бани. Она догадливо поставила к наружным дверям батажок и, торопливо подхватив сарафан, побежала в гору: ольховская балалайка звенела совсем близко.

V

Отец Николай знал, что его зовут в деревне Рыжком, а некоторые — попом-прогрессистом. Первое прозвище он терпеть не мог, а вторым званием открыто гордился. Шибановские старики, прознавшие о его новейших взглядах, немало спорили, когда нанимали попа. Кое-кто говорил, что такого попа нельзя и близко пускать к приходу. Особенно противился отец Жучка Кузьма Брусков — такой же хитрый и востроносый. (Отец Николай позже припомнил это и назло всем Брусковым дал внуку Кузьмы совсем несуразное имя — Крысанфей.) Да, старики не хотели пускать в приход отца Николая. Только дело решили вовсе не старики, а бабы. Когда отец Николай, делая пробную обедню, вышел из царских врат и начал службу, то от первых же звуков его могучего и красивого баса стекла в церковных окнах задребезжали. Галки, как рассказывали позднее, с криками снялись с куполов. Не зря еще в бытность свою в досточтимом и древнем граде Вологде отца Николая лично знал сам преосвященнейший

Алексий, епископ вологодский и тотемский. Владыко был милостив к тогдашнему семинаристу Коле Перовскому — сыну бедного псаломщика заштатной усть-сысольской церквушки. Только все это было так давно, что совсем забылось. Отец Николай переменил за свою жизнь много приходов, ездил даже на войну, будучи полковым священником, а вот теперь судьба привела его в деревню Шибаниху.

Сегодня, обиженный востроносым Жучком, он оставил кобылу у ворот Кеши и пришел к сельсовету.

У крыльца отец Николай высморкался и крякнул. Смело ступил на скрипучую лошкаревскую лестницу, отчего не только лестница, но и весь верхний сарай как бы стронулись с места. Что-то треснуло. Отец Николай почтительно открыл дверь. Он не то чтобы испугался, но был слегка ошарашен. В сельсовете никого не было, ярко горела лампа, а на скамье под белым холщовым саваном лежал покойник. Отец Николай перекрестился. Мигая и щурясь, подошел поближе. Покойник с мертвенно-белым лицом, со сложенными на груди руками был длинный и тощий, в щелях неплотно прикрытых век неподвижные виднелись белки глаз.

«Свят, свят... ах, чтоб тебя!»

Отец Николай выругался. Покойник глубоко, сладко всхрапнул и даже почесал за ухом. Но не проснулся. Тогда отец Николай встал поплотнее, набрал полную грудь воздуха и с мощным придыхом, громогласно и ровно вывел своим нездешним басом:

— Со святыми упоко-о-ой!

Петька Штырь вскочил со скамьи словно ошпаренный. Торопливо протер глаза и с перепугу попятился к стенке, но запутался в саване и грохнулся через скамью на пол. Тут он смачно выматерился, отчего и очнулся. Только после этого осмысленно поглядел на попа.

— Воскрес, каналья! — захохотал отец Николай, держа руки в бока.— Воскрес! А я и впрямь подумал: оставил человек земную юдоль!

— Тьфу! Ну, рыжий хрен, рано тебе меня отпевать! Я еще поживу!

— Вполне приемлю, юноша,— Николай Иванович хотел обидеться, но не мог.— Приемлю и твое непотребство в речах, бо не в своем уме сказано. Вы — Петр, покойного Николая Артемьевича Гирина сынок, если не ошибаюсь?

— Ну! — Петька встал на ноги, потер ушибленный затылок.

Поп и «покойник» за руку поздоровались. Сели за председательский стол, закурили.

— Ушел, понимаешь, сейчас, говорит, приду. Ну, я ждал-ждал да и прилег. Ряжеными собирались на игрище. Не видал ты его, Николай Иванович?

— Нет, не видал.

— А сколько время-то?

Поп вынул часы. Откинулась крышка с клеймом знаменитой фирмы Павла Буре.

— Четверть десятого. Подождем, юноша. А если не против, то у меня имеется горячительное. Самая малая толика, но есть. Как, Петр Николаевич?

Петька задумался, но ненадолго. Махнул рукой:

— А, давай! Только двери запрем, на всякий пожарный.

Откуда-то из своих широких одежд отец Николай достал слегка початую и заткнутую хлебным мякишем четвертинку. Петька же закрыл на крюк двери и развернул газету с остатками бараньей печени. Николай Иванович разлил водку, третью часть оставил для исчезнувшего Микулина. Поп с Петькой дыхнули оба сразу. Двигая кадыками, выпили.

— Пиян, да умен, два угодья в нем! — сказал поп и крякнул.— Еще Петр Великий изрек подлые сии словеса.

— Почему, Николай Иванович?

— Потому, Петр Николаевич, что умный человек пиян бывает токмо в ослеплении страстей низменных, а бывает ли пияный умным? Паки и паки дурак. Любому мелкому бесу раб и прислужник...

Отец Николай хотел добавить еще что-то более веское, но лестница заскрипела, двери начали дергать, и раздался нетерпеливый стук.

— Колька Микулин,— сказал Штырь и побежал открывать.

Распахнулись двери, но на пороге стоял совсем не Микулин. Это был уездный уполномоченный Игнаха Сопронов, высаженный ольховским ездоком Пашкой на большом шибановском волоку. Не заходя домой, Сопронов прошел прямиком в сельсовет. Весь хмель тотчас же вышибло из головы не только попа, но и «покойника».

— Так. Кто такие? — Сопронов сел, небрежно вынул из кармана наган и положил на стол.— Документы? Где председатель?

Отец Николай и Петька Штырь переглянулись.

— Фамиль?

— Чья? — хором отозвались Рыжко и Штырь.

— Ваша, ваша сперва! — Игнаха Сопронов указал дулом в сторону «покойника».

— Так ведь что...— Петька Гирин, по прозвищу Штырь, закурил.— Я ведь еще с вечера умер, меня уж из всех списков похерили...

— Ты мне дурачка не валяй! — закричал Сопронов. хватая наган.— Фамиль? Почему в сельсовете?

— Умер-то? Это уж где приперло, там и умер.

— А ну, становись к печке! Как фамилия?

— А ты кто такой? — Петька ступил навстречу Сопронову.— Чего орешь как в поскотине?

Сопронов побелел, вскочил и наставил наган в потолок, но Петька закинул полу савана и вдруг тоже выхватил из кармана наган...

Перепуганный отец Николай все это время тихо пятился к дверям. Когда в воздухе мелькнуло два нагана, поп задом открыл двери и стремительно удалился от опасного места. Он очнулся неизвестно у чьего дома, далеко от сельсовета. Облегченно вздохнул, огляделся и только теперь вспомнил про свою брошенную на произвол судьбы кобылу. Николай Иванович пошел к дому Кеши. Но ни кобылы, ни розвальней с мешками и купелью не было у косого Кешиного крыльца. На кобыле катались ребятишки, возглавляемые младшим братом уполномоченного, веселым Селькой Сопроновым.

Так шла жизнь в Шибанихе в эту святочную морозную ночь, но это была еще не вся жизнь. Главная жизнь началась на игрище, в громадной зимовке вдовы Самоварихи. Человек сто молодежи, не считая мелюзги (которая то и дело переливалась то с улицы в избу, то из избы на мороз), сидели на лавках. Веселье, словно весенняя речка в солнечное морозное утро, было еще нешумным и спокойным. Но с каждой минутой оно набирало силу.

Игрище не беседа, девки пришли не прясть, не плести, а веселиться, поэтому без прялок и куфтырей. Они в два ряда плотно разместились на широких лавках, а ре-

бята сидели на коленях у девок, вернее, уже не сидели, а только опирались. Шесть или восемь пар играли «метелицу», новомодную пляску, пришедшую нынче зимой откуда-то издалека, как приходят в Шибаниху песни, слухи и нищие. Две десятилинейные лампы ясно горели под матицей, так же ясно и ровно играла хромка в ладонях Володи Зырина — шибановского, средней руки гармониста. Он сберегал силы, играл покамест не очень часто, хотя кое-кто из пляшущих иногда поджимал его, переходя на более быструю дробь. Но Володя не поддавался этому нетерпению.

Гармонь пела приятно и еще с дальним оттенком печали, пахло нафталином, тающим снегом, мылом и городским табаком, песни звучали пока очень отчетливо, все говорили шепотом либо вполголоса.

Большая, с худое гумно изба наполнялась народом больше и больше. Вот пришли шумные залесенские, привели с собой человек пять перестарков, ни мужиков ни ребят. В другое время острые на язык шибановские девицы не оставили бы такой случай без хохоту, сегодня обошлось. Все чинно следили за пляской. Вдруг чей-то парнишка лет восьми, весь с головы до пят в снегу, держа чуть ли не на локтях большущие шубные рукавицы, с криком и холодом перекатился через порог:

— Ольховские!

В восторге от того, что первый объявил новость, он вывалился из избы обратно на улицу. Пляска враз прекратилась. Володя Зырин подал гармонь Палашке. Девки, сразу и не очень стесняясь, позабывали своих доморощенных ухажеров, заохорашивались, заперешептывались. «Коня! Коня ведут!» — послышались по многим углам таинственно-восторженные слова, стало тихо, потом поднялся невообразимый шум. Дверь открылась, и в клубе мороза качнулась громадная, с бубенцами морда коня. Вначале она хитровато мотнулась в обе стороны. Затем, взбрыкнув до самого потолка, объявился и сам конь. Зазвенел бубенцами, заприплясывал посреди избы, начал заваливаться то вправо, то влево, освобождая место. Народ с хохотом, визгом и криком шарахался в стороны, задние начали подниматься на лавки. Конь бил правой передней ногой, одновременно лягался правой задней, вызывая восторг и всевозможные возгласы. Большая соломенная морда, обмотанная тряпьем и приделанная к

ухвату, согласно кивала честному народу, то отрицательно мотала, когда начали угадывать кличку. Холщовая подстилка, изображавшая конское туловище и шею, закрывала артистов. Когда кто-либо пробовал заглянуть под нее, чтобы узнать, кто нынче конем, то, отброшенный копытом, отлетал в сторону.

Черный бородатый цыган с серьгой в ухе, в шапке с зеленым плисовым верхом, в рваных штанах, но в хорошем кафтане раздвинул кнутом толпу, похлопал коня по шее: «А гдэ мой Сивка? А вот мой Сивка! А ну, каму лошадь купить, харошая лошадь!» Тотчас появился юркий маленький черт, правда, в валенках и безрогий. Он поглядел у коня под хвостом и плюнул туда, конь лягнулся, а черт подскочил вперед и начал считать конские зубы. Поднялся спор, сколько у коня зубов, началась торговля. Мужичок вкупе с необъятной полуторной бабой переторговал черта, цыган продал коня и смылся, а когда мужичок посадил жену на коня, тот взбрыкнул, упал и ко всеобщему восторгу испустил дух.

Когда коня вместе с ревущей бабой выволокли на улицу, в Самоварихиной избе уже нельзя было протолкнуться. Ольховские ребята поздоровались за руку с шибановскими девками и ребятами, пошли плясать под свою игру, доброхоты во главе с Палашкой очистили игрище от мелких ребятишек. Молодок, мужиков и баб пока оставили.

Иван Нечаев курил с Акимом Дымовым, с которым они вместе служили, но сестра Людка опять разыскала его в толкучке. Она долго трясла брата за локоть: «Иван, ой, Иван, Анютка-то...» — «Чево?» — «Да ведь родила!» Нечаев сперва отмахнулся, потом до него дошло, и он стремительно бросился домой, словно в атаку.

Теперь игрище пело на все голоса гармоний и девок. Палашка завела в кути и за печью все горюны, гармонисты не однажды сменили друг друга, а Микуленка, которого она ждала, все еще не было. Председателя вызволил из плена все тот же Иван Нечаев. Прибежав домой, он еще с порога крикнул: «А где у меня Петруха-то?» Нечаев задолго до этого дня дал младенцу любимое имя: Петр. То, что могла родиться дочь, даже не приходило в голову. Жена и мать послали Нечаева за бабкой Таней, она была дальней его родственницей. К тому же только она умела так искусно завязывать пупки шибановским

новорожденным. Нечаев пулей, даже без шапки устремился за Таней. Он еле открыл примерзшие ворота, выпустил на волю Микуленка с Носопырем и увел старушку домой. Носопырь отправился еще смотреть игрище, а Микуленок побежал в сельсовет.

...Были святки.

Ребята и девки плясали и пели, ходили к горюну, переглядывались. Тревожно, ласково, счастливо, горько, весело, беззаботно звучали частушки. Гармони еще пели совсем не устало, у каждой был свой тон и голос. Но деревня уже спала. Спали все, кроме веселого игрища, да не спали два старика. Никита Рогов и Петруша Клюшин уже поднялись и рубили хвою во своих дворах при свете керосиновых фонарей. Еще не спала кобыла попа — она сама пришла к дому и стояла на морозе нераспряженная. Да не мог уснуть Савватей Климов. На игрище он долго смешил девок и все просился плясать. А сейчас, лежа на печке, он, видимо, вспомнил и свою молодость. Савватей ворчал и жаловался Гурихе на нее же.

— Да заусни, ты, заусни, ради Христа! — не вытерпела Гуриха.

— Нет, не заусну.

— Это пошто?

— А никогда не заусну. Климов шиш когда зауснет.

Он затих, когда Гуриха отступилась. Пропели вторые петухи. Каждый раз, готовясь уснуть, Савватей вспоминал что-нибудь хорошее, что случилось за день, либо плохое, которое не случилось. Сегодня он подумал: «Вот как хорошо, что сейчас зима и нету блох. Ни одной штуки. Оне уж покусали бы за ночь-то. Не поспишь с ими. С блохами-то».

VI

В субботу, 14 января 1928 года, в Москве было мглистое морозное утро. Белая мгла висела над крышами. Нагромождения домов и кварталов терялись вдали, растворенные этой морозной мглой. Золотушный, с неопределенными очертаниями сгусток солнца, никем не замечаемый и словно ненужный небу и городу, всходил над столицей. В безветрии и безмолвии Александровского сада мерцали медленные кристаллики снежной пыли. На красноватых, слегка отлогих монолитах Кремлевской стены обозначались серебристые лишаи проступившего за ночь инея. Дворник

в казённом фартуке старательно разметал снег у въезда в Троицкие ворота. По Воздвиженке и мимо Манежа торопились на работу последние служащие. Школяр, опоздавший на первый урок, глазел на афишу. Реклама «Совкино» вещала о кинофильме «Парижский сапожник».

...Данило Пачин приехал в Москву с жалобой на Ольховский волисполком с попом Рыжком, которого комиссия волисполкома тоже признала нетрудовым элементом.

Произошло это третьего дня, сразу после приезда уездного уполномоченного Игнахи Сопронова. В списке Данило был не один. Кроме бывшего ольховского дворянина Прозорова, а также отца Николая, отца Иринея и шибановского Жучка, избирательных прав лишались еще две семьи из других деревень. Данило соглашался платить повышенный налог, но быть лишенным прав никак не мог, поскольку считал себя не хуже других, и вынести такой позор, особенно перед будущим сватом Иваном Никитичем, было ему не по силам. Писать жалобу и ехать в Москву прямо к Калинину надоумил Николай Иванович. Он же принес гербовой, еще старорежимной бумаги и написал заявление на имя председателя ЦИКа. Оба, впрочем, надеялись больше не на бумагу, а на шибановского Петьку Штыря, служившего, по слухам, в канцелярии самого Михаила Ивановича. Петька был недавно в отпуске и только-только уехал в Москву. Данило решился съездить. Акимко Дымов, поехавший как раз за товаром для кооперации, меньше чем за сутки довез их до станции. С поездом им тоже повезло, они укатили в Москву без пересадки в Вологде.

Сначала Данило был рад попутчику. Но после затужил и покаялся: «Нет, надо было одному!» Поп Рыжко вконец расстраивал, он много раз выпивал, терялся из виду и вторые сутки пел своим бычьим голосом одну и ту же частушку:

Ой, с маленькой пестерочкой
Ходили по грибы!
Сосмешалися дороженькой,
Попали не туды!

Не мудрено было и «не туды» уехать с таким пьянчугой! Все-таки утром в субботу они без особых происшествий прибыли в Москву. Обутые в серые катанки, оба в шубах, они боязливо вышли из вагона. Данило дивил на-

род шубными рукавицами и плетеной, в виде сундука драночной корзиной. В корзине он вез полдюжины пирогов-пшеничников и, в подарок Штырю, замороженную баранью ляжку. У Николая Ивановича поклажи не имелось, а рукавицы он упек еще в начале дороги.

Выйдя на шумную, сверкающую электричеством Каланчевку, Данило перевел дыхание и почтительно снял заячью, сшитую Акиндином Судейкиным шапку.

— Москва-матушка!

— Вроде она,— подтвердил притихший Николай Иванович.— Белокаменная...

Не зная, куда идти и как ехать дальше, они долго перетаптывались на одном месте. Извозчик сразу их заприметил, подъехал ближе:

— Садись, подкачу, куда надобность!

Извозчик был невзрачный, такого увидишь и сразу забудешь, но шапку носил пирожком. Николай Иванович, не долго думая, шмякнулся на сиденье, достал бумажку с адресом Петьки Штыря. Извозчик долго разбирал адрес:

— Шаболовка, дом бывшего Зайцева. Далеконько, да ладно,— сказал он и крякнул: — Чьи сами-то?

— Да с вечера вологодские были,— бодрился Николай Иванович.— А нынче оба советские.

Поп не очень-то унывал в чужом месте, и Данило тоже приободрился, поставил корзину в ноги и уселся. Вислозадая лошадь с неожиданным проворством затрусила через площадь, не обращая на трамваи никакого внимания.

— Так, так. А сюда по какому делу? — не оборачиваясь, допытывался извозчик.

— В Москву-то? В Москву разогнать тоску,— отшучивался Николай Иванович.

Сани катились по безлюдным задворным улицам. Большие черные дома стояли сплошняком, впритык друг к дружке. Данило читал и не успевал прочитать ни одной вывески. До этого он был в Москве дважды, и оба раза всего ничего. Один раз торопило начальство, надо было скорее на Колчака, в другой раз торопился сам, потому что ехал домой. В гражданскую служил Данило в отдельном вологодском полку под началом земляка Авксентьевского. До этого он воевал на германской в эстонских землях, а туда эшелоны шли через Питер.

— А вот, гражданин ездовой,— заговорил вдруг Данило, когда извозчик ничего не узнал от Николая Ивановича

ча,— ежели рассудить, где она, наша справедливость-то? Ведь я, считай, пять годов на службе, не пропустил ни гражданьскую, ни германьскую. Я Советской власти ничего худого не сделал. Дак пошто меня голосу-то лишать?

Николай Иванович ткнул ему в бок, но Данило не унимался:

— Ты погоди, не тычь, дай сказать человеку.

— А что тебе с того голосу? — засмеялся извозчик.— Живи так, без голосу!

— Э, дружечик! — Данило постучал извозчика в крестец пальцем, сквозь ватный пиджак.— Не дело ты говоришь, меня все люди знают. Данило век свой встает и ложится с солнышком, худым словом никого не обидел, как это так? За что Данила лишать голосу? Нет, я дойду до Калинина! Чтобы голос воротили и во все списки обратно внесли.

— А по мне, так лучше бы из всех списков меня вычистили да больше не трогали,— обернулся извозчик.

— Что, дядя, разве и ты в списках? — засмеялся поп.

— А как же! Вщ-щить! Такая-сякая.

Извозчик свистнул и замолчал. Замолчали и ездоки, словно бы спохватившись. Каждый вспомнил пословицу вроде той, что «слово серебро, молчание золото» или «слово не воробей...» Но ездить молча, да еще по Москве, русскому человеку несподручно и тяжело. Каждый чувствовал себя как виноватый и боялся молчанием обидеть другого, еще боялся, что его заподозрят в чем-то плохом. Данило открыл корзину, выволок румяный, с заспой пирог и начал угощать ездового:

— На-ко, на-ко, попробуй! Тебя как зовут-то?

Извозчик молча оторвал от пирога ломоть, Николай Иванович сделал то же. Всем сразу стало веселее и легче. Все трое, жуя пшеничник, ехали по Москве, и каждому было отрадно от того, что он не желает другому ничего плохого.

Открывались подвальчики и какие-то убогие нэповские лари. Дворники березовыми метлами мели улицы. Данило дивился, как много народу скопилось и живет в одном месте. Дома стояли громадные, молчаливые. Данило снова почувствовал свою беззащитность: «Куда идти? Где искать Петьку Гирина, да и что толку, коли найдешь? Лучше не ездить бы, а послать прошение по почте».

Извозчик наконец остановился и показал на трехэтажный, из красного кирпича дом «бывшего Зайцева». Николай Иванович рассчитался.

— Ну, счастливо,— извозчик осторожно пожал рыжую ручищу Николая Ивановича.— Счастливо, может, и пустят к Калинину-то.

— До свиданьица.

Извозчик уехал, без азарта погоняя свою еще нестарую вислозадую лошадь. Данило с попом пошли искать квартиру Штыря. Штырева номера на первом этаже не было, поднялись на второй. Широкий общий коридор со множеством дверей освещали два окна по торцам и две электрические лампочки, горевшие, видимо, ночь напролет. Застоявшийся постельный запах перебивался керосиновой гарью, у трех-четырех дверей шипели примусы. Не обращая на приезжих ни малейшего внимания, по коридору прошла непричесанная сонная женщина. Халат, застегнутый на одну только пуговицу, привел в смущение даже попа. Данило почувствовал себя провинившимся и попятился, но Николай Иванович уже отыскал нужные двери. Поставив корзину, прислушались.

— Спят. А что, Николай Иванович, фатера-то эта ли?

— Эта. Давай ломись.

— Неудобно, надо бы подождать.

Обоим снова стало тоскливо.

— Пусть спят,— махнул рукой Николай Иванович.— Пойдем, улицу пока поглядим.

— Корзина-то?

— Корзина не убежит, мы ненадолго.

Запоминая дорогу обратно, они спустились вниз и вышли из подъезда. Дом приметный, бояться было нечего, и Николай Иванович, увлекая Данила, с важным видом, по-хозяйски двинулся по тротуару. Ему было приятно, что и в Москве он чувствовал себя как дома.

— Николай Иванович,— остановил Данило попа.— А это-то чего? Вроде церквы.

— Храм и есть,— отозвался Николай Иванович.— Ну-ко, зайдем, Данило Семенович, оно любопытственно.

Небольшая, запрятанная в тихий проулок церковь была очень похожа на шибановскую: на путников пахнуло родной деревней. Снег около паперти был расчищен и разметен, окованные ворота приоткрыты. Отец Николай ма-

шинально кинул пальцы ко лбу и плечу, ступил на приступок. Данило несмело ступил следом. В церкви было пусто, прибрано и намного холодней, чем на улице. Отец Николай окинул взором позднюю настенную живопись, смело прошел вперед. Данило остановился, оглядываясь. Единственная свеча горела у иконы всех святых около клироса. Отец Николай кашлянул и направился к алтарной двери. Крохотная стариковская фигура в чистом опрятном стихарике отделилась от левого клироса:

— Куда, куда, милый, батюшки-то и нет. Нет батюшки, извольте к завтрему.

— Я, батюшка, сам батюшка! — сказал Николай Иванович, и эхо его голоса загудело под сводами.

Но дьячок, казалось, не слышал возгласа.

— Протоирей Перовский! — прогудел слегка обиженный Николай Иванович.

— Ах,— обрадовался дьячок.— Так вы не от отца благочинного? Ждем, ждем, батюшка, второй день, а позвольте узнать...

— Отец Николай,— перебил Николай Иванович.— Рукоположен в Вологодской епархии, имею камилавку и наперстный крест.

Почему-то обрадованный дьячок засуетился. Он открыл двери в алтарь, приглашая войти. Отец Николай и сам не заметил, как оказался в алтаре, а Данило недоуменно постоял в пустой церкви и вышел. Он решил подождать Николая Ивановича на свежем воздухе.

Бригадир формовщиков Московского механического завода Арсентий Шиловский работал в ночную смену. Заказ на канализационные тройники был очень срочным, начальство торопило литейщиков. Бригада работала всю ночь при усиленном освещении переносных электроламп. Часам к восьми утра кончились стержни, и земледелы выключили рубильники на бегунах. Мягкий, стелющийся звук разминающих формовочную землю катков замер, в черной литейке стало непривычно тихо и даже как-то просторно. Лишь по-самоварному мирно гудела посреди цеха жаркая вагранка да порой вверху, на площадке, гремел шихтой завалочный ковш. С первой утренней сменой должны были разлить чугун.

Шиловский разогнул затекшую поясницу и пошел за опокой. Бригада только что ушла по домам, а ему оста-

валось заформовать последний стержень. Шиловский посмотрел на два аккуратных ряда форм, пересчитал. До двух десятков не хватало как раз одной. Шиловскому было приятно знать, что это он сделал девятнадцать ровно чернеющих прямоугольников, что ночь кончилась и огненное кисельное варево заполнит скоро трепетные пустоты в набитых землей опоках. Нет, все-таки надо было сделать двадцатую, для ровного счета...

Преодолевая усталость, Шиловский принес две опоки — бездонные чугунные ящики с ручками. Быстрым, давно отработанным и потому незаметным для него самого движением он установил нижнюю опоку, притер ее к земляной площадке. Земля была уже сухая. Он совковой лопатой наносил прямо от бегунов свежей, чуть влажной формовочной массы, насыпал в опоку и вдавил в нее половину смазанной жидким графитом деревянной модели. Затем он плотно утрамбовал землю пестиком, сровнял ее заподлицо по срезам модели, посыпал белым мелким песочком. Мягкой волосяной кистью смахнул с дерева крошки земли и соединил верхнюю половину модели с нижней. Оставалось положить сверху вторую опоку, установить формочку заливочного отверстия и набить опоку землей. Он сделал это довольно быстро. Осторожно, проволочным стерженьком протыкал отверстия для выхода газа и распрямился.

Поясницу ломило, очертания опоки смещались в глазах. Но теперь была самая приятная часть работы. Шиловский любил этот момент, когда надо вскрывать форму и вынимать половинки модели. Если все было хорошо, если не отваливалось ни кусочка формовочной массы, то было приятно, как в детстве, когда удачно отгадываешь загаданную кем-либо загадку.

Он слегка раскачал и осторожно вытянул из земли деревяшку для формовки заливочного отверстия; она вышла легко, без задержки. Руки потомственного формовщика почуяли б даже самый крохотный обвал формовочной массы...

Снимать верхнюю часть формы надо было вдвоем, и Шиловский оглянулся. Только вагранщик Гусев дремал у гудящей вагранки да вверху на завалочной площадке сказывался завальщик Гришка Устименко. Черный объем цеха уходил далеко в темноту, фермы арочных перекрытий громоздились, уходя в перспективу. Мощный, сейчас безмолвствующий балочный кран чернел вверху от стены

до стены, крюк его недвижно висел на тросе. Вагранка гудела спокойно и деловито.

— Алё, Гусев! — крикнул Шиловский.— Александр Михайлович! Помоги, последняя форма...

Гусев, зевая и потягиваясь, поднялся с корточек, поглядел в глазок вагранки и только после этого приблизился к Шиловскому. Закурил.

— Все еще тут. Сколько браку набухал?

— Двадцатая. А ты, гляди, дозеваешься, опять заваришь «козла».

— Сам козел.— Гусев покряхтел и склонился над формой. Шиловский тоже взялся за ручки и вдруг закричал:

— Потише можешь? Так. Тсс... Взяли. Тише, говорю, черт, первый раз, что ли?

— Ни хрена.

Они осторожно сняли верхнюю опоку, перевернули и так же осторожно положили ее на деревянные подкладки. Все было в порядке. Шиловский легкими ударами по вставленному в дерево железному прутку поочередно слегка расшатал и вынул из опок половинки модели. Смазанные графитом, они хорошо отделились от формы. Шиловский установил в опоке последний формовочный стержень. Гусев помог накрыть его второй опокой.

Плохо, хорошо ли сделана работа — теперь все останется втайне, пока отлитый тройник не выбьют и не очистят от комьев перегоревшей земли, пока обрубщики не обрубят с детали наплывы металла.

— Все! — Шиловский хлопнул по широкой брезентовой штанине.— Помаялись — и спать, старуха, спать.

— Ну да, держи карман. Дадут тебе днем поспать пролетарские дети.— Гусев жил на одном коридоре с Шиловским.— Не думаешь, Арсентий, квартиру получше просить?

— А ты? — Шиловский вытряхнул пыль из своей густой шевелюры, цвета крепко заваренного чая.

— Да я что, мне хватает пока,— сказал Гусев.

— Ну и нам тоже хватает.

Это было правдой, Шиловский не стремился получить другое жилье, хотя в комнате жили они втроем: с матерью и давнишним дружком Петькой Гириным. Арсентий явственно помнил, как отец, вернувшись с германского фронта, рассказывал о своем друге фельдфебеле Николае Гирине, которого где-то в Карпатах немцы удушили ядовитыми газами. Петьку Гирина отец приписал из деревни как раз

во время Февральской революции. Он пристроил его на завод и вскоре умер, наказав жене кормить Петьку наравне с сыном Арсентием. Можно было и не наказывать, все шло само собой. Петька так у них прижился, что даже теперь, когда его, как сына бедняка, по льготным правилам приняли в партию и выдвинули из формовщиков на ответственную работу, даже теперь он никуда не хотел от них уходить. Всю свою ответственную зарплату Петька по-прежнему до копейки отдавал матери Шиловского — Лаврентьевне. Он лишь изредка посылал денег сестре в деревню, единственной, оставшейся там родственнице.

Между тем Гусев выключил рубильник дополнительного освещения. Высокие прокопченные и пыльные окна обозначились чуть заметной утренней синевой. И в это же время над кочегаркой соседнего механического цеха зашипел пар, а сквозь это шипение пробился и сначала сипло, потом чище и все более зычно загудел первый гудок. Вскоре в раздевалке послышались голоса утренней смены. Завод оживал, цеха быстро сбрасывали с себя ночное оцепенение. Пришедшие разливальщики готовились разливать чугун. Гусев откинул сонливость и сразу преобразился, он прыгал около вагранки, запасал специальную замазку для забивки летка, обмазывал желоб огнеупорной глиной. Балочный кран уже сухо щелкал контактами реле. Теперь формовщикам нечего было делать в цехе, где час-полтора наступит шумное царство огня и жаркого дыма.

Шиловский сходил в душ, переоделся и, предчувствуя сладость отдыха, через административную пристройку вышел на заводской двор. Тут-то и окликнул его мастер литейки Малышев. Он спросил, сколько заформовано тройничных стержней, похвалил бригаду и напоследок смущенно поскреб в затылке:

— Ну, брат, тебе сегодня везет, спать не придется.

— А что?

— Звонили из комитета, просили зайти. Ты там в какой-то комиссии, ну, счастливо!

Сутулый Малышев, махая длинными, ниже колен руками, поспешно исчез, а Шиловский разочарованно причмокнул. Отдых откладывался. Шиловский числился на заводском партучете, но в парткоме по месту жительства его записали недавно в комиссию по конфискации неучтенных церковных ценностей. Неделю тому назад у комиссии уже был один заезд, сегодня, видать, предстоял второй.

Делать было нечего. Шиловский вышел из проходной, пересек улицу и прыгнул в затормозивший на повороте трамвай.

Часу в десятом утра особая тройка в составе представителя финотдела долговязого прибалтийца по фамилии Билинкис, а также Шиловского и милиционера Артамонова подъехала на машине к храму, построенному в честь Покрова богородицы в одном из переулков Замоскворечья. Четвертым в группе был шофер, исполнявший одновременно и обязанности охраны, а в случае необходимости — вооруженной помощи милиционеру.

Обойдя вокруг церкви, милиционер Артамонов остался на паперти, шофер (или, как говорилось в Москве, шоффер) встал у бокового выхода, а Шиловский и Билинкис вошли в церковь.

С полдесятка пожилых женщин, не обращая внимания друг на друга, тихо молились около левого клироса, да какой-то лысый мужик стоял у дверей и держал в руках рукавицы. Из алтаря слышалась делаемая вполголоса басовая проба. Шиловский и Билинкис, не снимая шапок, быстро прошли к алтарю. Массивная на вид дверца левого алтарского входа оказалась до того хрупкой, что, распахнув ее, Билинкис еле устоял на своих жидких, обутых в краги ногах. От этого Шиловскому стало смешно, он с каким-то озорством, минуя богомолок, ступил в алтарь. Прямо перед ними стоял громадный рыжий поп, видимо, это он только что пробовал голос. Не замечая сухонького невзрачного дьячка, Билинкис смело подошел к попу.

— Вы здесь заведывающий? Патрудитесь адеться! — заикаясь и без акцента сказал председатель тройки.

Арсентий, улыбаясь, подвинулся ближе.

Поп недоуменно, словно ничего не понимая, поглядел на них, потом, испугавшись, начал искать шубу. Когда он сунул свои громадные руки в рукава и взял шапку, Шиловский и Билинкис встали у него по бокам. Вдруг коротким и сокрушающим движением локтей он раздвинул себе пространство: члены особой тройки полетели от него, один влево, другой вправо... Поп бросился из алтаря, распахнул дверь бокового выхода, сбил с ног шофера, бегом миновал двор и через какой-то узкий проулок ринулся в город. Сзади, где-то около церкви хлопнул выстрел. Николай Иванович (а это был именно он) бежал, бежал что есть мочи, не оглядываясь. Он свернул в другой проулок, выбежал на

другую очень коротенькую улицу и только теперь оглянулся. Улица была пустынна, но милиционер свистел где-то недалеко. Николай Иванович побежал вновь, нырнул под какую-то арку и спрятался за железной воротницей. Он видел в щель, как мимо арки, тяжело дыша, пробежал Шиловский, слышал, как проехала машина, и, в меру отдышавшись, вновь затаился.

Николай Иванович вышел из-за воротницы не раньше чем через полчаса. Он выглянул из-под арки и, убедившись, что ничего опасного нет, стараясь не торопиться, прошел мимо незнакомого места. Добрался до какого-то трамвая и поехал куда глаза глядят, подальше от злополучного храма.

Не догнав попа, тройка все же вернулась в церковь и сделала в алтаре обыск. Прихватив с собой испуганного старого дьячка, или псаломщика, а также большой серебряный крест с крупной, впаянной в него жемчужиной, тройка поехала в финотдел. Вскоре Шиловский подписал акт и направился домой: усталость бессонной ночи снова вернулась к нему.

VII

Данило вернулся к дому «бывшего Зайцева» в полном расстройстве. Он видел, как поп Рыжко выскочил из алтаря и ударился в боковой выход, как через какое-то время погнались за Николаем Ивановичем приезжие. «За какими шишами в церкву было ходить? — думал Данило.— Накликали беды на свою голову». Он не знал, где Николай Иванович, куда его увезли и что теперь делать. Решил скорее искать Петьку Штыря.

Данило в беспокойстве поднялся по знакомой теперь лестнице, нашел коридор и нужные двери. Корзины у дверей не было, и он обрадовался : значит, прибрали хозяева, дома кто-то есть. Коридор стал многолюдным и шумным, пахло жареным луком. Играло в комнатах радио, жёнки, не замечая Данила, сновали мимо, ребятишки с криками бегали взад-вперед.

Данило без стука толкнул дверь, снял шапку. Большая, оклеенная розовыми обоями комната делилась занавеской на две неравные половины. В углу стоял стол, покрытый протершейся на углах клеенкой, на столе самовар

и какая-то еда, накрытая газеткой. В другом углу размещались крашенный в розаны сундук и кровать с зеленым стеганым одеялом. Данило разглядел бы еще зингеровскую швейную машину, горку и гармонь на шкапу, но от занавески отделилась широкая в кости женщина, почти старушка, одетая в коричневую с воланами и гарусом кофту. Она подошла к горке, не спеша надела очки и, разглядев Данила, заговорила скороговоркой:

— Ах, это ваша поклажа? Проходите, садитесь, Петеньки нет, Арсеня скоро придет. Милости просим, как же эдак? Поклажа оставлена, а никого нет, а Петя вышел и догадался: видно, говорит, кто-то из деревни приехал.

— Вот, благодарствую, видно, я угадал. Значит, тут живет Петр Николаевич?

— Здесь, здесь! — старушка засуетилась с самоваром, но Данило решительно ее остановил:

— Не сумневайтесь, ничего не требуется. Мне бы Петра Николаевича...

Он расспросил, где найти Петьку, как до него добраться, достал из корзины писанную Николаем Ивановичем бумагу и ушел. Старушка — мать Арсентия Шиловского — надела платок, телогрейку и проводила Данила до нужного трамвая. Она взяла с него слово, что он обязательно приедет ночевать, а Данило, ободренный, обрадованный, поехал искать Штыря и Калинина.

Бумага с клеймом фабрики Сумкина, на которой была написана жалоба, лежала за пазухой, трамвай браво гремел железяками. Данило Пачин ехал по Белокаменной, полный хороших надежд. Он верил в свою справедливость.

Он без особого труда нашел дом, где принимал ходоков председатель ЦИКа Михаил Иванович Калинин. «Мужик-то он наш, тоже деревенский,— думал Данило,— должон разобраться, должон воротить права. Господи благослови!» Данило мысленно перекрестился и взялся за большую медную скобу. Он вошел в коридор, старательно обтер о половичок валенки, снял шапку. Нащупал под шубой бумагу и ступил на лестницу. Его не остановили и не окликнули, он немного умел читать вывески и вскоре на четвертом этаже нашел нужные двери.

— Я вас слушаю, гражданин! — Данило увидел за столом крупного представительного человека.

— Здравствуйте,— произнес Данило.— Я, товарищ командир, на одну минутую, мне бы к Михайле Ивановичу.

— По какому вопросу?

Данило замялся, ворочая шапку в ненужных сейчас руках.

— Мне бы к Михайле Ивановичу...

— Заявление? Жалоба? Михаила Ивановича сейчас нет. Оставьте ваши бумаги, разберемся, сообщим по месту жительства. Есть у вас заявление?

В приемной слегка пахло приятным табачным дымом, и этот домашний запах вернул Данилу сообразительность. Он потоптался и сказал:

— Да нет бумаги-то... Мне бы Михаила Ивановича, с глазу на глаз.

— Сегодня нельзя, гражданин. Занят Михаил Иванович.

— Ну, я ежели попозже зайду. Пока до свиданьица.

Данило повернулся и вышел. От волнения он надел шапку только на улице, и милиционер-регулировщик долго смотрел на живописную лысину мужика.

Прошло часа два. Данило не спеша обошел вокруг Кремля, подивился на узорчатые маковки Покровской церкви, поглядел на реку и посидел на снежной скамеечке какого-то садика. Набравшись терпения, он снова пошел в приемную. Человек пять посетителей — мужиков и городских — сидело на стульях, и тот же секретарь названивал кому-то по телефону, подписывал бумаги. Данило решил подождать, пока народу будет поменьше, снова вышел, походил около дома и вдруг увидел Штыря.

Петька, в черных с калошами валенках, в суконном черном пиджаке и богатой пыжиковой шапке, выходил из машины, держа в руках толстый портфель. Данило бросился навстречу:

— Петька! Петр Николаевич, гли-ко, хоть я тебя увидел-то! Совсем я...

— Что? — Петька даже не остановился.

— Николая-то Ивановича я потерял, а на квартире-то был, да ты уж ушел...

Данило вдруг осекся. Петька Штырь, даже не посмотрев, скрылся в подъезде. Данило долго не мог очнуться от этого горя. «Прохвост! — думал он.— Прохвост он, прохвост и есть, вишь, не признался. Да разве это где видано? Своего мужика не признать, ольховского. В Шибанихе жил, в одном дому гостили... Господи, до чего дожили!»

Данило в отчаянии снова пошел в приемную. Все посетители уже ушли, и прежний секретарь, узнав Данила, рассердился.

— Я же вам, гражданин, сказал, Михаил Иванович принять не может. Не может, понятно это или нет?

— Да я, товарищ командир, на минутую... Можно сказать, совсем ненадолго...

— Нет, нет, приходите на следующей неделе!

— Я, вишь, не могу долго-то, сына женю...

— Что, что?

— Сына, говорю, женю, свадьба на той неделе, время-то нету.

Данило положил шапку на стол, достал из-под шубы бумагу, в которой было написано:

От крестьянина Вологодской
губернии деревни Ольховицы
Данилы Семенова Пачина

ПРОШЕНИЕ

Покорнейше прошу президиум ЦИК разобрать мою жалобу относительно сугубо неправильных действий низовых властей в лице комиссии Ольховского волисполкома и лично уполномоченным РИКа Игнатия Сопронова. По существу дела имею честь сообщить следующее: Я, Данило Семенов Пачин, крестьянин, по оговору Сопронова решением комиссии волисполкома генваря 11-го дня сего 1928 года лишен был гражданских избирательных прав, что считаю несправедливым. Наемным трудом мое хозяйство никогда не пользовалось, торговли никакой не было. Что касается толчеи, то я давно передал ее добровольно и безвозмездно в Ольховскую коммуну имени Клары Цеткиной.

В справедливости сих слов дают показания все нижеподписавшиеся граждане д. Ольховицы Вологодской губернии.

К сему Пачин. Плюс тридцать две подписи граждан деревни Ольховицы.

VIII

Петька Гирин, по прозвищу Штырь, нисколько не удивился, когда увидел Данилу Пачина на Воздвиженке. Еще утром по плетеной корзине он понял, что приехали земляки. Петька был рад этому. Здесь, в Москве, его волновала

даже эта плетеная корзина с крышкой на новых петельках. От одного скрипа дракок и пирожного запаха, источаемого корзиной, бывший шибановский нищий, а ныне один из курьеров канцелярии ЦИКа Петр Николаевич Гирин оказался в то утро словно на крыльях. Правда, он всего два дня назад вернулся из Шибанихи. Но деревня и родина вновь казались ему далекой землей, куда, может быть, никогда не будет возврата.

Самым первым осознанным и закрепившимся в памяти воспоминанием Гирина была большая изба, наполненная белым дымом. Третья часть, от пола, не имела ни единой дыминки, граница дыма и чистого воздуха различалась очень четко. Белый как молоко, густой этот дым напоминал небо, но тогда Петька еще не умел сравнивать. Ему нравилось бегать и прыгать под этим дымом босиком по черному холодному полу. Было приятно, что дым не душит его, как душит взрослых людей: входя в избу, они сгибались в три погибели.

Другое, самое сильное воспоминание осталось от первого хождения к причастию. Ему плохо запомнилось то, что он видел: мерцание свечек, залитые оклады икон, суровые добрые лики угодников, а также хоругвь прорезной меди и цветные платки шибановских баб. Все это он помнил неясно, смутно, эти зрительные картины путались с незабытыми образами его многочисленных детских снов. Зато очень ярко запомнилось пение. Широкое, всепроникающее, оно на всю жизнь осталось в душе — сладким осколочком чего-то невыразимо прекрасного и необъятного. Петька сидел на руках матери, и это пение на миг обволокло, поглотило его, пронизало все его маленькое существо. Может быть, это было не все пение, а всего одна напряженно-высокая нота или один, но самый прекрасный в жизни и мире звук. Этот звук, растаявший под расписными сводами шибановской церкви, навсегда поселился в Петькином сердце: ему было тогда три или четыре года.

А в пять он уже ходил с корзинкой по деревням. До сих пор не зарубцевалось в гиринском сердце это больное, оставленное детством место. Из тех горьких хождений он больше всего запомнил одно: когда он пришел в Ольховицу и чужие, незнакомые ребята кидали в него камнями. Камни летели градом, ребятишки гнали его вдоль улицы, и он, в слезах и отчаянии, затравленно забежал в чье-то крылечко. В сенях молодой, бородатый мужик тесал топо-

рище. Он спросил Петьку, чей и откуда. Пока Петька, уткнувшись лицом в стену, вздрагивая плечами, стоял в сенях, мужик сходил в избу и принес пригоршни вяленой репы. Он высыпал лакомство в Петькину кепку, погладил по его голове большой жесткой ладонью. Петькино сердце таяло от благодарности и любви, ненависть к чужим ребятишкам быстро исчезла. Но мужик подозвал ребятишек, взял одного из них за загривок, сорвал горсть крапивы и отстегал по голым ногам, приговаривая: «Не обижай убогих, будь человеком! Не обижай убогих, будь человеком!..» Петька, позабыв корзинку с милостынями, побежал по дороге, ближе к своей деревне, но выстеганный крапивой мальчишка догнал его в поле и подал корзинку. Петьке было уже жалко сверстника, а тот бодрился и все приговаривал: «А вот и не больно, а вот и не больно нисколечко!» Они сели на обросшую куриной слепотой бровку канавы, и Петька по-братски разделил с Пашкой вяленицу, подаренную Петьке Пашкиным отцом Данилой Пачиным.

Накрепко унаследовав отцовское прозвище, Петька жил с матерью и сестрой, пока не пришло письмо из Москвы от отцовского сослуживца. Все остальное Гирин помнил уже ясно и четко. До самой смерти Шиловского-старшего Петка спал с Арсентием на одной кровати, хлебая с ним одну и ту же похлебку. С получки они покупали одинаковые покупки, а в литейке формовали одни и те же детали.

Жизнь зацепила Петьку своей новизной и поволокла, устремила куда-то, он помнил все, но не успевал осмысливать. Однажды он очнулся курьером канцелярии ЦИКа. Привыкший к шуму литейки, к запаху литейного газа и земледелки, он было подумывал и о женитьбе, но тут жизнь, вернее работа, начисто изменилась. Осмысливая эти изменения, Петька начал задумываться сперва о своей, а потом и не только своей судьбе.

По праздникам и выходным, когда Арсентий распускал по комнате дух одеколона и гуталина, а на столе в соседстве с зеленым графинчиком кипел самовар, Петька брал купленную на паях с Арсентием гармонику, играл и пел знакомую, но заново понятую песню о московском пожаре:

...Судьба играет человеком.
Она изменчива всегда.
То вознесет его над веком,
То бросит в бездну без следа.

Лаврентьевна по-матерински тепло глядела на обоих ребят, вагранщик Гусев приходил из соседней комнаты. Зеленый стеклянный графинчик в виде мужичка в лаптях, с балалайкой в руках и с пробкою вместо шапки никогда не опорожнялся досуха, пили чай, пели все вместе старые и новые песни либо шли смотреть очередное кино. И Петька опять забывал свою судьбу, но судьба не забывала про Петьку Гирина.

Один из секретарей Михаила Ивановича Калинина (Чухонос, как его мысленно называл Петька) пришел на работу после Гирина, и пришел с понижением в должности. Гирин чувствовал это по его поведению. Чухонос ни с того ни с сего сразу же невзлюбил Петьку, и между ними установились внешне простые и даже как будто бы панибратские, но внутренне довольно холодные отношения. Чухонос все время злил Гирина и ехидно посмеивался над гиринским пристрастием к форсу. (Петька и впрямь был любитель пофорсить: его сапоги всегда блестели, на гимнастерке красовалось два-три значка, а ремень и пистолетная кобура были самыми модными.) Только Чухонос и сам был не безгрешен. Задетый однажды за живое, Петька решил подшутить над секретарем. Из всех недостатков начальства Петька выбрал самый главный и безобидный: почему-то секретарь любил нюхать шапки посетителей. Пока деревенский ходок либо какой другой клиент сидел у председателя ЦИКа, секретарь, изловив момент, украдкой внюхивался в нутро головного убора. Может быть, он различал ходоков по запахам или еще для чего-то, но редкая шапка или фуражка оставалась необнюханной. Гирин знал об этом и однажды в чей-то лохматый крестьянский треух незаметно сыпнул крепкого свежего нюхательного табаку. С тех пор придирки стали еще чаще.

Сегодня секретарь с утра послал Гирина отвезти пакеты по адресам нескольких госучреждений. Петька до обеда развозил пакеты, беря расписки в их получении, потом пообедал в чайной и вернулся в приемную. Ему не терпелось увидеть Данила, которого он не признал утром. Не признал нарочно, из осторожности и опасения помешать самому мужику: Чухонос не любил протекций. (Петька давно понимал это слово, как и многие другие слова.)

Под вечер Петьку послали с бумагами в редакцию газеты «Известия», потом Чухонос, отправляясь домой, велел

отнести толстый пакет в ОБЖ. ОБЖ, или объединенное бюро жалоб, находилось тут же, в одном доме с приемной, но там было так много народу, что Гирин с трудом протолкался к кабинету Пархоменко. На зам завбюро жалоб наседали многочисленные, в основном столичные жалобщики, и Гирин вспомнил изречение Михаила Ивановича, оброненное им однажды при Петьке у барьера приемной: «Раз жалуются, значит, дело идет».

Пархоменко — молодой, красивый, черноволосый парень — вышел из кабинета и вошел в другой кабинет. Гирину не хотелось ждать, и он рассудил просто: надо отдать документы завтра, а сегодня немедля ехать домой.

Он так и сделал. Купил в кооперативном магазине несколько селедок, а в другом две четвертинки и, придерживая портфель, через две ступеньки вбежал по лестнице. Распахнув двери, Петька гаркнул:

— Ночевали здорово, товарищи!

— Вот, как раз к самовару,— обрадовалась Лаврентьевна.— Мой руки и садись.

— Погоди, мамаша, дай поздороваться. Данилу Семеновичу...— Петька коротко сжал костлявые, в жилете Даниловы плечи.— Не сердишься?

— Да ведь что... Я ведь, парень, тоже с понятием. Сперва-то вроде бы и приобиделся...

— Ну и ладно. Три, Семенович, к носу, все пройдет!

— К носу и тру.

— С кем, Данило Семенович, приехал? — фыркая около умывальника, спросил Гирин.

— Ох, и не говори! Потерялся Николай-то Иванович.

— Рыжко, что ли?

— Он, прохвост, сколько ден уж грешу с им. На машине-то едет — ко всем пристает. Кабы без его-то, прохвоста... Я бы не погибал. Везде суется. Взять бы за бороду-то... Не знаю чего и делать, где его и искать.

— Адрес-то он знает? — Шиловский вышел из-за занавески, открыл горку с посудой.

— Знает, у его и бумажка есть.

— Найдется! — Петька причесался, согнал складки гимнастерки назад.— Никуда не денется Николай Иванович, ему что Москва, что Шибаниха.

— Да ведь как,— не успокаивался Данило,— кабы он, бес, потише-то был да в каждую дыру не совался.

— Найдем твоего земляка, не сумлевайся. Ну, Лав-

рентьевна, а тебе налить? — Арсентий подмигнул Штырю и Даниле.— Сегодня суббота.

Лаврентьевна замахала руками. Она между тем управилась с селедкой, а Петька сходил за вагранщиком Гусевым. Данило раскрыл корзину, отнес Лаврентьевне завернутую в холстинку баранину, а несколько пирогов выложил на стол. При виде выпивки застеснялся:

— Ох, ребята, выставлять-то бы надо мне, а не вам. Гли-ко, Петр Николаевич, какое я дело-то провернул? Ведь я с самим Калининым говорил, да и Сталин-то был тутотка. Ага, и Сталин был в его комнате!..

— Да ну? — удивился Петька.

— Три разы приходил, все не пускали. А после... Говорил я тебе, что меня правов-то Сопронов лишил?

— Нет, не говорил. Это какой Сопронов?

— Да Игнаха.

— Ну, все понятно! — засмеялся Петька.— Этот Игнаха еще покажет вам где раки зимуют. Садись, Семенович.

Данило присел рядом с Арсентием, с другой стороны стола устроились Петька и Гусев.

— Нет, сурьезно Сталина видел? — спросил Гусев.

— Я те говорю! Ростиком не больно большой, щадровитенькой. А Михайло Иванович мне и говорит: поезжайте, товарищ Пачин, спокойно, дело ваше надежное, безо всякого сумления.

Шиловский разлил водку сперва из графинчика. Петька чокнулся сначала с Данилом, потом с остальными.

Они только успели поставить пустые рюмки и поморщиться, как в двери застучали. Шиловский понюхал луковицу и остановил Гирина: «Сиди, сиди, я открою». Он встал и, жуя на ходу, подошел к двери. Открыл и на секунду оцепенел. Николай Иванович растерялся еще больше и тоже остолбенел.

— Хм, хм... Заходи... Заходите, пожалуйста, не стесняйтесь,— сказал наконец Шиловский.— Милости просим.

Первым движением попа было движение, изготавливающее его к побегу, но Петька Гирин, выскочив из-за стола, молниеносно втолкнул его в комнату. Николая Ивановича начали раздевать, усаживать за стол, он озирался и растерянно бормотал:

— Ох, товарищи... Это... ох, отпустили бы лучше...

— Куда ты девался-то? Ой, Николай Иванович...— радовался больше всех Данило.

— Милости просим, милости просим,— суетилась Лаврентьевна, а Петька шумно знакомил Николая Ивановича с Гусевым, потом с Шиловским:

— А это вот Шиловский Арсентий. Арсеня, вот Николай-то Иванович!

Николай Иванович опасливо, с заминкой подал Шиловскому руку. Шиловский, глядя мимо уха, крепко пожал поповскую ручищу.

— Очень, очень приятно, меня звать Арсентий. А это наша мамаша.

Со всеми перезнакомившись, Николай Иванович покосился на дверь. Получилась снова заминка. Николай Иванович вздохнул и вдруг громко спросил у Шиловского:

— В холостом виде изволите пребывать или в женатом?

— Оба! Оба холостяки! — обрадовался Шиловский.— Мать! Надо бы еще рюмочку!

Задвигались стулья, все начали шумно рассаживаться по-новому. Николай Иванович дрожащей рукой взял налитую Шиловским рюмку:

— Ежели так... С приятным свиданьицем...

Ни с кем не чокнувшись, поп выплеснул рюмку в провал рта.

— Ну, батюшка! — Вагранщик Гусев с восторгом оглядывал Николая Ивановича.— Вас бы к нам в разливальщики! Только ежели бороду сбреешь, а то у нас дело с огнем, опалить недолго.

Шиловский вновь наполнил рюмку попа. Данило, отказавшись от второй, вприкуску пил чай и беседовал с Лаврентьевной. Петьке не терпелось взять гармонь. После третьей рюмки в квартире Шиловского загудело от разговоров, вскоре зазвучали знаменитые «Кирпичики», после них не менее знаменитые «Проводы»...

Николай Иванович охмелел и уже дважды обнимал Гусева и Шиловского. Петька играл, и все, кроме Данила, дружно пели:

Что с попом, что с кулаком
Вся беседа,—
В брюхо толстое штыком
Мироеда.

Очень длинная была эта песня! Когда наконец спели ее, Николай Иванович хлопнул Данила по плечу:

— Не тужи, Данило Семенович, будем и дома! Сподобимся!

— Вишь, Николай Иванович, Пашка-то... Сговор был, и тебе и мне домой надо.

— И Пашку женим, все сделаем! А мне своего голосу в Москве все одно не найти! Дак хоть погуляем в ней, в Белокаменной-то!

Данило только скреб ногтем клеенку да качал головой.

— Еще, Николай Иванович, по рюмочке! — угощал Шиловский попа.

— Душевно благодарен, Арсентий Назарович, душевно и вселюбезнейше. А позвольте спросить...

Но тут Петька заиграл «барыню». Николай Иванович забыл про все, притопнул и, не замечая восторга слушателей, спел свою постоянную частушку:

Ой, с маленькой пестерочкой
Ходили по грибы!
Сосмешалися дороженькой,
Попали не туды!

...На второй день снова притихшие гости наотрез отказались опохмеливаться и даже от чаю, заторопились домой, Шиловский и Гирин проводили их до Каланчевки. Петька помог достать билет.

Посадка задерживалась. Попа и Данила пустили на перрон только с третьей попытки. Но на перроне народу было немного, посадка закончилась быстро. Паровоз, простуженно чихая, сделал короткую напористую пробуксовку, вагоны пошли. Данило с попом облегченно вздохнули. Правда, им предстояла еще пересадка. Где-то в середине пути поезд сворачивал на Свердловск.

В понедельник утром Петька Гирин, по прозвищу Штырь, проснулся от легкой, забытой на время тревоги. Он опять почувствовал себя Петром Николаевичем — одним из курьеров канцелярии ЦИКа. Портфель с бумагами ждал его в нижнем ящике горки. Гирин позавтракал, закрыл квартиру и положил ключ на дверной косяк. Шиловский работал в дневную смену и ушел раньше. Лаврентьевна со своим ключом с утра уходила по магазинам и на базар.

У Гирина болела душа. Бумаги, которые надо было еще в субботу передать в ОБЖ, лежали в портфеле, а секретарь обязательно проверит дату и роспись в получении

пакета. Петька вздохнул, передвинул кобуру с наганом на бедро и, не застегивая полупальто, выскочил из коридора. Было девять часов без четверти, а ОБЖ открывалось только в десять.

«Семь бед, один ответ,— подумал Гирин.— Авось и выкручусь».

Москва принималась за дело с новыми силами. Выспавшиеся с воскресенья служащие торопились по своим учреждениям. Трамваи быстро опорожнялись на остановках и, облегченные, гремели дальше. Рыжие битюги невозмутимо топали вослед, качая многопудовыми головами. Автобусы и шумные такси тоже обгоняли более юркие «фордики»: битюги привыкли и не обращали на них никакого внимания.

Мальчишки — продавцы газет — бежали навстречу прохожим, выкатывались на тротуары модно одетые лоточницы, раскладывали на лотках папиросы и шоколад. Запоздалый собиратель окурков, небритый ночлежник ермаковского дома, торопился с глаз долой от чистой публики. Тетка в коричневом сарафане и в саке старательно наклеивала на тумбу афишу акционерного общества «Инозит». Дамочка в каплевидной, по самые глаза шляпке еле успевала за своим долгоногим, обутым в краги спутником.

Гирин изловил себя на том, что разглядывает похожие на бутылки дамские ноги. Он пропустил трамвай и оттого развеселился. Семь бед, один ответ.

Гирин проехал три остановки, выпил у какого-то нэпмана свежего, но отдающего содой пива, затем сел на другой трамвай и прошел два квартала пешком. Только после всего этого время вплотную придвинулось к десяти.

Двери то и дело открывались, человек пятнадцать разномастного люда уже образовали живую очередь на прием. Ничего не было хуже для Гирина, чем ждать. Догонять же, вопреки пословице, он любил больше всего. Он оглядел большую, пахнущую вокзалом комнату. На деревянном диване и на венских стульях сидели немногие жалобщики, остальные перемогали очередь стоя. Мужик в синих полосатых штанах и новых лаптях диктовал какому-то доброхоту свою жалобу, рабочий в тужурке читал газету. Старушка в белом нижнем платочке терпеливо сидела рядом. Какая-то миловидная то ли монашка, то ли богомолка отводила глаза от встречных взглядов, человек в пенсне

и новом бобриковом полупальто, покрякивая от нетерпения, хрустел суставами пальцев. Он делал это отчаянно, словно хотел совсем выдернуть или переломать свои дрожащие пальцы.

На дверях висела табличка: «Дежурный член ЦКК ВКП(б)» и объявление: «Прием жалоб в порядке живой очереди без всяких пропусков». Во время смены посетителей Гирин мельком взглянул в кабинет. Сегодня принимал член ЦКК Сольц. Петька заметил, как Сольц, кивая головой в такт словам жалобщика, усталым, отсутствующим глазом глядел куда-то в сторону и постукивал пальцами по заваленному бумагами столу. Около других дверей было не меньше народу. Гирин, не слушая возмущенных голосов, прошел туда со своим портфелем и поздоровался. Зам зав ОБЖ Пархоменко знал Гирина, он кивнул на стул. Но Гирин не стал садиться, и Пархоменко, взяв пакет, не глядя расписался в получении.

— Товарищ Пархоменко, забыли число поставить! — сказал, уходя, Гирин.

— Ладно, поставь сам.

Петька вернулся к столу, старательно поставил дату, попрощался и вышел. Контора по борьбе с бюрократией волокитьевной, как называл ОБЖ Пархоменко, осталась позади, и Гирин наконец прошел в приемную Калинина. Но и здесь посетителей было ничуть не меньше. Чухонос отправлял их обратно. Михаила Ивановича в приемной не было. Когда последний, самый упрямый мужичок в десятый раз подошел к Чухоносу, у того лопнуло терпение.

— Товарищ крестьянин! Русским языком говорю: Михаил Иванович не принимает. Нет его, понимаете, нет!

— Как это нет? — не унимался мужик.— Михайло Иванович должон быть, ты меня омманываешь.

Мужик, недоверчиво качая бородой, все же ушел, и Гирин подал Чухоносу расписку Пархоменко. Тот прочитал и вскинул на Петьку густые брови:

— Товарищ Гирин, в расписке стоит сегодняшнее число. Где были документы два последних дня?

— На квартире. В субботу не успел.

— Ах, на квартире... Придется нам, Петр Николаевич, подумать о вашей замене.

Гирин молчал. Как ни странно, ему было почему-то смешно. Чухонос, не глядя на Гирина, продолжал:

— Потеря пролетарской бдительности — это во-первых. Опоздание из отпуска — это во-вторых...

— В третьих — пива дернул две кружки! — Петька повернулся и пошел к дверям.

— Товарищ Гирин!

Петька, не оглянувшись, вышел. Он хорошо знал психологию Чухоноса. Такая гиринская уверенность сшибет с него всю решительность, он подумает, что Гирину будет поддержка со стороны Михаила Ивановича.

Однако на этот раз Петька ошибся. Чухонос действовал быстро и решительно. Уже к вечеру Гирину велено было сдать оружие коменданту и вернуться в распоряжение парткома завода...

...Петька приехал на завод уже без портфеля. Он спросил в проходной о Шиловском; тот, вместе с Гусевым, опять работал в ночь, сверхурочно.

— Привет рабочему классу! — заорал Гирин еще от ворот литейки.— Принимай пополнение, выписывай инструмент! Нет Малышева-то?

Мастера в цехе не было. Шиловский и Гусев подошли ближе.

— Чего это?

— Опять к вам, на старую должность. Временно, Арсеня, временно! — успокоил Петька недоумевающего Шиловского.— На укрепление низовки...

— Вот и хорошо,— сказал Гусев, закуривая.— А то, видишь, опоки давно плачут, хватит Гирину ходить в начальниках.

— Да я что? — обиделся Петька.— По своей воле, что ли, с завода уходил?

— По своей не по своей, а было дело.

— А было, да сплыло,— махнул рукой Петька.— Есть запасная спецовка?

Спецовки в цехе не оказалось, и Гирин, засучив рукава гимнастерки, схватил очередную опоку.

— Давай, Арсенька!

Шиловский все еще ничего не понимал или не верил.

— Штанов-то жалко,— заметил Гусев.— Да пушку-то, пушку-то сними!

Гирин снял ремень, бросил на пиджак и взялся за совковую лопату.

— Дело забывчиво, тело заплывчиво,— сказал он.— Вишь, едрит твою... руки-то. Еле и гнутся, как грабли стали. Ну да не беда, расходятся.

Он присел на корточки и начал толочить пестом в опоке влажную черную землю. Шиловский и Гусев все еще глядели на него.

— Ну? Чего выстали? Иди, Шиловский, подремли, я поформую маленько. А у тебя, Гусев, вагранка-то... Закрой ворота, а то убежит!

Гусев испугался, хотел бежать, но тут же сообразил, и все трое рассмеялись.

Вскоре Шиловский прилег на досках около неостывшей стержневой камеры. Гусев хлопотал около вагранки. Петька Гирин, по прозвищу Штырь, напевая про московский пожар, формовал тройники...

Часа через два он разбудил Шиловского и с наслаждением вытянулся на его месте. Чувствуя какое-то новое облегчение, вдыхая запах формовочной земли, он сразу заснул. Сквозь сон слышал Петька по-самоварному домовитый гул гусевской вагранки, различал голоса пришедших в ночную смену разливальщиков. Гремела над крышей цеха кран-балка. Петька не проснулся, но ясно почувствовал и тот момент, когда Гусев железным стержнем пробил летку. По желобу в ковш хлынула из вагранки тугая, огненно-золотая струя металла. Чугун падал в ковш с мягким густым гулом. Яркие искры разлетались от шлепающих на землю тяжелых, сразу остывающих огненных капель; гремел кран, перемещая в тот конец цеха многопудовый ковш с красной и тяжкой жижей. В тайных потемках земляных форм успокаивался и принимал новый образ покорный людям чугун, запахло сладковатым дурманом литейного газа. Над формами трепетали, горели его зеленые язычки. Искры с характерным шуршанием гасли вверху, они, словно черным горячим снегом, осыпали спящего Петьку.

IX

Шибаниха ждала свадебный поезд. Роговский задумчиво-тихий дом словно помолодел. Разметен и откидан снег у крыльца и въезда, ворота — настежь, у приступка охапка темно-зеленой хвои. Ступенька с прибитой на счастье

подковой вышаркана до яичной желтизны, пол в сенях тоже вымыт с дресвою и устлан половиками. От крыльца и от пола еще со вчерашнего веет свежестью вымерзающей влаги, с черемух напротив крыльца тихо опускаются звездочки инея. Только что кончилось красование.

Народ от дома схлынул на время. Вера вместе с девками поднялась через люк в верхнюю половину.

В розовой от косого зимнего солнца нижней половине сидел за столом принаряженный дед Никита. Он сквозь очки читал псалтырную книгу, но от волнения поминутно покрякивал. Иван Никитич принимался то за одно, то за другое, пока ему не велено было отступиться и сесть, чтобы не мешал. Аксинья и сватья Марья Миронова с ног сбились, готовясь к свадьбе. Иван Никитич, не зная куда деть беспокойные руки, сидел на лавке, старался успокоиться и просветленно поглядывал на жену.

Несмотря на сгорбленную от многолетней работы спину, Аксинья была еще статна, ядрена, и Ивану Никитичу припомнилась вдруг своя, давно забытая свадьба.

Тридцати лет пришел он с войны, пришел считай что к пустому месту. Пока ползал на брюхе по рыжим маньчжурским сопкам, дома свершилось несчастье: отец огорел. В поднебесье ушло только что срубленное гумно с необмолоченным урожаем.

За два года, как на войне, на карачках выползали в лесу две подсеки, на третий год спалили пеньки и заломы, посеяли ячменя. И ячмень вымахал высокий, усатый — колом не проткнешь золотую хлебную гущу... До столыпинских отрубов успели срубить гумно и погреб, даже по ночам, скрипя зубом, махал топором. И только после этого Аксиньин отец начал здороваться при встречах. Суров был старик, не во грех будь помянут! Рогов обвенчался с Аксиньей, жил с ней согласно, дружно и все ждал сына — подмогу в работе, заступника в старости. Но первой родилась дочь Верушка...

Иван Никитич почуял, как в сердце опять знобящей тревогой шевельнулось глухое предчувствие горя. Это уже не первый, а второй раз. Помнится, после сговора решили морозить в избе тараканов. Иван Никитич переправил семью к Евграфу Миронову, и Верушка вместе с Палашкой в последний раз гляделись в зеркало; прибрала в избе. Девки насыпали в бадью толокна, начерпали из кадки

блюдо рыжиков, прихватили прялки с куделями — и за порог, с отцовских глаз долой.

«Хы! Стой, редкозубые! Стой, вам говорят»,— окликнул Иван Никитич. Девки глуповато прыснули в рукава.— «Я вам пофорскаю, вот! Хоть бы перекрестились. Навыкли трясти титьками, рады из дому вон».— «Да ведь мы, тятя, придем еще,— засмеялась высокая, в мать статная Вера.— «Ладно, ступайте уж». Иван Никитич еле спрятал в бороде добрую отцовскую улыбку, не годится баловать дочку, хоть и любимую.

Помнится, девки убежали, а он еще долго ходил по избе. Ему было жутко распахивать двери, пускать в избу густой январский мороз. Открыл подполье, поглядел, надежно ли укрыты картошка и брюква, уже обметанная зелеными росточками. Подошел к печи. Большая, беленная раствором золы, сбитая много годов тому назад, печь эта не остывала еще ни разу. Она кормила и поила дочь Верушку и ее брата, надежно лечила немочи деда Никиты. Безропотно сушила обутку, зерно, лучину... Тогда Рогов с такой же, как сегодня, тревогой открыл вьюшки и выставил заслонку. Тараканов было густо, особенно около кожуха и полатей, в щелях тесаного потолка и у трубы. Они водили усами, ничего не зная о своей предстоящей беде. «Что, рыжие? — вслух весело сказал Иван Никитич.— Вот вы у меня кряду запляшете»,— и распахнул широкую дверь в сени. По полу белым густым валом покатился холод. Жилой дух, сдобренный запахом печеного хлеба, запахом кожаной упряжи, сухой лучины и пареной брюквы, быстро исчезал, уступая место чему-то бесцветному и морозно-безжизненному. Тогда у Ивана Никитича стало неловко и пусто на душе — это он хорошо запомнил. Но, увидев, как притихли скопища ошарашенных тараканов, он снова почему-то развеселился: «Вот эдак вас, рыжих, эдак. Всех до единого, всех под корень!»

Вышел из избы, закрыл на замок ворота в сени. Скрипя серыми валенками, пошел к Евграфу. Но не утерпел, оглянулся. Над трубой чуть заметно дрожало покидающее избу тепло.

...Девки, подружки Верушки, опять скопились внизу, они бегали от окна к окну, переговариваясь шепотком. Охали, радостно-перепуганные и праздничные. Палашка Миронова вдруг в радостном ужасе всплеснула руками:

— Ой, девоньки, едут ведь!

Все девки и Аксинья со сватьей Марьей метнулись к окошкам. Туда же, стараясь быть степеннее, подошел и Никита:

— Ну, ну, полубелые, дайте и мне!

— На трех лошадях, мамоньки!

— Чего делать-то, Оксиньюшка? Овес-то у нас да и симячко не насыпано!

— Беги, сватья, беги скорее, ради Христа!

Сватья Марья, подхватив подол черного своего сарафана, по-коровьи, неловко побежала в сенник за овсом и льняным семенем. Девки, накрывая на стол, еще быстрее заметались по избе. Аксинья торопливо снимала с божницы икону.

Иван Никитич дрожащими руками одернул жилетку, надетую поверх красной, белым крестом вышитой рубахи, виновато взглянул в зеркало. И, сдерживая волнение, повел седеющей бородой:

— Ты, Оксинья, значит, это...

Аксинья на секунду ткнулась головой в его плечо, заплакала, но также быстро осушила глаза. Она сунула ему в руки иконку и исчезла. Он, не зная что делать, положил образок, взял с полицы широкую кованую ендову, вытащил из насадки обрубок веретена и нацедил сусла. Сусло было темное, с желтоватой душистой пеной. Иван Никитич приготовил два блюда и заперетаптывался:

— Самовар-то сейчас или погодить?

— Погодить! Ой, погодить...— Аксинья и сама растерялась.

Поезд о трех корешковых и одних деревянных санках ехал уже через мост, кони шли усталою рысью. У околицы сидевший в передних санках дружко махнул кнутом, негромко и часто запели по улице медные бубенцы. Вороная кобыла, колесом гривастая шея, вынесла санки с женихом на середину Шибанихи. Сажени на три вослед, вся в лентах, шибко шла чалая, запряженная в деревянные, расписанные вазонами сани. В санях, в куче гостей играл на гармони привозной из жениховой родни гармонист. С бубенцами, с лентами в конских гривах вымахали в деревню еще две упряжки, правда, вожжи у них были уже не ременные, а веревочные. И это тоже не ускользнуло от востроглазых шибановских баб.

— Ой, ой, вожжи-то, бабоньки!

— Да и сани, кажись нешиненые, у этих-то!

— А дружко-то кто?
— Вроде бы Микуленок.
— Это с каких бы рыжиков?
— Он, вот те Христос, он!

Дружком действительно был Микуленок. Он на полном ходу вывернул кобылу к дому невесты, народ с шумом шарахнулся в снег, но девки тут же окружили упряжку, запели:

Вьюн на воде извивается,
Павел у ворот убивается,
Просит свое, просит суженое,
Свое ряженое, запорученное,
Запорученное-запросватанное.

Микуленок в дубленом полушубке, с белоснежным платом через плечо спрыгнул на снег, хлопнул о колено шапкой с бархатным, табачного цвета верхом. Раздвигая девичий заслон, махнул на крыльцо и в избу, чтобы известить о приезде жениха-князя. Но Иван Никитич уже выходил на крыльцо с блюдом сусла в руках. Он отыскал глазами Данила, сошел с крылечка к нему, подал блюдо и поклонился в четверть земного поклона:

— Данилу Семеновичу... Покорно прошу в дом заходить.

Данило сделал три глотка, сказал «спасибо», передал блюдо другой родне и ступил на крыльцо. Его чуть кривые, в серых валенках ноги, избавляясь от несуществующего снега, проворно поколотили друг о дружку. Прошли в дом тысяцкий Евграф Миронов, гармонист Акимко Дымов и другие приезжие. Марья с неспешным поклоном подала жениху белый, с красным тканьем плат-полотенце. Иван Никитич тоже поклонился Пашке, и оба только теперь направились в избу. Девки, не останавливая песни, сомкнулись за ними, хлынули следом и сгрудились в сенях. По обычаю, поезжане встали у дверей под полатями. Все смолкли. Короткая, печально-отрадная тишина установилась в избе, многие женщины завытирали глаза. Вдруг Палашка Миронова, изменив голос, грустно, но смело нарушила тишину началом причета, и девки одна за другой начали пристраиваться к ней:

Не сама ясна светлица
На пяту растворилася,
Не верба в избу клонится,
Не шелковый клуб катится,

Клонится-поклоняется
Дворянин да отецкий сын
Павел да свет Данилович.

Дружко нетерпеливо кивал Палашке, чтобы причитала скорее. Марья Миронова из кути знаками показывала жениху, что пора приносить челобитье. Но девки, вместе с невестой, начав причитать как бы шутя, распричитались теперь взаправду, у многих катились по щекам слезы:

Попритихните на море
Все гуси и лебеди,
Призамолкните в тереме
Все и гости, и гостейки,
Все подружки-голубушки...

У Веры вдруг чем-то горьким сдавило горло, и она расплакалась по-настоящему. Надо было принимать челобитье. Пашка подошел к ней и подал в руки небольшой кованый сундучок с подарками, поклонился. Микуленок принял от Аксиньи пироги и начал раздавать девкам. Вера, сдержав слезы, поднесла жениху полотенце, а Иван Никитич рюмку вина, но Пашка по обычаю отказался. Тогда Иван Никитич окинул зятя долгим, никому не понятным взглядом, произнес тихо:

— Добро да радостно тебе под венец встать!

Все заусаживались за стол. Подвыпивший заранее Микуленок ходил по избе, притопывал, угощал пирогами девок и ребятишек, приговаривал: «Маленькие робятки, косые заплатки, костыжные воры, репные обжоры, красные девицы, пирожные мастерицы, криношные блудницы, горшечные погубницы, вам бы только и знать, как у матки яичко своровать да ребятам отдать, примите от нашего князя краянова!» Девки остановили песни. Жуя пирог, они тыкали Микуленка под бока и дергали за полы, ребятишки, получив по гостинцу, выпростали избу.

Вера присела на лавку к Пашке. Иван Никитич взял ее холодную руку, подал жениху. Аксинья, в слезах, благословила молодых и трижды обнесла их иконой. Вера, оглядывая застолье, остановила глаза на дедке Никите: он сидел в сатиновой полосатой рубашке рядом с Сережкой, почти такой же маленький, как и внук, сидел, опустив сивую, расчесанную на пробор головенку. Вере вдруг стало нестерпимо жалко всего на свете: и деда, и Сережку,

и своего исчезающего девичества. Она сглотнула слезный комок, запричитала:

Государь ты мой батюшка,
Уж ты красное солнышко,
Тебе нашто да спонадобилась
Моя рученька правая?
На ней не письма написаны,
Не узоры нашиваны...

Она встала и поклонилась на все стороны, родня окружила ее, начала обнимать, и Аксинья, шепча молитву, закрыла ее платком. Все присели на лавки, потом разом встали, чтобы ехать к церкви, поп Рыжко ждать не любил, да и весь зимний день долог ли?

Вдруг на середину избы выскочил, тоже подвыпивший, Акиндин Судейкин, он хлопнул себя по тощим ляжкам:

— Стой, робяты, старые, молодые, женатые, холостые, усачи, бородачи, подвить нога, подтянуть бока, по улочке пройти, прогаркать-просвистать — того можно добрым молодцем назвать!

— Сиди, Киня, вишь выскочил! — послышался голос Кеши Фотиева.

— Стой, не мешай,— верещал Судейкин.— Ах, князь, молодой, тысяцкой, второй барин и сват со свахой, дружко с поддружьем, чашники, наливальнички, ухабнички, сберегальнички, позвольте подступиться, пониже поклониться, поздороваться!

— Давай!

— Я вас пришел поглядеть, сам себя показать, здравствуйте, господа-сенаторы, из какой вы конторы? Я из нижней, межевой, я человек не швецкой, не турецкой, а тот же совецкой, Вологодской губернии, деревни Шибанихи Акиндин Судейкин. Парень неплох, у меня полна пазуха блох, клопов около поясницы, как брусницы, случилось мне в ольховском конце погулять на крыльце, сказанул лишние словеса, выволокли за волоса! Пал под лисницу, принесли мне девки яишницу, хлебал, торопился, чуть не подавился. Ах, Саши да Маши, девушки наши, головки гладки, аленьки фатки, знают оне наши молодецкие ухватки. Есть еще у нас в полку шесть баб голож... не смеют на свадьбу прийти. Мы по свадебкам гуляем, денежки собираем, берестяны заплаты покупаем...

— Стой, Судейкин, остановись!

— Не остановлюсь! Мы на ваши денежки станем заплатки покупать, баб на свадьбу пушшать, ежели не верите, поглядите в куть, все бабы тут, пожалуйте за труд, за работу, на куделю, на шерсть рубликов шесть!

Пашка, улыбаясь, вынул бумажник, откупился под общий смех. Все двинулись из избы. Девки запели:

Со берегу, со берегу
Самокаты катят,
Со терема, со терема
Красну девицу ведут.
Скобы брячат, башмаки говорят,
Просят коня,
Коня батюшкова.
Батюшков конь,
Не ступись, пе везись,
Не вези молоду
На чужу сторону...

Вера никуда не уезжала из отцовского дома, она возвращалась после венчания домой. Но ее чуть ли не на руках вынесли из избы.

X

Церковь стояла холодной с самого рождества, и сегодня от протопленных печей тянуло смородом. Отец Николай зашел в алтарь, припас для венчания вино и свечи, достал из сундука давно не чищенный венец. Расправляя епитрахиль, побывавшую в трубе Савватея Климова, он мысленно обругал прохвостом Киню Судейкина. Ст епитрахили все еще пахло печным дымом, пятна от сажи так и не отстали. Николай Иванович поглядел в щель между царских врат: храм понемногу наполнялся народом. Первыми пришли Носопырь и дедко Петрушка Клюшин, ихние лысины белели у правого клироса. Слева стояла старуха Таня, она поминутно крестилась на иконостас. Ребятишки то и дело колобродились с паперти и обратно, выпускали и без того небогатое печное тепло. Одна за другой заходили бабы, потом появились и мужики, вот наконец объявились и девки. Их пестрая стая раскидалась по храму красными, белыми и розовыми пятнами платков, сарафанов, косынок. Отец Николай приободрился, он не ожидал, что так много будет народу. С минуты на минуту могли подъехать новобрачные, и Николай Иванович надел холодный подризник, епитрахиль, покашлял и тихонько попробовал голос. Ана-

лой с Евангелием и крестом стоял посреди церкви еще со вчерашнего дня.

Все было готово к венчанию. Вдруг отец Николай оглянулся: прямо в алтарь вошел Игнаха Сопронов. Глядя на Игнаху, Николай Иванович сначала растерялся, после изумился, и наконец лицо его налилось бордовым цветом. Все было точь-в-точь как недавно в Москве. От возмущения отец Николай забыл все слова и глядел на Сопронова. Сопронов же, не глядя на попа, спокойно прошелся по алтарю, оглядел престол. Пальцем, коричневым от табаку, пощелкал по дароносице. Отец Николай с минуту наблюдал за Сопроновым, потом шагнул к нему.

— Прошу выйти вон! — внятно и тихо сказал поп.

Игнаха оглянулся, прищурившись.

— Вон! Ну? — уже громче и еле сдерживаясь, повторил отец Николай, но Сопронов лишь отступил за церковный сундук.

— Ты меня не запряг! Не пукай. А вот подобру мы с тобой поговорим.

— По какому добру? — Отец Николай собрал в кулак все свое терпенье, чтобы не вышибить гостя коленом под зад.— По какому добру? Нам с вами не о чем говорить, Игнатий, э-э...

— Павлович.

— Вам тут нечего делать!

— Вот что, Перовский,— Игнаха сел одной ягодицей на сундук.— У тебя разрешенье есть? По закону ты не имеешь права венчать.

— Это... это по какому закону?

— А по такому, какому надо.

— Я таких законов не знал и знать не хочу и прошу вас выйти вон!

— Ладно! Поговорим в другой раз, а отсюда...— Игнаха сел на сундук обеими ягодицами,— я не уйду! Делай свое дело, а я свое. Буду проводить собранье граждан...

Отец Николай, унимая дрожь во всем теле, взял венец, свечи. Он чуть не разлил чашу с вином, ногой распахнул врата, вышел на сулею. В церкви было битком народу. Жених с невестой стояли у аналоя, за ними толпились поезжане и вся родня. По церкви до самой паперти замирающей волной прошел шум, и люди затихли. Николай Иванович дрожащей рукой зажег свечи, сунул их новобрачным, подал венец маленькому брату невесты. Сережка в одной рубаш-

ке, подпоясанный пояском, замерзший, хлюпая носом, встал за молодыми. Молитва у отца Николая не ладилась, он дважды сбивался. Колец у молодых не было. Поочередно спросив у молодых, согласны ли они вступить в брак, отец Николай опять начал читать молитву, затем взял у Сережки венец.

— Обручается раб божий Павел рабе божией Вере! — Голос отца Николая окреп, и густой его гул эхом отозвался под сводами храма. Все сдвинулись вперед, жених враз распрямился, и отец Николай осенил венцом его кудрявую голову.

— Обручается раба божия Вера рабу божию Павлу! — еще медленнее и еще торжественнее произнес отец Николай и коснулся венцом волос невесты. Чаша с вином уже не дрожала в его руках, он подал ее жениху поспешно и твердо. Пашка коснулся губами вина, Вера тоже, и отец Николай соединил их правые руки. Трижды обвел вокруг аналоя. Старухи и бабы положили по нескольку поклонов, старики и многие мужчины перекрестились, обряд кончился. Павел, держа Веру под руку, уже хотел вести ее из церкви, когда в царских вратах появился Игнаха. Подняв руку, он встал посреди сулеи:

— Товарищи, одну минуту! Прошу задержаться.

Голос у Игнахи сорвался, народ от изумления не знал что делать. Кое-кто из подростков хихикнул, кто-то из девок заойкал, бабы зашептались, иные старики забыли закрыть рот.

— Проведем, товарищи, шибановское собранье граждан! Я как посланный уисполкома...

— Дьяволом ты послан, а не исполкомом! — громко сказал Евграф.

— Господи, до чего дожили...

— Чего на него глядеть? Выставить!

— Истинно!

— Да шут с ним, пускай говорит!

— Жалко, что ли?

— Нет, не пусть! — Евграф бросился было вперед, но Павел за рукав остановил дядюшку:

— Погоди, божатко...

Оставив жену, Павел крепко схватил Евграфа за локоть, скрипнул зубами. Вера повисла между ними, порывистым шепотом успокаивала мужа, звала домой. Тесть, теща, дед Никита, отец жениха и вся родня уже покидали

церковь. Сопронов торопливо, все более смелея, выкрикивал:

— Товарищи, значит, так! Вопросы у нас на повестке такие. Во-первых, по займу для восстановления крестьян и по налогу, а во-вторых, зачитка обращения. Начну, товарищи, со второго вопроса, зачитаю обращение...

Сопронов из внутреннего кармана бумажного пиджачишка вынул газету «Красный Север» и развернул ее.

— Газета, товарищи, от двадцать семого января тыща девятьсот двадцать восьмого года. «Поможем китайским революционерам!»

— Кому, кому? — спросил из толпы Киня Судейкин.

— Так называется обращенье, товарищи. Зачитываю доподлинно.

В церкви поднялся шум, старухи и старики направились к выходу. Павел все еще стоял с женой у паперти. Словно сквозь густой вязкий туман доходил до него весь смысл, вся обида происходящего. Эта обида тяжким горячим комом нарастала в горле, и сейчас он еле удерживался, чтобы не броситься на Сопронова. Павел крепко сжимал челюсти и чувствовал, как его охватывает безрассудная ярость. Он взглянул на махающего газетой Игнаху. Ворот ситцевой сопроновской рубахи выехал из-под пиджака, непричесанные волосы смешно и жалко торчали из-за ушей. Пашке вдруг стало жалко Сопронова, и вслед за родней он вышел из церкви. Сопроновский голос звонко раздавался под сводами:

— Крик о помощи из Китая должен не только быть услышан но и найти сочувствующие сердца. Нет, он должен найти также дающую руку. Дорогие братья и сестры, окажите братскую помощь рабочему классу и крестьянству Китая! Мы уверены, что ваша помощь Китаю окажется достойной ваших великих традиций международной солидарности. Товарищи, обращение подписал пред. исполкома МОПРа...

Три широких низких стола, покрытые клеенкой, стояли вдоль передней лавки и два — вдоль боковой, гости заполнили всю роговскую избу. Даже в кути негде было повернуться. Никто не хотел садиться, все ждали сверху молодых. Пашка, в черной паре с бантом, в косоворотой зеленой ластиковой рубашке, держа Веру под ручку, сошел вниз, когда дружко забавлял девок, а старики нюхали та-

бачок, стоя у дверей под полатями. Вера, придерживая за концы кремовый кашемировый платок, в бордовом шерстяном сарафане, в высоких, со множеством круглых пуговок полусапожках, прошла за стол чуть впереди мужа. Разрумяненная своей стыдливой смелостью, она была хороша, под стать высокому широкоплечему Павлу, и все откровенно залюбовались ими. Но Иван Никитич торопил гостей садиться за стол. Мужики рассаживались отдельно от баб, которые долго уверялись, наконец все были усажены, и Иван Никитич разлил по стаканам две ендовы сусла. Все выпили, похвалили сусло. Аксинья, которой помогала Палашка с матерью, на каждый стол поставила по большому блюду бараньих щей. Иван Никитич прямо из четверти налил всем по рюмке вина.

— Ну, дак... любезный сват, сватьюшка... Значит, это... Поздравим деток. Павел Данилович, Верушка... Вера Ивановна...— Иван Никитич прослезился, рюмка в его узловатой руке задрожала, он чокнулся с зятем и дочкой.— С законным браком! Совет да любовь...

Все гости разом заговорили, потянулись чокаться, молодые встали. К ним подходили по очереди, поздравляли:

— С законным вас, Павло Данилович, Вера Ивановна!

— Дай бог согласья.

— Век, говорят, прожить — не поле перейти.

— С богом!

Все выпили и принялись за щи, лишь молодым положено было сидеть так. Аксинья уже разносила по столам белые пироги: рыбники и посыпушки, с яйцами и с рыжиками, Иван Никитич налил по второй рюмке, а по стаканам — бурого пенистого пива. Рюмки молодых стояли нетронутые, но по обычаю пиво молодым было разрешено, и поэтому дружко остановил хлебню:

— Иван Никитич, чего-то не пристаю на одну ногу, а какая пляска хромому-то?

— Истинно, Николай Николаевич, надо и на другую ногу! — Иван Никитич расправил бороду... Румянец от выпитой рюмки заметно проступил на его лице, глаза прояснились. Но в эту самую минуту зять проговорил что-то ему на ухо. Иван Никитич согласно закивал Павлу и вышел из-за стола. Он надел полушубок, и все сразу догадались, куда он пошел. Отец Николай, сидевший рядом с Никитой и дедком Клюшиным, сначала исподлобья, недобро, поглядел в спину хозяину. Он один, не дожидаясь

других, вылил прямо в горло содержимое рюмки, но все сделали вид, что не заметили этого.

Разговоры уже зачинались то тут, то там, по застольям.

— Это какая мопра-то? — громко спрашивал у Евграфа Савватей Климов.— У меня вон налогу половина не выплачено да на заем подписался на десятку. А тут еще и мопру требуют.

— Не требуют, а добровольное дело.

— Ну, и ладно, ежели добровольное.

— Кабы деньги-то были...

— Истинно. Ну тебя-то, Евграф, надо бы и мопре тряхнуть, у тебя деньги есть.

— Это какие у Евграфа деньги?

— Есть, есть у тебя денежки,— не унимался Савватей.

— Нет, а ты, Савва, скажи...

Иван Нечаев, в гимнастерке с ремнем, хлопал по плечу ольховского гармониста, уговаривал сыграть, но тот упирался, отговаривался тем, что время еще не пришло. Отец Николай гудел в ухо деду Никите, какая у него была кобыла до германской войны. Степан Клюшин слушал Данила, который рассказывал про ольховскую маслоартель и про поездку в Москву, а дружко уже не один раз успел переглянуться с Палашкой.

Изба с гостями мерно гудела от всех этих разговоров, когда на пороге появился растрепанный Иван Никитич. Все зашумели еще больше.

— Больно и горд!

— А Христос с им, ежели брезгуют.

— Наплевать, дако.

Иван Никитич сел, долил отцу Николаю. Аксинья, Палашка и Марья добавили на столы пирогов и студня. Данило вдруг прекратил с Клюшиным разговор про Москву и обратился к Аксинье:

— Сватья, а сватьюшка? — кричал он через стол, стараясь пересилить говор и шум.— Чуешь, чего говорю-то, вино-то горькое...

— А?

— Винцо-то, говорю, горькое, нет мочи и глотнуть!

— Да и у меня-то, сват, горесть одна! — по-молодому, бойко отозвалась Аксинья и взяла рюмку.

— Горько, ей-богу, горько! — поддержал их Савватей, а за ними заговорили все. Павел ласково сверху вниз взглянул на Веру. Она, зардевшись, ответила ему согласным

взглядом. Держа стаканы с пивом, они встали. Павел осторожно, одной рукой, притянул к себе покатые плечи жены, пригнулся, легонько коснулся ртом горячих губ Веры. Они выпили пиво и сели, изба зашумела, все смотрели теперь на них не сводя глаз. Аксинья заутирала глаза концом платка. Иван Никитич тоже замигал, но говор и шум поглотили, растворили в себе их слезы... Вдруг чистый, ровный, но негромкий и тоскливо-радостный голос вырвался из общего шума, отделился от всех звуков и поплыл над всеми, всех обволакивая и зовя к себе. Никто не заметил, как пришла бабка Таня. Аксинья усадила ее на краешек крайнего застолья, подала пива, и теперь Таня вдруг запела, запела нечаянно для самой себя. Она безукоризненно ровно вывела длинное место с переходом на низкий голос, оборвала его так же ровно и, сделав передышку, запела повтор, еще лучше и чище:

Эдакой ты, Ваня, Ваня,
Разудалая головушка твоя...

Евграф первый пристроился к ней своим негромким, приятным рокотистым баском, за ним, на третьем голосе, тоненько и печально включилась мать жениха Катерина, и вот, словно огнем, песня охватила все четыре стола, раздвинулась, поплыла куда-то сквозь стены и потолки. Еще не кончилась, не пошла на убыль песня, как сказалась в чьих-то руках гармонь, заотодвигались скамейки, люди завставали. Но пляска пока сдерживалась оттого, что люди все заходили и заходили, вставали у дверей, у печи, и каждому пришедшему Иван Никитич подавал по ковшику пива. Палашка Миронова, стоя посреди пола, нетерпеливо одергивала новомодную юбку, дружко Микуленок теперь с серьезным лицом ждал момента, девки и бабы выходили на круг. Гармонь заиграла нечасто и нежно...

XI

Павел проснулся задолго до рассвета от широкой свой радости, которая пересилила и мигом растопила глубокий сон. Был третий день после свадьбы. Внизу, стараясь не будить молодых, обряжалась Аксинья, творила блины и мяла на сочни ржаной мякиш. Свет от лампы и растопленной печи проникал через лестничный люк наверх, переливался на тесаном потолке. Спокойно и глубоко дышала

в плечо Верушка. Павел хотел встать не будя жену и, сдерживая жажду движений, тихо выпростался из-под одеяла. Но Верушка проснулась, по-детски потянулась к нему:

— Куда ты, Пашенька?

— За сеном уговаривались.— Павел сел на кровать.

— Погоди...— Она прижалась к его бедру теплой большой грудью.— Темно еще, да и печь только затоплена. Ой, правда ли, Паша, не сон ли снится? Душа у меня будто в раю, а все не верится, что ты тут. Тут ведь ты?

— Тут, тут.— Павел, улыбаясь в темноту, снова укрылся одеялом.— Никуда уж теперь, навек...

Словно жалея молодых, остановилась в окнах еле занявшаяся синева. В подпечке нижней избы весело и нечасто пел петушок, переливались на потолке отблески света.

Они сошли вниз, когда Аксинья уже накормила блинами деда и Ивана Никитича. Сережка еще спал. Иван Никитич пошел запрягать Карька, дед Никита отправился в поле глядеть клепцы, настороженные на зайцев.

Аксинья подкинула в печь, поставила в кути на скатерку судки с рыжиками, с топленым маслом и с пареной, залитой суслом брусникой. Молодые плескались за печью у рукомойника студеной водой.

— Ну-ко, благословясь, ешьте,— позвала Аксинья.— Как маленькие, ей-богу. Неужто и мы экие были?

Она почерпнула поварешкой овсяный блинный раствор и вылила в накаленную сковородку. Сковордка зашипела, блин наполовину испекся. Аксинья кинула сковороду в золотое полыханье огня, блин вздулся большим пузырем и в тот же миг лежал на скатерке.

— Садись, Павло, садись! — Аксинья кидала уже второй блин, третий, только мелькал сковородник и верещала подмазка.

— Это Ондрюшонка, бывала, теща блинами кормила,— рассказывала Аксинья.— Растворила-то много, самую большую корчагу. Ондрюшонок сидит да уминает, а она испекет блин да и ждет, не наелся ли зятюшко. Ну, думает, этот испеку, да, однако, и встанет из-за стола. Пекла, пекла, а Ондрюшонок никак не встает, ест да прихваливает. Теща-то вся в расстройство ударилась, блины-то кончаются, осталось на донышке, он ест да ест. Только за ушами пищит. Вот и остатний блинок, убогонький, кинула да

и говорит: «Ровно бы и не пекла!» А он съел блинок-от да и говорит: «А ровно бы и не ел!»

Пашка хохотал за столом, не успевал есть все копившиеся тещины блины. Аксинья проворно металась от шестка к столу.

— Ну, уж у меня-то корчага будет побольше, ешь на здоровье.

— Это не тот ли Ондрюшонок, что мельницу строил? — спросил Пашка.

— Тот, как не тот, он и есть.

— Чего ж он не достроил-то?

— А бог знает. Говаривали люди, что на проклятое место попал, на чертово лежбище. Все сделано было, а жернова не могли поднять, да и только.

Пашка усмехнулся. Он поставил на стол вскипевший самовар. Счастливая, вся какая-то новая Вера выставила чашки, заварила чай и начала печь блины для матери. И не понять было, то ли печной жар нарумянил ее белые щеки, то ли первая, еще ничем не затуманенная бабья радость, радость любви и ровного покоя...

...Уже совсем рассвело, когда в тулупе и в валенках, с топором в вязе дровней Павел выехал со Степаном Клюшиным за сеном на дальние лесные гари. Клюшин ехал впереди, дорога для Павла была еще не знакома.

В розовом предвесеннем утре кое-где еще дымили в сквозное небо деревенские трубы, но уже пахло по Шибанихе испеченными караваями. Крепкая упряжь сидела на Карьке ловко, домовито, словно амуниция на бывалом солдате, дровни шли как по маслу, оставляя позади две зеркальные полосы.

Не успели миновать гумна, как из деревни рысью выехала еще одна подвода. По красной дуге Пашка сразу узнал дядю Евграфа. Миронов пел коротушки, а в перерывах крутил над головой вожжей. Кобыла дядюшки всхрапнула над самым Пашкиным ухом. Евграф перевел ее на шаг, успокоил и поздоровался:

— Здорово, брат Павло, здравствуй, Степан Петрович!

— Здорово, божат, чего проспал-то?

— Я-то что, мое дело пожилое. А вот тебе-то грех по ночам спать, незамолимый.

Пашка незаметно дернул за кончик Евграфовой супони. Гужи ослабли, дуга упала на седелку, и лошадь остановилась сама.

— Тпры, мать-перемать! — заругался Евграф.— Рассупонилось.

— Запрягать-то все еще не научен,— смеялся Павел.— Ох, божат, божат!

— Баба, вишь, запрягала-то. Засупонила худо, лягава экая. Али это ты подшутил? — Евграф через ногу стянул хомут. Замотал супонь, трижды продернул кончик.— Живет, добро!

Клюшин пустил лошадь одну и тоже пересел к Павлу на дровни. Все трое закурили. Носатый, с нависшими бровями и разной величины глазами Степан курил молча, Евграф рассказывал, как вчера собиралась у Палашки беседа. Селька, младший брат Игнахи Сопронова, пришел к девкам с какой-то книгой.

— Толстущая, толще Библии, называется капитальная,— объяснял Евграф.— Кладите, говорит, девки, свои прялки, проведем политграмоту. Тут Тонька-пигалица и спрашивает: «Что это ты, Селя, где эку взял?» А соплюн-то как на ее взвился: «Не Селя, а Селиверст Павлович!» Меня, говорит, и в Ольховице зовут по отчеству.

— Неужели так и сказал? — То ли от смеха, то ли от табаку Клюшин закашлялся.

— Ей-богу, все точь-в-точь, я на полатях лежал.

— Ну дак читал он девкам эту капитальную книгу?

— Читал. Читал, читал, а девки вот в прялки порскают. Вдруг Тонька как запоет: «Ягодиночка с портфелем не глядит, хоть лопни, поглядела я в портфель, а в портфеле сопли». Что тут у их поднялось, прямо беда. Я на девок с полатей прикрикнул, чтобы не скалились. Может, говорю, там и дело написано.

— Значит, Селиверст Павлович.

— Павлович.

Лес дремал предвесенней глубокой дремой. Наезженный зимник вился по мелким яружкам, уходил все дальше, сгибая невысокие сосняки. Тихо. Только кое-где стучали дятлы. Поскрипывала кожа упряжи, да иногда деловито фырчали кони.

Евграф рассказал племяннику, как найти роговское стожье, и пересел на свои дровни. Еще раньше свернул на свои полянки Степан Клюшин.

Павел быстро нашел стога. Мерин в целок, уверенно шел по глубокому снегу. Обминая дорогу, Павел дважды объехал вокруг крайнего от леса стога, бросил коню сена

и обил снег. С ласковой нежностью Павел подумал о том, что стог метала, наверное, Верушка. Он снял вилами обвершье, и в лесу, в тишине, на снежной полянке пахнуло зеленым, забытым. Словно добрый поклон от невозвратного лета передал коню и человеку распечатанный стог.

Павел с наслаждением поднимал вилами широкие плоские пласты, кидал их на кресловины дровней. За все эти свадебные дни он стосковался по крепкой, выбивающей пот работе. Через час воз был сложен, затянут ужищем и причесан вилами. Павел прибрал оброненное вокруг сено и пошел в лес: теща наказала наломать сосновых лапок на помело.

Он выбрал подходящую сосенку, но оглянулся и враз позабыл про Аксиньин наказ. Саженях в ста от него зеленой горой высилась вековая сосна. Павел замер, словно боясь вспугнуть зеленое лесное видение, никогда не видел он такой великой сосны. Ветер обдул с дерева все до последней снежинки, каждая тяжелая лапа будто жила сама по себе, гордая своей отдельной красотой и независимая от других. Но как же едины, как дружны были эти широкие лапы на отдельных толстых оранжево-медных сучьях, спадающих от материнского, в три обхвата, ствола!

— Ух, матушка! — выдохнул Павел.— Вот где тебя нашел, привел бог...

Он знал, что это та самая сосна. Много лет она снилась ему по ночам: он видел ее много раз, то в июньском золотом солнечном дыме, то в голубоватом апрельском просторном воздухе над синим, никем не тронутым снегом. Сколько раз он искал ее во сне, подолгу, со сладкой мукой; сколько раз находил, а потом либо блудился и терял ее, либо просыпался. Всегда после такого сна он с неделю жил с этой тревожно-радостной мукой в душе.

Стараясь успокоиться, Павел подошел ближе. Обтоптал снег и смерил толщину кушаком, потом отошел и прикинул высоту. До верхних мутовок было верных шестьдесят топорищ, могучий ствол уходил высоко в небеса.

Павел, как пьяный, пошел к стогу. Мерин Карько добродушно хрупал сенцо, тишина везде была необъятная. Только далеко где-то, выезжая на дорогу, сморкался Евграф, да мерин хрупал зеленое сено, и в большом лошадином глазу мелькнуло тонкое зыбкое отражение человека и леса.

«Она, она, милая, она, матушка...» — думал Павел,

боясь оглянуться, а вдруг почудилось? Осмелился, оглянулся... Сосна стояла по-прежнему, не шевелясь ни одной иглой, будто заколдованная.

— Хгыть! — по-ушкуйному крикнул Павел и прыгнул на воз. Сразу напружинившийся Карько, словно вплавь, сильными прыжками по глубокому снегу легко вынес на дорогу груженые дровни. Евграф с Клюшиным тоже выезжали с полянок.

— Беги, божат, ко мне, покурим, что ли!

Евграф пустил кобылу одну за клюшкинским возом и пересел. Он видел, как племянник дважды просыпал табак, не мог свернуть цигарку.

— Ты что это? Умаялся, видать, за ночь-то, руки трясутся... Ну, это дело простительное, я тоже бывало глаз не смыкал, оно точно.

Пашка свернул-таки цигарку.

— Божат, что я тебе скажу...

— Ну?

— Давай мельницу строить, а?

— А что, парень, я...

Но Павел не дал ему договорить...

— Взлобок-то на отцовом отрубе... У ветра как на ладони... Сейчас сосну видел, для стояка лучше не надо... А, божатко! Двое-то нас и отца сманим, а?

Пашка сжал кулаки, скрипнул зубами. Шубная рукавица упала в снег.

— Тпры,— потянул за вожжу Евграф.— Охолони, парень, маленько.

И граблями достал из снега рукавицу. Павел затих, отвернулся. Евграф молча тянул цигарку, Карько споро ступал по дороге.

— Уменья-то хватит? — тихо спросил Евграф, но сразу и пожалел, что спросил.

— Д, я ж... я жо...— Павел, заикаясь, схватил дядю за плечи.— Э, да что говорить...

Он плюнул в снег, отвернулся, а Евграф вдруг сдернул с головы свою собачью, сшитую Судейкиным шапку и хлопнул ею по рукавице:

— А давай, Пашка! Я за такое дело! Последнюю телушку решу! Только, чур — бабам пока не сказывать! Оне, мокрохвостки, заревят, мороки не оберешься...

— Божатко! Да мы, да мы... мы ее за два лета...— Павел по-медвежьи облапил дядюшку.

...Он словно во сне подъехал к дому. Пока бабы носили сено под крышу, распряг и обрядил Карька, прибрал упряжь. Вечером после ужина Вера и Аксинья ушли прясть к Мироновым, а сам Евграф пришел к Роговым.

Иван Никитич при свете лампы набивал обруч на новую шайку. Евграф подмигнул Пашке, чтобы тот убрался к себе, и подсел к деду Никите.

Павел поднялся наверх. Не зная куда деваться от нетерпения, метнулся туда-сюда, ничком бросился на кровать. Вскочил, сел у окна, снова лег. Он думал о своей будущей мельнице. Согласится ли отец, откликнется ли на Евграфовы уговоры? Они еще не знали, что такое мельница-ветрянка. Хлеба много — покупай свиней, денег много — строй мельницу, говорится в пословице. А какие у тестя деньги? На Евграфе тоже далеко не уедешь: на свадьбе гулял в холщовой рубахе. Один перед, что на виду, сатиновый. У каждого семья, хозяйство. Скоро весна, надо пахать-сеять, а там паренину пахать, навоз возить. А тут и сенокос не задолит. Кто будет делать все это? Одним бабам с полевой работой не справиться. Павел знал по опыту: затянешь стройтельство — пиши пропало. Мужики охладеют к делу, кто-нибудь выйдет, возьмет обратно свой пай, пойдут прахом труды и заботы. И будет стоять в чистом поле не мельница, а один поднебесный стояк. На радость воронам, людям на потеху... Нет, что ни говори, а ежели строить, то строить надо за год, самое большое за полтора. Ночей не спать, по гостям не ходить... Пока маломаля есть хлебушко, пусть мужики урежут яровой клин, а часть земли отдадут в аренду. Скотины придется кое-какой лишиться, продать часы...

При всех этих мыслях у Павла захолодило под ложечкой. Может, отступиться, пока не поздно? Жить как все. Нет, столько годов ждал, сколько дум передумал о новой мельнице. Покойный дед за жизнь успел срубить три мельницы. Правда, последнюю, да и то не мельницу, а толчею, рубил он, Павел, но делал все по отцовской указке. Это подтесни, тут клин забей. Во многом не соглашался, но приходилось делать. Теперь вот своя воля... Построит свою, какую надо, на два постава, с жерновами и ступами. О шести махах, с негромоздким удобным амбаром, чтобы легко, в одну бабью силу, наворачивалась на ветер, чтобы толкла и молола даже при самом спокойном и слабосильном ветре — при травяном...

Павел не мог больше терпеть и спустился вниз. Дядя Евграф, облокотясь на столешницу, молча сидел на лавке. Иван Никитич, тоже молча, набивал второй обруч. И Павел сразу все понял. Он хватил с горя ковш холодянки и, постаревший, ссутуленный, пошел обратно наверх. Обернулся:

— Эх, вы...

Дед Никита, глядевший на всех поверх своих железных очков, вдруг отложил книгу:

— Ванькя... а Ванькя?

Иван Никитич не отозвался.

— Да што вы и за мужики? — тонко крикнул Никита и хлопнул своей костяной ладошкой по столу.— Гляжу я на вас, вроде вы уж и не мужики, а бабы. Ох, Пашка, мне бы прежние годы, я бы... Ух вы, Аники-воины! Лежни! На бога нету у вас надежи, на бога!

— Ну, тятька! — рассмеялся Иван Никитич.— Экой ты стал бойкой...

— И бойкой! Парень вам дело говорит, за десять верст молоть ездим! Вам и народ спасибо скажет!

— Народ скажет, а Сопронов укажет,— заметил Иван Никитич.— Время-то, вишь, ненадежное.

— А когда было время надежное?

Всю неделю Евграф ходил к Роговым. Они вместе с Павлом уговаривали Ивана Никитича рубить мельницу. И Рогов начал понемногу уступать. Однажды он долго выспрашивал у Павла, сколько надо лесу, во что обойдутся жернова и что придется ковать в кузнице. Павел, чувствуя, что тесть сдается, старался говорить спокойнее:

— Лесу, тятя, надо не больно много, сам посуди, амбар, да стояк, да двойные к нему подпоры. Ну, еще обрешеть, ну, полы-потолки, тес кровельной да тес тонкий маховой. А жернова можно и купить, можно и ковалей подрядить, дело ясное. Ну, а железа надо совсем немного, на штырь к валу, да на иглу к шестерне, да на оковы к пестам. Еще кожулина к жабке железная, остальное все деревянное. И гвоздей не понадобится, кроме как махи обшивать!

— Ну, Павло! — Иван Никитич весело, в упор поглядел на зятя.— Пустишь ты всех нас по миру, давай! Пойдем ко Клюшину...

— Тять... да мы... мы...— Павел вскочил, сильно обнял тестя, забегал вокруг.

— А ты, дедко, плети наразу корзины! — обернулся Иван Никитич к отцу.

— Не допустит господь!

Дед Никита встал перед образами, кинул к плечу сухую щепотку.

Мужики двинулись уговаривать Клюшина, только он и мог взять третий пай. У Клюшина стояло нетронутое урочище хорошего лесу. Лошадь у него еще молодая, всего трижды пахала вешное, да и сам он был ядрен, крепко держал в руках горбатое топорище.

Пашка бегом побежал в казенку, чтобы не прийти к Степану с пустыми руками. Евграф и Иван Никитич подошли к дому Клюшина.

— Что-то боязно, парень,— сказал Иван Никитич, берясь за скобу.— Горячий у нас Пашка-то, как бы не опростоволоситься.

Евграф обметал веником ноги. Он тоже сейчас тужил, готов был отказаться от дела, но какое-то ребячье упрямство сдавило ему зубы. Он промолчал и шагнул через порог, а за ним ступил и Иван Никитич.

— Здорово ночевали, хозяева!

— Проходи, Евграф Анфимович, проходи, Иван Никитович.

Клюшин вставлял в светец очередную лучину, керосин экономили. В избе было тепло и дымно, чистые половики глушили шаги. Стариков не было, ушли по другоизбам. Таисья — жена Клюшина — сеяла в кути муку, слышались шлепки ладоней о веко решета. В углу тусклой фольгой мерцали иконы. На гвоздике, под тетеревиными крыльями и хвостом, приколоченными к неоклеенной стене, висели отрывной календарь, полотенце и треугольное, в крашеной самодельной оправе зеркало. Клюшин отодвинул вершу, которую вязал, и потянулся за кисетом:

— Что, не бывали, мужики, на озере-то?

— Какое, бывали,— махнул рукой Евграф и подмигнул, кивая в сторону перегородки.

— Таисья! — догадался Клюшин.— Сходила бы ты к Новожиловым, тебя Наталья пряжу звала сновать.

— И сего плетешь, пустомеля? — Таисья вышла из кути.— Кто это по вечерам при лучине пряжу-то снует?

— Ну, все одно, сходила бы...

— Какие такие секреты завелись? — заворчала баба, однако накинула казачок.

В дверях она чуть не столкнулась с Павлом.

— Вот, еще один. Чего это вы? Тоже коммуну устраивать надумали?

Она ушла, а Павел выставил бутылку на стол.

— Ну, Степан Петрович! Дело за тобой. Ты как хочешь, а нам уж не отступать...

— Не отступать...— неуверенно добавил Евграф.

— Смекнул, в чем дело-то? — спросил Иван Никитич.

— Да, кажись, смекнул. Что, Паша, поди, лешева деревина на пути встала? Гляди, парень... Я уж, когда за сеном-то ездили, все, думаю, увидит Пашка эту деревину.

— Пошто лешева-то?

— Вон пусть Евграф расскажет, он мастак говорить.

— А вот,— начал Евграф,— еще мой дедушко сказывал, как евонной дедушко Онисим эту лесину хотел, значит, срубить. Ему на нижний ряд надо, покрепче. Пошел он в лес, и вот его чего-то ломает, вот ломает... Будто с большого похмелья, а старик сроду в рот ничего не брал, окромя квасу.

— Ну и что?

— Слушай, слушай, он тебе наврет,— усмехнулся Клюшин.

— А то, что дошел он до ручья, хватил за кушак, а топора-то и нет. Оставил дома. Что, думает, сроду такой конфузии не было, без топора в лес пришел. Сходил домой за топором, нашел эту деревину. Смолы пожевал, на ладони поплевал. Здоровый был, в плечах, что печь, ножищи, как бревна. Размахнулся, ударил под корень, а из-под топора искры ворохом. Топорище пополам, а топор звякнул и улетел. А уж на что был мастак топорища делать.

— Хм.

— Вот тебе и хмы. Это его он не допустил до нее.

— Трепотня одна,— отмахнулся Пашка.— Где у тебя, Петрович, эта... посуда-то?

После одной стопки мужики только крякали да отмалчивались, после двух заговорили, после трех ударили по рукам. Клюшина не пришлось долго уговаривать.

— Ну, Паша, гляди, ежели... вся надия на тебя, не подведи, нам под старость лет по миру ходить не больно способно.

— Да уж... этого, того... рисковое дело, конешно.

— Чему быть, тому не миновать, давай...

— С богом...

Решили сразу же собирать помочи, чтобы начать новое, небывалое для Шибанихи дело.

Павел с тестем пришли домой за полночь. Иван Никитич полез на полати, а зять поднялся наверх, нащупал кровать, сел на край. Верушка пробудилась, теплая, ласковая, зашептала про только что приснившийся сон:

— Ой, Пашенька, иду я по тому берегу, а трава у меня на глазах так и растет, так и растет. И будто ты мне машешь рукой с этого берега, а я ищу, бегу, а ты машешь; к добру ли? Люблю я тебя, уж так люблю, душа выболела... А все чего-то сердце щемит, будто перед бедой.

— Полно, что ты.— Павел обнял Верушку, накинул на нее ласковое шубное одеяло.— Какая беда? Послушай, что я тебе скажу. Знаешь ту деревину, что около ваших гарей? Высокая, густющая...

— Боюсь я ее...

— Вот слушай, надумали мы мельницу. Никто кроме нас не знает, одной тебе говорю, помоги ты мне, не оставь одного. А уж я тебя на руках буду носить, слова худого век не скажу...

Вера охнула, обвила рукой крепкую мужнину шею. К утру промочила слезами Павлову рубаху, не сомкнула глаз до того, пока не встала Аксинья и не начала щепать для растопки лучину.

Иван Никитич тоже не спал всю ночь, полати под ним то и дело постанывали, шелестела луковая кожура.

XII

От свадьбы осталось полпуда ржаного солоду; на помочи сварили две насадки хорошего пива. Иван Никитич купил десять бутылок вина, Аксинья испекла полубелые пироги. Сварили кадушку овсяного киселя и наделали саламату.

Помочи намечены были на воскресенье. За два дня до этого Павел сам из дома в дом обошел всю деревню, никто не отказался прийти. Обед решили устраивать в дому у Евграфа. Задолго до рассвета собрались точить топоры. Евграф шаркал напильником зубья поперечной пилы, дед Никита, в шубенке, подпоясанный кушачком, вертел новые

запасные завертки. Иван Никитич сидел на точильных станках, держа зажатый в жомке зятев топор. Павел без передыху крутил точило, Палашку призвали ложкой поливать на точило воду. До бабьего обряда мужики выточили топоры, пилы, долота, стамески, скобель и заступ.

Народ, кто на дровнях с подсанками, кто с одними топорами, уже подъезжал и подходил к дому. Пришел даже Носопырь, в лаптях, с кошелем на плече.

— Ну, теперь дело будет,— сказал Жучок своим сиротским голосом и привязал лошадь к чужим дровням,— Олексей, а Олексей?

— Ось? Худо я чую-то.

— У тебя чего в сумке-то, не вино?

— Была вина, да вся прощена.

— Ежели вино, так садись на мои дровни.

— Северьяну Кузьмичу, для аппетиту, для харчу, закурим да и потурим! — Акиндин Судейкин предлагал Жучку закурить.

Жучок никогда не отказывался от чужого табаку. Он свернул, затянулся, но тут же, матерясь, бросил цигарку в снег. Акиндин подсунул вместо табаку неизвестно чего, и теперь, довольный, уже здоровался с Савватеем Климовым:

— Савва, любезный друг, каково ночевал?

— А худо, мать-перемать!

— Что, врозь со старухой?

— Ну! Да, видно, сам виноват, устарел маленько!

— А ты вот что. Раз такое дело, ты мышонка подвязывай.

Бабы, стоявшие рядом, в темноте, заплевались, а он, не останавливаясь, продолжал давать Савве Климову полезные советы.

Вскоре подъехали на дровнях Микуленок, Иван Нечаев и Володя Зырин. Последним, правда, без топора, пришел на помочи отец Николай.

— Ты, батюшка, пошто без кобылы-то? — спросил Савватей.— Вроде бы она у тебя нежеребая.

Поп Рыжко пропустил мимо ушей ехидную обмолвку Климова: все знали, какая у него худая кобыла. Он попросил у Евграфа топор и рукавицы, в наказание Савватею уселся к нему на дровни.

— Ко мне? — кротко спросил Савватей.

— К тебе.— Дровни под Николаем Ивановичем хруст-

нули. Савватей вздохнул, принимая это как божие наказание.

Светало. Стоял небольшой мороз, без ветра и снега, редкие мелкие звезды меркли над Шибанихой. Павел пропустил вперед тестя и Евграфа, пересчитал народ и подводы. Скопилось двадцать упряжек, половина с подсанками. Почти из каждого дома люди пришли на помочи. Павел пропустил последнюю подводу и пошел пешком, ему хотелось побыть одному. Только теперь он начал по-настоящему осознавать, какое нешуточное дело он затеял, в какую заботу втянул тестя, дядю Евграфа и Клюшина. Поверили ему, а чем-то все обернется? От волнения он сначала прибавил шагу, потом, ощущая, как растет где-то в груди безрассудная, необъяснимая радость, побежал. Догнал дровни Ивана Нечаева, прыгнул на обмотанные ужищем колодки. Некоторое время они ехали молча.

— Вань, знаешь ты эту, как ее? Про Байкал-то, священное море. Либо шумел-горел...

— Знаю обе,— Нечаев подхлестнул мерина.

Словно бы невзначай, он запел, сначала негромко. Пашка выждал какое-то время и тоже, как бы мимоходом, присоединил свой голос к нечаевскому. Они пели, и каждый чувствовал, как рождается у них друг к другу что-то хорошее, надежное:

Шумел-горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах вдали кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.
Зачем я шел к тебе, Россия...

Лошади фыркали, снег скрипел под копытами. Палашка Миронова завизжала где-то в середине обоза...

— А у меня, Павло, парень родился, Петруха,— сказал Нечаев.— Не у меня, конешно, у женки.

Пашка кивнул, крепко сдавил ладонью плечо Нечаева.

Рассвело совсем, когда остановились на ровной крутолобой горушке. Клюшинское урочище уходило далеко, к Синему ручью. Дерева, все одного возраста, проглядывались на полверсты вокруг, не было никакого подсада. Снежное еловое царство дремало, от стволов падали голубоватые тени. Они растворялись, исчезали в лесной глубине. Солнце, теряя красноту, кое-где издалека пробивалось сквозь хвою, все было тихо. Лес будто затаился, прислушиваясь к людям и лошадям. Все отпустили чересседельники

дельники, укрыли коней тулупами. Не сговариваясь, пошли за Иваном Никитичем, который на ходу вытаскивал из-за кушака топор.

Евграф не утерпел, обтоптал на горушке снег и развел костерок. Запах смолистого дыма сразу же сделал горушку по-домашнему близкой. Разделясь попарно, с пилами, уходили все дальше, на горушке остались только Кеша, Евграф и отец Николай.

— Так что, Николай Иванович? — Кеша снизу вверх поглядел на попа.

Николай Иванович сверху вниз поглядел на Кешу.

— Истинно говорю, буду один!

— Ну, дело хозяйское,— Кеша закурил.

Павел переглянулся с Евграфом. Отец Николай скинул шубу, подстегнул полы подрясника под ремень. Обтоптал снег около ровной, словно голенище валенка, елки, размахнулся. Топор забористо и легко вошел в еловую мякоть. Кеша хихикнул, сидя на корточках. Он не прочь был покурить еще, но и ему стало совестно. Он направился туда, где перекликались бабы и девки.

Первые дерева шумно упали в урочище, топоры стукали тут и там, у Павла вдруг захолонуло в животе, ладони вспотели.

— Шанец-то весь понадобится? — спросил Евграф.

— Весь, божатко...

Снег буровился дровнями и подсанками, за урочищем лошадям было по брюхо. От Карькина хребта шел пар, когда выехали на сенную полянку. Они оставили лошадь у стоговища и взяли инструмент.

— Батюшки, экая осемьсветная,— сказал Евграф, но Павел не пристал к разговору, не оглянулся назад. Сосна высоко вверху громоздила свои отростелья: каждая главная ветвь была по толщине с полувековое дерево.

— Руби подпору! — приказал племянник Евграфу, и тот покорно пошел в сторону. Павел начал раскидывать снег вокруг дерева. Они без перекура заготовили с полдюжины длинных ваг, обили с сосны наледь.

— Что, божатко?

— Да что... Давай. Взялся за гуж, не говори, что не дюж...

Павел подхватил топор, отступил шага на два-три. Приблизился. Сильный удар не отозвался в могучем дереве ни единым звуком, ни одна хвоинка не шевельнулась в

громадной, как туча, кроне. Павел сделал надруб и взял пилу.

— Ну, с богом! — Евграф поставил ногу поплотнее.

Они начали неторопливо пилить. Пилили без передышки, с четверть часа, пока вся пила не ушла в дерево. Теперь ходу пиле не стало. Дергая, короткими рывками одолели четвертую часть, вытащили пилу и, не сговариваясь, взялись за топоры. Рубили сосну с двух сторон. Павел сильно, с потягом, опускал топор в белую древесную мякоть; вторым ударом, уже под другим углом, вырубал щепку. С обратной стороны надреза, в такт с племянником, как молотил, рубил Евграф.

Сосна-великанша стояла в безмятежной величавой дремоте, удары не отзывались в ее необъятной плоти. Евграф первый остановился, бросил на снег рукавицы-однорядки.

— Стой, Павло, остепенись! Дай спых...

Минуты две, не обронив ни слова, постояли с выпрямленными спинами. Опять, не сговариваясь, начали рубить. Павел клал топор с придыхом, Евграф крякал с каждым ударом. Уже было желто вокруг от свежей щепы. Она приставала к подошвам валенок, так обильно выступали на ней бисерные смоляные слезинки.

Наевшийся у остожья Карько издали глядел на работу. Вострил уши, недоумевая, почему так долго не нужен, отставлял от безделья то одну, то другую ногу. Мужики рубили и рубили...

Было высокое, светло-синее, предвесеннее небо. Роговская поляна, вся залитая слепящим солнцем, светилась словно из своей снежной глуби. Ее белизна, прошитая строчками более темных, но тоже белых заячьих следов, переходила в тени от опушки в еле ощутимую и тоже какую-то глубинную, будто небесную синь. Лес на той стороне поляны разделял общее световое раздолье на два: на слепящее снежное и мягкое небесное. Издали, из темного дыма еловых согр, сбегались густо-зеленые конусы елок, они оттесняли размытую зелень тонких стволов осинника. Словно легкий сиреневый пар, поднялась и задрогла над розоватыми свечами стволов березовая прозрачная шевелюра; мерцали, золотились на солнышке червонно-коричневые мутовки сосен. Обволоченные нежным зеленцом хвои, сосны эти были недвижимы, но они жили сейчас полнее и шире других дерев, их безмолвие таило в себе какое-то скрытое благородство. Жила, созерцала, не мешая

другим, наслаждалась солнцем и пила поднебесную синеву каждая пара иголочек, ясно видимая по отдельности. Но в то же время она, каждая пара игл, была частью, и все дружно облепляли тонкий сосновый пруток, и каждый пруток был на своем месте, в каждой сосновой лапке. В свою очередь, каждая сосновая лапа жила отдельно и вместе с другими; они, не враждуя друг с другом, переходили в более крупные ветки. Ветки незаметно перевоплощались в мощные бронзовые узлы, расчлененные по всей кроне и объединенные в ней единой и неделимой.

В каждой сосне не было ничего лишнего, и они, дополняя друг дружку, каждая по-своему сберегали лесную семью...

Сосна-великанша, будто отдаваясь сладкой своей гибели, еще не шевельнула ни единой иглой. Она возвышалась над остальными, как и прежде, хотя была уже почти перерублена. Лишь какая-то восьмая или десятая часть ствола соединяла ее с несчетными, широко и глубоко ушедшими в землю корнями. Но она все еще не знала о своей гибели или отдавалась ей самозабвенно, безудержно. Сосна стояла в небе, подпертая с двух сторон, когда несколько последних ударов неожиданно для всего леса обронили безбрежную тишину. Казалось, ничего и нигде не случилось. Все так же ослепительно сверкали снега и горело в синеве косматое солнце. Вдруг от какого-то далекого сигнала, может, от чьей-то далекой, холодной мысли повеяло в кроне неуловимо-щемящей тревогой. В этой тревоге, словно от чьего-то тяжкого, торопливого дыхания, словно от шороха каких-то дьявольских крыльев родилось неуловимое движение воздуха. Может быть, одна из миллиона иголок чуть шевельнулась и дала движение другой, от этого потерял равновесие какой-то крохотный прутик, он шевельнул ветку, и знобящая дрожь пошла, нарастая неудержимо, по всему необъятному дереву. Сосна еще замерла на миг и вдруг с пронзительным скрипом начала поворачиваться вокруг своей оси. Ее повело в сторону, словно вывинчивая из родимой земли, она сначала медленно, но потом молниеносно, наращивая движение, начала падать и вдруг тяжко и страшно обрушилась. Треск и стремительно выросший шум запоздалой волной прокатились по лесу, над поляной вздыбилось и тихо опало облако снега.

Теперь она лежала среди снежных холстов, большая, мертвая. Карько, рванувшись было в сторону, остановился

и, дрожа мускулами, тревожно заржал, люди не двигались с места. Как бы дивясь и пугаясь того, что сделали, они глядели на лесное погибшее чудо. На поляне сразу стало темней и тесней, а в синем небе образовалась зияющая пустота. Сучья, как живые, еще долго трещали, ломаемые тяжестью уже мертвого дерева.

XIII

Стояк для мельницы надо было везти на паре, и Павел решил сделать это другими днями. Оба, и он, и Евграф, выехали с поляны на дорогу, чтобы присоединиться к помочи. Сворачивая на клюшинскую горушку, Павел остановил Карька:

— Тр-р-р! Божат, а это чего? На осине-то?

На толстой придорожной осине красовалась большая белая затесь. На затеси чернильным карандашом было что-то написано.

— Погоди-ко...— Евграф слез с дровней. Запись была как раз на самом виду, Евграф, шевеля бородой, по складам прочитал:

У попа у Рыжка
Стало жиру лишка.

— Вот бес, этот Судейкин! Он это, больше некому! — Евграф засмеялся и попросил племянника прочитать дальше.

Павел вслух прочитал сочинение Судейкина:

А у Кеши маловато,
Проживает не богато.

— Истинно,— вставил Евграф.

А шибановский Жучок
Чужой любит табачок.

— Добро, хорошо!

У Ивана-то Нечаева
Головушка отчаянна.

— Тоже как тут и было!

А у Клюшина Степана
Голова, как у цыгана.

— Ведь до того складно! Всех перебрал, всю деревню!

...Наш Миронов-от Евграф,
Будто барин али граф.

— Ну, дурак, пустомеля! — заругался Евграф.— Поехали!

— Погоди, божат, дай дочитать! — смеялся Павел.

Но Евграф уже вытаскивал из вяза топор. Он быстро стесал писанину Акиндина Судейкина и затоптал щепочки.

— Дай-ка карандашика...

Павел подал дядюшке химический карандаш. Евграф топором подточил карандаш, подумал и на свежестесанной осиновой мякоти начал выводить колченогие буквы:

У нас в деревне есть поэт,
Ну какой это сусед?

Евграф крякнул, потоптался и дописал:

Про своих же мужиков
Навыдумывал стихов.

— Во! Складно?

— Складно! — засмеялся Пашка.— Ну, теперь не устоит Акиндин. Ей-богу, не устоит!

Застоявшийся Карько оглянулся. Племянник и дядя, пристыженные взглядом мерина, сели на дровни.

На горушке уже стояла срубленная в охряпку небольшая избушка-станок, чтобы весной и летом ночевать в лесу. Иван Никитич и Клюшин успели сделать только сруб, и теперь оба ушли в лес, работать вместе со всеми. Топоры стучали в разных местах. То и дело то тут, то там падало дерево, бабы изредка ухали. Заржала чья-то лошадь, возвращаясь из деревни, уже за вторым возом, вся горушка была утоптана и уезжена, везде чернели сучки и хвоя. Евграф был без лошади и хотел ехать в делянку на Пашкином Карьке, но Иван Никитич подошел к ним, устало сел на дровни.

— Повалили?

— Лежит... Везти надо на паре, а то и па трех. Да и подсанки надо поядренее. А что сегодня-то, не успеем по три раза? — спросил Павел.

— Нет, не успеть! — Иван Никитич встал, собираясь продолжать работу.— А вы наваливайте да поезжайте. Как там бабы-то?

— Бабы без нас управятся,— заметил Евграф.— У них все на мази.

Но Павел настоял на том, чтобы Евграф ехал домой, помогать бабам. Палашка уже свезла воз коротья и вернулась в делянку.

— Палагия! — кричал ей Савватей Климов, настигший ее еще в поле.— Ты бе пересела ко мне-то, я тоже печати умею ставить!

— Ой, дедко, отстань к водяному!

Савватей намекал на Микуленка, который ездил с Палашкой на одних дровнях.

Павел помог Евграфу навалить многосаженную елку, и Евграф нукнул мерина. Карько, не слушаясь чужого голоса, не захотел двигаться. Павлу пришлось понукнуть самому. Мерин сдернул воз и скоро, без рывков попер к дороге. Евграф прискакивал сбоку, мешать мерину не было смысла. Карько опытным поворотом, экономя силу, вывез дерево на дорогу. Евграф запрыгнул на воз.

— Бог помочь, Евграша! — крикнул ему, возвратившись в лес, Судейкин.

— Бог помочь, Акиндин!

Они разминулись как ни в чем не бывало, каждый думал что-то свое и улыбался нутром. Однако Евграф, проезжая мимо осины, кашлянул: его каракули были только что стесаны, и на осине было написано что-то новое. Евграф пропустил воз, надеясь быстро догнать мерина. Прочитал:

У Миронова Еграши
Все ухваточки не наши.

— Тпр-р-у! — Евграф даже не дочитал, бросился догонять воз. Топор был влеплен в дерево.— Тп-р-ру, мать-перемать!

Воз остановился. Карько еще не успел уйти далеко. Евграф выдернул из дерева топор, побежал обратно к осине. Он оглянулся, быстро стесал надпись. Карандаш оказался в кармане. Евграф не успел отдать его Пашке. Миронов почесал бороду, призадумался.

— А Судейкину Акиндину,— начал он выводить, снова остановился, подумал. И дописал:

Налить бы в задницу карасину.

Ему показалось этого мало, и он подумал еще.

Вставить тычку,
Да поднести спичку.

Евграф остался очень доволен. Он и сам не ждал от себя такого, раззадорился и добавил еще:

Чтобы шаяло да горело,
Вот будет весело дело.

Он полюбовался работой и опустил карандаш в карман. Рука наткнулась на два полувершковых гвоздя. Они завалялись в кармане случайно: недавно ремонтировал коровьи ясли. Евграф достал один гвоздик и забил его в осину, как раз в середину своей надписи. «Ну, вот, этот сучок Судейкину не стесать»,— подумал он и оглянулся. Мерина было невидно, Евграф побежал догонять. Дело дошло до пота, но он так и не догнал воз. Карько спокойно стоял у роговского гумна.

На угоре было навожено за день порядочно лесу. Миронов развернул воз, скантовал бревно и поехал в деревню. Время шло ближе к вечеру, скоро надо было кормить народ.

У баб все давно было готово, столы стояли с двумя караваями на каждом, с чесноком и солонками. Палашка насобирала по деревне охапку ложек, Евграф выставил бутылки. Зажгли две лампы, но люди не появлялись. Многие были еще в лесу, к тому же никто не хотел приходить раньше других. Первым явился отец Николай и загудел на всю избу:

— Ну, Евграф Анфимович, алчущего да не отринь, проголодался, аки зверь!

Он отхватил от каравая увесистую горбушку и начал уминать за обе щеки.

— Батюшка, погоди! — засмеялась Палашка.— Аппетит-то собьешь, сейчас хлебать начнем.

— Ничего, дево, что чреву первая дань...

Николай Иванович вдруг охнул. Вставая, он не смог разогнуться, присел, а потом и прилег на лавку, заохал.

— Что, батюшко, рази с пупа сорвал? — подбежала Марья.— Эко нехорошо как.

— Нехорошо! Совсем нехорошо...— охал на лавке поп. Палашка побежала за бабкой Таней, которая умела вправлять пупы лучше всех. Тем временем, распрягши коней, в избу собирался народ, все мыли у рукомойника руки.

— Вот, Николай Иванович,— сиротским голосом толковал Северьян Брусков.— Это тебе не кропилом махать, топориком-то...

— Молчи, Жук! Ох, молчи, фараон...

— Я, конешно, что, я, пожалуйста.— Жучок не спеша уселся к нему в изголовье.

Евграф налил попу стопку водки:

— На-ко, батюшко, может, и полегчает.

Отец Николай хотел приподняться, но только охнул и стукнулся о лавку. Ему подоткнули под голову чью-то душегрею, хотели обуть в свежие Евграфовы валенки, но они не подошли по размеру.

— Ишь, мослы-то у тебя,— пел Жучок, который тщетно обувал попа.— Ей-богу, не позавидуешь. Из скольки фунтов, Николай Иванович, катанки катаешь?

— Из шести, бес, ох, из шести...

— Да что, Николай Иванович, лаешь-то на меня? Я его обуваю, а он лает. Не зря, видать, тебя голосу-то в сельсовете лишили.

— Истинно говорю — уйди.

Жучок смиренно отошел от попа. Многим не понравилось, что он напомнил сейчас о лишении голоса, но все промолчали. Изба все больше наполнялась народом, подавали советы, как вылечить Николая Ивановича.

— А вот летом бы, крапивой натрешь поясницу-то, все как рукой снимает.

— Муравьиное масло тоже хорошо.

— Таню, Таню ему надо.

— Эта сделает!

— Не Таню, а хорошую баню.

— Лавку-то занял, и посидеть негде.

— А у Носопыря-то какое лекарство, может, подойдет?

Николай Иванович охал, лежа на лавке, когда присеменила на помочи Таня. Она сразу приступила к делу. Николая Ивановича повернули на брюхо, закатали рубаху. Шмыгая носом, Таня подсела к попу, зашептала чего-то:

— Хосподи, благослови и спаси, хрис...

Она взяла в щепоть кожу на пояснице попа, оттянула, разгладила, оттянула еще, подсекла другой рукой и каким-то быстрым ловким движением крепко завернула. Поп охнул, в пояснице у него что-то хрустнуло.

— Вставай, батюшка, благословясь!

Николай Иванович, не веря в свое излечение, все еще лежал.

— Николай Иванович, шти остывают.

Отец Николай облегченно поднялся, все начали хвалить Таню. Между тем запахло мясными щами, Евграф принес насадку пива, распечатал пару посудин. Иван Никитич встал, все затихли.

— За работу вам, люди добрые, спасибо, дай всем бог здоровья. Спасибо! Честь и место! — Он трижды поклонился, приглашая народ за стол, поклонились и Евграф, и Марья, и Аксинья. Люди, крестясь, заусаживались. Из пяти деревянных блюд в нос шибало горячими щами, за каждым блюдом оказалось по семь-восемь человек.

Акиндин Судейкин пересел сам, подмигнул кому-то, сделали небольшое перемещение, и Таня оказалась рядом с Носопырем. Не все сразу заметили это: уж очень вкусны были щи, а голод велик. Марья с Аксиньей не успевали доливать. Ложки стучали друг о дружку, люди прикрякивали. Последний раз бабы добавили в блюда и высыпали туда же крошеную говядину. После щей они подали горячий саламат: пареную овсяную крупу, щедро сдобренную топленым коровьим маслом. Но многие уже насытились и отодвинули ложки. В Жучковой компании хлебал один он: Нечаев, Новожилов и Володя Зырин уже сворачивали цигарки. Жучок старательно дохлебал саламат и хлебным мякишем начисто зачистил остатки. Он подал блюдо Николаю Ивановичу:

— На-ко, батюшко, дохлебай. Больно скусно.

Отец Николай, не заметив подвоха, взял блюдо.

— Ах ты Жучок, едрена мать...— Он бросился к обидчику через стол, но тот увернулся от преследования.— Ах ты бес криворотой, да я тебя...

— Остепенись, батюшка, еще кисель есть,— подал голос Акиндин, все зашумели.

— Я ему, бесу, саламат вытряхну, ей-богу!

— Не связывайся лучше!

— Нет, а слабо!

— Ничего тебе, Николай Иванович, с Брусковым не сделать.

— Оборет, это уж как пить дать!

— А где Судейкин-то?

— Да, да, ну-ко, Акиндин, спой, чего навыдумывал-то севодни.

— Я к осине-то подъехал, гляжу — директива...

— Спой, Акиндин, послушаем.

Акиндин вылез из-за стола, ушел курить к порогу. Ки-

сель с молоком хлебали уже всего человек десять, все давно были сыты.

— Царю да киселю места хватит,— приговаривал Кеша, хлебая на пару с отцом Николаем.

Евграф подошел к Акиндину Судейкину. Не желая, чтобы Акиндин пел, он завел с ним разговор, и Судейкин степенно присел на приступок.

— Да, Евграф да Анфимович, по нонешнему времю строить накладно. Я вон хлев начал рубить, да и то... Сколько дерев-то вывезли?

— Триста. Кабы топорики-то повострей, оно бы...

— Порядошно.

— Акиндин Ларивонович, топорами-то меняться уговаривались,— не отступал Евграф.

— Чево?

— Топориками-то хотел махнуться, ну-к, покажи.

— Да у меня дома.

— А этот чей? Разве не тот?

— Этот не тот.— Судейкин отодвинул топор подальше.

— Как же не тот, ежели с круглым клеймом,— Евграф вытащил топор Акиндина из-под лавки.— Вишь ты, вроде пилы... По гвоздю, что ли, тюкнул?

— Неужели? — притворялся Акиндин.

— На то Христос...

— Хм. Вот мать-перемать, а ведь и правда. Где это я?

— Видно, нечаянно,— сочувственно сказал Евграф и пошел ставить самовар.

По избе шли всякие разговоры. Вспоминали, кто сколько срубил и отвез дерев, как разъезжались на глубоких снежных местах.

— Дедко, а ты чего, обедать дак ты тут, а в лес тебя нету.

— Ось? Худо я чую-то.

— Не скажи. Дедко робил не хуже тебя. Все сучья у нас спалил, вишь, и сейчас гарью пахнет.

— Запахнешь, коли в бане живешь.

— А ты, Миколай Миколаевич, когда жениться-то будешь?

— Моя малина не опадет.

— Ой, гляди, комиссар!

— Сопронов-то дома? Пришел, приступом ко мне: подпишешься на сельский заем? Я говорю, нет, Гено, у

меня налогу еще второй строк не плачен. Он за скобу. Подпишусь, говорю, только не уходи.

— А вот Кеша опять в карты выиграл третьего дни.

— Кеша человек везучий. От налогу освободили, в карты обыграл Николай Ивановича.

— Нет, те денежки Северьяну Брускову достались.

— Ну, Нечаева обыграл.

— Это правда.

— Дак чево Судейкин-то?

— Да вон уж газету взял.

Судейкин, в окружении мужиков, и впрямь развернул газету, начал читать. Он всегда начинал читать и петь по газете.

— Писано, пописано про Ивана Денисова. Как жили шибановские мужички, где мои очки?

— Давай, Акиндин, зачни чего, ежели.

— Севодняшнее-то не забудь.

Судейкин держал одной рукой газету, другой схватился за Палашкин сарафан.

— Ну, Палагия, вся на тебя надия, буду сказывать байку, подай-ко, матушка, балалайку!

Палашка сняла со шкапа балалайку, подала. Судейкин заиграл и запел:

Балалайка восемь струн,
Балалаечник дристун.

Многие остановили разговор, подвинулись ближе. Кеша Фотиев с блаженной улыбкой открыл рот и ждал, чего будет дальше. Акиндин, наяривая на балалайке, спел:

Вы послушайте, дружки,
Это дело не смешки.

Он сделал проигрыш, все нахлынули еще ближе.

Как Микулин со Штырем
Разживалися вином.

Микуленок сразу прикончил разговор с Иваном Нечаевым.

Разживались Таниным,
Сельсовет оставили.

Таня поджала губы. Послышались одобряющие голоса:

— Ну, Акиндин, давай!

— Не перебивай, говорят, не сбивай человека!

Микуленок у крыльця —
Дай-ко, бабушка, винця,
Нету, милой, нету-ста.
Да зайди, пожалуйста.

В избе у Евграфа стало сразу тише. Табачный дым густо плавал от потолка до пола. Судейкин не останавливался. Он придумывал слова на ходу. Все давно знали об этом и старались не сбить его с толку.

Только вынула четушку,
Носопырь идет в избушку.

Палашка первая прыснула, не сдержалась, ее остановили с двух сторон.

Ой, миленок, ой, беда.
Микуленка-то куда?
Чем гонить на улицу,
Посажу под курицу.

Судейкин только входил в раж, а уже многие лица застыли в напряженно-улыбчивом нетерпении. Балалайка брякала ловчее с каждой минутой.

От такого случая
Вышла неминучая.
Это, граждане, не шутка,
Напугалася Рябутка
Взяла да и обо...лась
На шибановскую власть.

От смеха в избе вспыхнули лампы, дым заколебался. Микулин смеялся и сам. Все равно сердиться было бесполезно — историю с курицей давно знала вся деревня. Мужики хлопали председателя по спине, утирая слезы. А Судейкин со строгим видом, не улыбнувшись, тренькал, дожидаясь тишины:

Дедку в бане не сидится,
Вздумал дедушко жениться.
Батожком-то в землю тычет,
У меня денег сорок тысеч.
Есть и мидь, и серебро,
Со мной жить будет добро.
Чем те по миру ходить,
Так лучше згодье [1] наводить.
Наводить-то будешь меркой,
У мня будешь акушеркой.

[1] Згодье — лекарство.

На этом месте даже суровый молчальник Клюшин расхохотался. Все поджимали животы, но, не успев просмеяться, затихали в новом напряжении. Судейкин не останавливался:

Таня ножкой топнула,
Ох, не пойду за дохтура.
Крикнул Коля из-за печки:
Это все не по-совечки.
Все неправильное тут,
Выходи, коли берут!

В избе Евграфа опять колыхнули фитили в лампах: отец Николай кашлял, наваливаясь на столешницу, Кеша Фотиев колотил от восторга кулаком по полу, мелко трясся Савватей Климов, Иван Нечаев стонал и охал, бабы и девки тоже. Микуленок еле перевел дух, отмахиваясь от мужиков. Хотел уйти, но раздумал, сел снова на пол. Новожилов надорвался и только икал; сквозь шум, махая рукой, Таня кричала Судейкину: «Нечистой дух, отстань! Не пой, не пой больше-то. Ой, сотона стамоногой».

— Пой, Акиндин, без сумленья! — настаивал Савватей Климов.— Игнаха уехал, пусть слушают.

— А что мне Игнаха,— упирался Судейкин,— я сам себе Игнаха.

Носопырь, приставляя ладонь к уху, спрашивал каждого:

— Ось? Чево говорят-то?

Один Жучок, умаявшись за день, сладко похрапывал на лежанке.

XIV

Февральская ночь притушила огоньки в деревнях, окутала спокойной тьмою Ольховскую волость. На масленицу, после крещенских морозов, слегка потеплело в окрестных непроходимых и непроезжих лесах. Поля и снежные пустоши не мерцают под зеленым лунным сиянием. Ночью чуть дышат сонливые несердитые ветерки. Они лениво шевелят поземкой, пробуют свист. Переметают широкий зимник, долго бегущий в центр волости — в деревню Ольховицу. Ночью спит, никуда не бежит и эта дорога. Волки спокойно выходят на зимник, идут по самой его середине, обходя большие деревни. Проснется, взбаламутит весь дом какая-нибудь трусливая шавка. И опять все тихо.

Небо в бесшумных движениях полярных сполохов. Высокие желтоватые столбы, сменяя друг друга, перемещаются, гаснут. Пахнет промороженным сеном и деревами домов: отпышкались, считай, пересилила зиму деревня Ольховица. Как и Шибаниха, она спит спокойно. Во всех домах давно погашены лучины, коптилки и лампы, а отблеск редких иконных лампадок не достигает окошек.

Только в одном доме Ольховицы горят четыре смежных окна, освещая в огороде прямоугольники снега.

Светит флигель бывшего помещичьего дома, в котором один на один со своей судьбой живет боярский потомок Владимир Сергеевич Прозоров. Ныне он просто гражданин Прозоров, стареющий хозяин давно не ремонтированного флигеля и двух десятин запущенной пашни, которые он сдает в аренду. От угла через освещенный снежный квадрат метнулась быстрая тень. Чья-то фигура замерла между окнами, сливаясь с темным простенком. Но вот человек шевельнулся, прижался виском к фрамуге, и тень от его головы четко обозначилась на снегу. Человек по-ястребиному стих.

Голос внутри помещения звучал ровно и, казалось, слишком уверенно, но плотные стены и двойные, хорошо промазанные рамы поглощали смысл сказанного. Человек распрямился и заглянул в окно.

Прозоров, одетый в толстовку и длинные, до самых пахов белые валенки, ходил по комнате, он говорил что-то не в такт шагам. Голос его изредка прерывался другим, старческим и более тихим. Тот, кто говорил тихо, сидел в простенке, и было ясно, кто он. Но человек с улицы продолжал напряженно вглядываться. «Так, собрались. Опять собрались у этого недорезанного буржуя! Длиннополая сволочь, лиса бородатая... Приперся...» Образ бывшего благочинного, маленького сивого священника Сулоева представился ясно и четко: сейчас он сидит в простенке, трогает редкую бороду костяными пальцами и глядит на Прозорова, кротко мигая бесцветными слезящимися глазами. «Приперся. Третий раз собрались, сидят до полуночи. А кто третий?» Человек не слышит голоса третьего, но чувствует, что в комнате трое. «А может, и раньше собирались? Собирались и раньше...» Голова начала двигаться, высматривая третьего. И вдруг человек в каком-то неистовом торжестве отпрянул от света. «Лу-

зин! Неужто Лузин? Ну, чистоплюи, я до вас доберусь!»

Голова вновь прильнула к фрамуге, человек даже не снял шапку, чтобы лучше видеть и слышать. То, что в компании Прозорова и бывшего благочинного Сулоева оказался председатель Ольховского ВИКа Лузин, было совсем новым. Новым и непонятным. Сердце стукало в ребра тревожно и торжествующе, руки нервно тряслись. Человек напряг весь свой слух.

— ...Ну, в смысле будущего.— Прозоров остановился, улыбнулся и расцепил руки.— В смысле будущего ваши программы, отец Ириней, почти одинаковы. Вы обещаете человеку рай небесный, они — земной.

— Они отнимут у человека бессмертие,— голос отца Иринея был теперь чуть сильнее.— Бессмертие души... Человек должен верить в бессмертие, иначе жизнь бессмысленна.

— Почему же бесмысленна? — Прозоров закурил папиросу.— Это еще неизвестно. И потом...

Но теперь послышался голос Лузина:

— Извините, Владимир Сергеевич, я вас перебью. Уважаемый Ириней Константинович, разве существованию атеизма Россия обязана только семнадцатому году?

— Не только, но главным образом, Степан Иванович.

Человек перевел дыхание и не расслышал, что сказал в ответ председатель Ольховского ВИКа. Непонятные и потому враждебные слова звучали за стенкой, воздуха не хватало. Он согнулся, отпрыгнул от окна и быстро, бесшумно, все еще не разгибаясь, выбежал на тропу, затем в наезженный, утрамбованный лошадьми двор Ольховской коммуны. Человек постучал в окно бывшего дворянского дома, окно засветилось, и вскоре он исчез за дверью.

Еще в семнадцатом ольховские солдаты, вернувшись с германской, отняли у Прозорова усадьбу и землю. Чуть позже несколько бобылей и два-три бедных семейства сошлись в коммуну, которую назвали именем Клары Цеткин. Они выселили Прозорова во флигель и поселились в обширном буржуйском доме. Всем заправлял Митька Усов, по прозвищу Паранинец. Коммунары сеяли хлеб, косили сено для четырех прозоровских коров. Получали кредиты, и дело у них шло, коммуну даже хвалили в газете. Но бобыли один за другим разошлись искать лучшей

доли. Коммуна совсем захирела, когда сельхозбанк отказал в очередном кредите. В пустом доме размещался один Митька с семейством, он кое-как содержал двух коров и лошадь. Прозоров жил по соседству с Митькой. По утрам он приходил к Митьке за молоком, закуривал с ним табаку и иногда рассуждал:

— Ты, Дмитрий, почему меня в коммуну не принял? Я бы вам пригодился, я агрономию знаю.

— Я-то, Владимир Сергеевич, принял бы,— смущался Усов.— Но вот как народ? Не признают они чуждого элемента.

— Да разве я виноват, что я дворянин?

— Виноват.

Прозоров разводил руками.

Сейчас, в эту ночь, он ходил по комнате во флигеле, говорил и тоже разводил руками. Их было трое, заядлых спорщиков. Владимир Сергеевич, этот омужичившийся интеллигент, любил умных собеседников. В Ольховице не с кем было поговорить, кроме как с бывшим отцом благочинным Иринеем Сулоевым и Степаном Ивановичем Лузиным. Степан Иванович был коммунист, бывший рабочий с фабрики Печаткина, посланный сюда на должность председателя ВИКа.

— Да, Владимир Сергеевич,— улыбаясь, сказал Лузин,— вам придется потесниться. Вы уже потеснились, это вне всяких сомнений.

— Ах, Степан Иванович, Степан Иванович! — Прозоров снова развел руками.— Разве дело во мне? Я лично не мешал вам ни в семнадцатом, ни в двадцатом. Не мешаю вам и сейчас. Даже больше, я готов помогать вам, была бы польза.

— Ваше сословие...

— Какое сословие? — перебил Прозоров.— Это сословие всегда, всегда стояло за идеалы свободы, в оппозиции к официальной власти! Начиная от декабристов... Разве не это сословие вскормило русских социал-демократов? Разве не на деньги этого сословия жила вся революционная эмиграция?

— Преувеличиваете.

— Может быть, может быть... Я нисколько не защищаю свое сословие. Но Россия? Ведь она вся состоит из сословий.

— Мы уничтожим все сословия.

— То есть всю Россию?

— Зачем же,— Лузин слегка повысил голос.— Вы умный человек, а прибегаете к демагогии. Мы, Владимир Сергеевич, переделаем всю Россию. От старой России не останется камня на камне.

— Разрушить все и создать заново?

— Да.

— Кто дал вам это право — разрушать?

— Классовое сознание. Долг, совесть передового класса, Владимир Сергеевич!

Отец Ириней молчал, опустив голову. Он слушал их обоих, расправлял на скатерти несуществующие складки, перебирая по столу бескровными белыми пальцами. Лузин сидел спокойно, говорил тихо, наблюдая за все убыстряющимися шагами Прозорова.

— Допустим.— Прозоров резко остановился.— Допустим, что у вас есть право все переделать, в чем я весьма и весьма сомневаюсь. Но, Степан Иванович, разве можно все разрушать? И даже если разрушить все, и тогда ничего не останется, можно ли что-то создать из ничего? Вы поделили Россию на классы. Не только Россию, весь мир. Это примитивное деление позволяет не думать о сложностях мира, о сложностях человеческого общества. Да я, как и вы, знаю: в мире существуют классовые противоречия. Но можно ли игнорировать другие, не менее мощные противоречия? Противоречия национальные, например. Во время наполеоновского нашествия крестьянин бил не помещиков, а французов. А религиозные противоречия? Варфоломеевская ночь, Шипка... Противоречия полов. Глупых и умных. Слабых и сильных просто физически. Все это вы заменили одним: классовым антагонизмом. Не слишком ли просто, Степан Иванович? Подождите, дайте сказать. Вы говорите, что уничтожите старую Россию и создадите Россию новую. Но Россия не Феникс. Если ее уничтожить, она не сможет возродиться из пепла, она погибнет. Вы уничтожите религию, разрушите церкви. Но это все равно, что лишить каждую деревню оперного театра. Уничтожив торговлю, русские ярмарки, вы остановите экономику, никто не захочет заниматься производством продуктов. Лень, бесхозяйственность будут царить в стране. Вы отберете у крестьян землю, никто не будет стремиться к заселению невообразимых просторов России. Нет земли — нет крестьянства. Дети встанут против отцов,

жены против мужей. Холод голой, ничего не признающей науки заморозит живые души. Женщины перестанут рожать детей, будут искать все новых самцов. Мужчины перестанут быть мужчинами... Жажду голых научных знаний ничем не остановить, она будет плодить лишь духовных гермафродитов. Может, вы научитесь выращивать детей в колбах? Будущих Пушкиных и Ломоносовых? Избави меня бог от подобного будущего, избави! — Прозоров помолчал, дыша редко и тяжело.— Вы хотите вселенской борьбы. Но дурак пойдет с топором против умного. Разве мы застрахованы от дураков? Неверующий встанет против верующего. Для вас все старое — плохое, все новое — великолепно, духовные и материальные традиции — пустой, не заслуживающий внимания хлам, нет старого, нет традиции — одно голое, пустое место! Ничего! Нет духовной узды, простор, свобода страстям человеческим! Убить человека во имя идеи — раз плюнуть. Побеждает тот, кто сильней и нахальней, опричнина, разделяй и властвуй! Совесть, честь, сострадание — все летит к чертовой матери, остается одна борьба, борьба взаимоуничтожения, оставляющая за собой запустение и страх. Горе такому народу, гибель такой стране и нации!..

Прозоров страдальчески сморщил лицо. Сдавливая лысый выпуклый лоб пальцами обеих рук, он растерянно стоял посреди комнаты. Отец Ириней молчал по-прежнему, Степан Иванович Лузин встал и, спокойно улыбнувшись, произнес:

— Выслушайте и меня, Владимир Сергеевич. После всего, что вы тут наговорили, я, как коммунист, не имею права молчать... Вы сказали вначале, что сомневаетесь. Сомневаетесь в праве большевиков переделывать мир. Кому же, по-вашему, принадлежит это право?

— Никому! — выкрикнул Прозоров.— Никто не имеет этого права.

— Да? — Лузин добродушно сощурился.— Но это же глупо, Владимир Сергеевич. Вы боитесь борьбы и потому отрицаете право на борьбу. Но каждый человек имеет право на активные действия. Больше того, человек действует даже тогда, когда он ничего не делает. Вы согласны?

— Н-не совсем... Н-но, допустим. Что дальше?

— А дальше выходит, что я предпочитаю сознатель-

ное и коллективное действие. То есть борьба — это не только право, но и моя обязанность.

— Ах, Степан Иванович, Степан Иванович...

— Вам нечего возразить.

— Так можно оправдать любое, даже преступное действие.

— Что значит преступное? С точки зрения фабриканта экспроприация фабрики — действие безусловно преступное. А с точки зрения рабочего? Десятка, сотни рабочих?

— Вы же знаете, экспроприацию земель и фабрик я отнюдь не считаю преступным действием...

— Вот вы и признали право на переделку мира! — рассмеялся Лузин.— Мне остается доказать только, что большевики воспользуются этим правом лучше, чем монархисты, кадеты, эсеры и прочие господа. Мы уже доказали это на практике, мы переделаем, уже переделали мир быстрее, чем кто-либо.

— И безболезненней?

— Да. Если хотите, и безболезненнее и быстрее.

Прозоров усмехнулся, продолжая ходить по комнате. Отец Ириней, глубоко задумавшись, сокрушенно смотрел в землю, и Степан Иванович с улыбкой оглядел их обоих.

— Так вот...

Он осекся на полуслове. Коридорные половицы заскрипели от тяжелых шагов, дверь распахнулась. Сопронов, придерживая руку за пазухой, встал в дверях, за ним чернела красивая голова Митьки Усова. Лузин вспыхнул, сдерживая раздражение. Шагнул им навстречу.

— В чем дело, Сопронов?

Игнаха, не отвечая и не вынимая руки из-за пазухи, отодвинул его и прошел на свет.

— Так... Три часика... Вот, зашли с Усовым на огонек.

Отец Ириней продолжал печально глядеть в пол. Прозоров не пытался скрывать ироничной и тоже грустной ухмылки. Игнаха подошел к угловому столику, взял книгу и полистал.

— Так. Лёв Толстой. Сочинение. Где еще эти сочинения?

— В шкафу, Сопронов, в шкафу,— сказал Прозоров.

Сопронов кивнул Митьке Усову. Тот подошел к шкафу, где стояло с десяток томов сочинений Толстого. Открыл дверку и взял книги под мышку.

— Почему вы забрали книги? — громко сказал Лузин.— Усов, положите книги! Зачем это, Сопронов?

— Затем, зачем надо! Вот, пожалуйста...

Сопронов бросил на стол номер газеты «Правда».

— Сейчас же оставьте книги и убирайтесь домой! — Лузин побагровел.

— Домой? Домой-то мы уйдем. А вот с тобой, Степан Иванович, разговор завтре... Видишь? Прочитай, ты грамотный...

Сопронов развернул «Правду» и ткнул пальцем в правый верхний угол. Статья Ольминского под заголовком «Ленин или Толстой?» занимала две колонки. Лузин отпихнул газету и, не прощаясь с хозяином, пошел, хлопнул дверью.

Держа книги под мышками, они вышли из флигеля. В низкой, но широкой кухне, где обитал Митька, Сопронов не раз останавливался ночевать. Сегодня он бросил книги к порогу и, не разговаривая, снял серый, перешитый из чьей-то шинели верхний пиджак, положил шапку на помост около печи, где обычно спал. Принюхался к табачному дыму и еще к чему-то, отвернулся. Усов сел за стол, достал из-под лавки початую бутылку. Хромая Митькина нога, простреленная колчаковскою пулей, торчала далеко в сторону, она не сгибалась в колене.

— Игнах? — Усов тряхнул красивой нечесаной головой.— Садись!

Сопронов ничего не ответил. Он расстелил на помосте ватный пиджак, в изголовье шапку с завернутым в нее наганом и накрыл ее другим, костюмным полосатым пиджачишком. В кухне было жарко. Сопронов, не обращая внимания на Митьку, снял валенки, расправил портянки и повесил сушиться на печке. Усов стукнул по столу кулаком:

— Брезгуешь?

— Да замолчи ты ради Христа, замолчи,— зашумела с печи жена Митьки Любка.— Всю ночь не дают спокою, робят-то с ума сведешь!

Но трое Митькиных ребятишек спали крепко под тулупом, на соломенных холщовых постелях. Митька не отозвался на упрек жены. Налил стакан Сопронову. Тот молча, не снимая штанов, лег на лежанку. Митька махнул рукой:

— Ну, Павлович... не знал я, что ты такой сурьезный.

— Пить не буду.

— Брезгуешь? А ты знаешь, отчего Усов пьет? Нет, не знаешь?

— Не знаю и знать не хочу.

— Это... Это почему? — Митька хотел встать на хромую, негнущуюся ногу, но не мог.— Павлович, а Павлович?

— Ложись, дай людям спокой.

— Спокой! Дай вам спокой. А кто мне спокой даст? У меня, может, тут...— Митька стукнул кулаком в грудь.— У меня, может, все запеклось, кровью, может...

— Пей больше...

— И пью! А знаешь? А что думаешь? Ежели у тя наган, так что? Ты уж и не выпьешь с Усовым? Да?

— Нет, не выпью.

— А пошел ты... в таком разе! Все гады...

Митька налил целый стакан и в три глотка выпил водку.

— Да я... Я с Авксентьевским... в Четвертой армии... Мне сам товарищ Авксентьевский... Да что тебе говорить...

— Вот завтра поговорим. На свежую голову.

Митька опьянел быстро.

— Ты, Игнаха, меня не ругай!

— И ругать не хочу, а поговорим.

— Ну и поговори! Поговори! Я тебя не боюсь! Я член с семнадцатого году, ты молокосос против Усова! Мне товарищ Авксентьевский в Четвертой армии. Вон у Данила спроси. А Колчака ты нюхал? Нет, а ты Колчака нюхал хоть с эстолько?

— Да усни ты, Митрей, ради Христа усни! — вновь сказала Любка.

Усов, глотая слезы, налил в стакан и залпом допил. Соленая капуста долго не попадала ему в рот, он бросил ее на пол, зажал кулаками голову. Слезы текли из Митькиных глаз по черной щетине.

Сопронов поглядел на Митьку с горьким презрением. В душе его шевельнулась жалость, но она быстро сменилась новым, еще более твердым презрением и гордостью за что-то неясное, еще не оформившееся. Он брезгливо бросил окурок.

Не нюхал... Да, Колчака он, Игнаха, и впрямь не нюхал. Зато он нюхнул много другого. Много кое-чего нюхал

Игнаха, не перечесть всего, да и считать не Митьке Паранинцу... Он не забыл, как еще в пятнадцатом году лежал в борозде, боялся идти домой. Как заряд соли, пущенный в него сторожем прозоровского сада, разъедал спину и ягодицы, как ходил босиком по осенним щипякам, как его, Игнаху, били все подряд. Все, начиная с отца и кончая тем же Паранинцем. Ему, Игнахе, вовек не забыть и другие обиды: как жил в бурлаках и как свои же девки не ходили с ним ко столбушке. Это тогда он поклялся никогда не приезжать больше в Шибаниху. Но он приехал. Он доказал всем, кто он такой, и докажет еще тысячу раз. Он готов на смерть за пролетарское дело. Они узнают еще, кто такой Игнаха Сопронов, теперь он нашел свою дорогу. Он пойдет везде, куда пошлет его партия, он сделает для нее все. Не нюхал... Не пьяному бы Паранинцу говорить об Игнахе, прикусил бы язык... Не зря и Лузин и Микуленок стоят за Митьку горой — они все заодно. Только еще поглядим, чья возьмет. Сопронова знают не только в уезде... Потому что Сопронов тверже всех этих липовых коммунистов вместе с Лузиным. Это они, они продали революцию! А он, Сопронов, революцию никогда не продаст и не выдаст, его еще будут знать. Будут, будут знать Игнаху все, каждый буржуйский прихвостень!

Сопронов с ненавистью взглянул на Митьку. Тот пел теперь песню.

Пел приятно, совсем не громко, пел и не путал мотива. Он пел протяжно, голос его был трогательно беспомощен, и чисто, слегка рокоча, очень красиво рождались в его сердце слова, они уплывали от Митьки, и он знал, что это самые чистые, святые его слова, слова, которые выводит не он, Митька Усов, а его душа, его голос. Потухший окурок цигарки торчал возле обрамленного черным волосом уха, лампа угасала на деревянном без скатерти столе, а Митька Усов пел песню:

Под частым разрывом гремучих гранат
Отряд коммунаров сражался,
Под натиском белых наемных солдат
В жестоку засаду попался.
Навстречу им вышел старик-генерал,
Он суд объявил беспощадный,
И всех коммунаров он сам привлекал
К жестокой мучительной казни.
Мы сами копали могилу свою...

Митька встрепенулся, вскинул зажатый кулак куда-то высоко в сторону и выдохнул:

Готова глубокая яма!

А дальше, тише и сдержанней, снова слушая свой голос, пропел:

Пред нею стоим мы на самом краю,
Стреляйте же верно и прямо!
В ответ усмехнулся старик-генерал:
— Спасибо за вашу работу,
Вы землю просили, я землю вам дал,
А волю на небе найдете.
Так целься ж вернее, стреляй и не трусь,
Пусть кончится наша неволя,
Да здравствует наш коммунарский союз,
Рабоче-крестьянская воля!

Лампа медленно гасла. Усов упал черной головой на руки и заплакал как-то совсем тихо, бесшумно, лишь вздрагивая мощными плечами, обтянутыми полосатой сатиновой рубахой.

Сопронов повернулся головой к печному щитку, но не успел уснуть. Топая в коридоре большими разношенными валенками, прибежала виковская уборщица.

— Игнатей Павлович! Зовут. На тилифон вызывают, говорят, срочно надо. Из уезду.

Сопронов вскочил, быстро оделся. Он сунул наган во внутренний карман пиджака. Обогнал по дороге уборщицу, вбежал в остывшее за ночь помещение волисполкома. Уездная телефонистка, сбиваясь и повторяя слова, долго диктовала ему телеграмму:

«Секретарю Ольховской ячейки товарищу Сопронову. Срочно. На основании вышестоящих директив получен циркуляр зав. отделом по работе в деревне Вологодского губкома тов. Фомина. Во исполнение этого циркуляра вторично предлагаем усилить работу по созданию в волости групп бедноты, развернуть борьбу с классово чуждым элементом в системе кооперации и Советов. Предлагаем в двухдневный срок провести собрание ячейки и собрание бедноты по этому вопросу. О результатах лично сообщить в укоме ВКП(б).

Секретарь укома Н. ЕРОХИН
Зав. АПО Я. МЕЕРСОН».

XV

Акиндин Судейкин три года тому назад извел всю скотину и завел жеребца. Сочиняя на беседах свои веселые песни, Акиндин не жалел и себя:

Нет коровы, нет овцы,
Одне остались жеребцы...

Жеребец, по кличке Ундер, надежно кормил и поил, обувал и одевал всю семью. Это был красивый зверина гнедой масти. Судейкин надрубил для него короткий хлев и переделал ворота, отчего изба стала меньше двора. Дом «вылягнул», как говаривал Савватей Климов, который соперничал с Акиндином по пригоножкам.

Кобыл гоняли в Шибаниху даже из других волостей. Акиндин, жалея хозяев, брал за случку чем попало: деньгами, овсом, солодом, медом, трепаным льном, кожами, холстами и куриными яйцами. Все шло впрок, а что было лишним, все менялось. Одни куриные яйца, особенно свежие, были у Судейкина на вес золота. Когда в день пригоняли не одну кобылу, Судейкин брал бадью, ополаскивал ее крутым кипятком. Затем шел на реку к самому верхнему и чистому месту, где бабы не толкут белье. Приносил полбадьи воды, вбивал десяток свежих яиц. Бросал в бадью пару щепоток соли и мешал содержимое чистой лучинкой. Ундер встречал его грозным храпом, колесом выгибал могучую шею и косил кровяным глазом. После такого пойла, через час или два, жеребец ярился и бил копытом. Он, как былинку, выносил легкое тело Судейкина из конюшни. Акиндин, вися на аркане, не замечал, как вылетал с Ундером на улицу. После двух садок Ундер враз опадал, становился спокойным, будто котенок.

В это утро Акиндин долго колебался, ехать или не ехать кататься. У него были хорошие розвальни и хомут по ундеровскому плечу. Но дуга, седелка и вожжи никуда не годились. При первом же мало-мальски сильном рывке черемуховая дуга могла согнуться, гужи сползли бы с оглобель и жеребец выметнулся бы из упряжки. Веревочные же вожжи наводили на Акиндина тоску...

Акиндин знал, что сегодня вся Шибаниха выйдет на дорогу, будут глядеть, кто кого объедет. В прошлогоднюю масленицу вышли в поле, обставили всех в деревне, трое: Иван Никитич Рогов на своем Карьке, Евграф на

кобыле Зацепке и, как это ни удивительно, Савватей Климов — на кобыле Рязанке. Рязанка была уже о шести жеребенках, и непонятно было, как это Савва вышел в первую тройку. Победителем получился Евграф, и Судейкин хорошо помнил, какая обида была в душе из-за того, что он не мог тогда выехать на Ундере. Но в прошлом году у него не было даже хомута, а вот нынче хомут на Ундере был, а Судейкин все равно не может выехать. «Ну, ладно, вожжи,— думал он,— вожжи попрошу у Жучка ременные, может, и даст. А вот дуга?» Дугу надо было искать, просить, а просить можно только у Саввы Климова. Потому что только эта дуга и подойдет Ундеру, одна во всей Шибанихе. Судейкин хорошо знал климовскую дугу. Могучая, высокая, с концами, обитыми железом, с колечком для колокольчика, она вся была покрыта хитрой резьбой и раскрашена в пять цветов. Климов не зря заносился перед крестьянством своей дугой. Не только дугой, всей упряжью. Савватей шорничал сам, упряжь была у него самолучшей по волости, шлея с кистями и медными бляшками, седелка о двух копылках тоже с бляшками.

«И седелку бы не мешало,— думал Акиндин в тревоге.— Седелка бы да дуга... Эх, мать честная!» Акиндин почесал в затылке и вышел на улицу.

Посреди деревни ребятишки собирались жечь масленицу. Они волокли на дорогу большое чучело на каркасе из довольно толстых еловых чурок, обвязанное соломой. Вместо головы на самом верху красовался треснутый чугунок, а на растопыренных полутарометровых руках были надеты непарные рваные рукавицы.

— А вот я вас! — крикнул Судейкин.— Давай волоки с дороги, тут не дело.

Ребятишки послушались. В яме от сгоревшего на дороге чучела могла сломать ногу любая лошадь.

— Спички-то есть? — спросил Судейкин.

— Есть! Есть! — радостно заорала орава.

— Ну, чего у вас и нет,— улыбнулся Акиндин и остановился, чтобы взглянуть на сожжение масленицы.

Ребята всем гуртом установили чучело в снегу. Сережка, внучек Никиты Рогова, чиркнул спичку, солома загорелась. Через минуту чучело запылало во всю ивановскую. Ребятишки запрыгали вокруг, закричали сами не зная чего. Они орали и взвизгивали, приговаривая, припевая что-

то, каждый свое, но неизвестно чего, какие-то звуки и никому не ведомые слова. Акиндин вспомнил, что и он когда-то вот так же плясал вокруг горящей масленицы, топтался и выкрикивал такие же непонятные слова.

«Вроде бы рано жечь-то,— подумалось ему.— Масленица-то только началась. Ну да теперь все сдвинулось, пусть жгут». Он бегом, торопясь в тепло, нырнул в климовские ворота. В избе Судейкин поздоровался:

— Савватей да Иваныч!

— Снимай портки на ночь,— отозвался Савва.— Чего без шапки-то бегаешь?

Климов только что отпил чай и нюхал табак, сидя на лавке в шубной жилетке, в старых валенках. Он терпеливо ждал, когда накатится и можно будет чихнуть. Но чих не приходил, и Савва опять ждал, нюхал и ждал. Старуха Гуриха, невестка-вдова Анфия и внучка Устя основывали для тканья пряжу. Акиндин, чтобы не затягивать дело, сразу спросил про дугу. Савва наконец чихнул и коротко сказал:

— Нет, не дам. Не проси.

— Притчина?

— Притчина одна: сам поеду.

— Да куда ты на своей кобылешке? — возмутился Судейкин, но этого не надо было делать. Это совсем рассердило Савву Климова:

— А что моя кобылешка? Моя кобылешка о прошлом годе всех обставила! Кабы не завертка, я бы и Евграфу не уступил, не то что Рогову!

— Ну, уж Евграфу-то ты бы уступил, не ври.

— Не ври! Я и говорю, что кабы не завертка. Да я и твоего Ундера обставлю на своей кобылешке! Бери, мать-перемать, дугу! И седелку бери! И вожжи! Я тебя и на веревочных сей минут обойду!

— Не обойдешь! — сообразил Судейкин.— Меня-то с Ундером уж никак! Нет!

— Хошь на спор?

— Давай! Об чем?

— А вот ежели проиграешь, пусть мою кобылу твой Ундер три года обслуживает. Бесплатно. А ежели твоя возьмет, бери, мать-перемать, дугу, не скажу ни слова!

Они ударили по рукам, Савва сходил за дугой и седелкой, а через минуту Акиндин побежал по деревне с дугой: запрягать Ундера. Евграф увидел в окошко, как Судейкин

бежал с климовской дугой, бросил все и тоже ударился запрягать. Вера, приходившая к Евграфу за полуредким решетом, прибежала домой, и Иван Никитич Рогов заерзал на лавке: «Где Пашка-то? Верка, беги за Пашкой». Всю Шибаниху будто проткнули насквозь шилом. Клюшин оставил все дела, пошел запрягать, Иван Нечаев сунул бабке своего Петруху, запереодевал рубаху. Впрочем, его все равно вызывали в волисполком.

Павел Рогов (его все окрестили теперь Роговым) не думал ехать кататься, хотел весь день корить бревна. Но когда на бугор прибежала розовая от волнения Верушка, у него взыграло под левой лопаткой. Придя домой, он велел жене переодеваться в праздничное. Торопливо, кое-как смыл с ладоней смолу, тоже переоделся.

Иван Никитич выкатывал из-под въезда корешковые санки. Вера, в казачке и в любимой своей кашемировке, торопила мужа, бегала от окна к окну:

— Ой, Клюшин засупонивает! Ой, Паша, у божата подседлывают!

Иван Никитич выводил занузданного Карька. Павел проверил у санок завертки, Верушка принесла беремя суходольного сена. Карько, обычно спокойный, сейчас всхрапывал и переступал с ноги на ногу: заразился общим азартом. Он, жмурясь, сам сунул легкую костлявую голову в подставленный хомут. Павел запряг проворно и с шиком. Двумя плавными движениями, ухватившись за супонь и упершись ступней в клевещину, стянул хомут, замотал супонь. Потрогал дугу, она стояла упруго и прямо. Тем временем Иван Никитич положил под шею Карька седелку, застегнул подпругу и подседлал, а Верушка расправила ременные вожжи и пристегнула их железными кляпышами в кольца удил. Дед Никита, сдерживая волнение, вышел во двор, подошел к Павлу:

— Благославляясь... Шибко сперва не гони, не горячись, а объезжай не через целок, норови у гумна на дороге.

— Ладно, дедушко.

— Матке с отцом поклон сказывай.

Иван Никитич подвязывал к дуге колокольчик, когда к ним, не торопясь, выкинув из худых деревянных саней ногу, подъехал Савватей Климов.

— Ночевали здорово!

— Савватей Иванович, Савватей Иванович! Чего Гуриху-то дома оставил?

— Гуриха-то не убежит! А вот как бы от Пашки-то не отстать, вот что. Да и с Акиндином-то я поспорил.

— А Евграфа, значит, совсем не боишься? — засмеялся Иван Никитич.

— Как не боюсь, побаиваюсь. А вон еще Ванюха Нечаев пустит свою...

Но Иван Нечаев вовсе не собирался выезжать на своей лошади. Она и под гору ходила осторожно, пешком, переступала лохматыми копытами редко-редко. Он решил ехать вместе с Акиндином, и теперь они обратывали Ундера. Подъехал Клюшин, тоже в корешковых санках, подрулил Евграф в деревянных санях, расписанных по красному черным хмелем. Новожилов тоже выворачивал из заулка. Еще шесть или семь повозок скопилось на том конце Шибанихи: председатель Микуленок на сельсоветском мерине и поп Рыжко на дровнях, Селька Софронов тоже на дровнях, Володя Зырин, дальше виднелись повозки Орлова, Куземкиных, Качаловых и Парфеновых. Почти все, у кого были кони, запрягли, один Жучок жалел свою лошадь и не показывался из дома.

Вдруг сильно и грозно заржал у дома Судейкиных Ундер. Все смолкли, кони уставили уши и вскинули головы.

— Ундер! — Савва Климов поднял палец, держа рукавицу и вожжи другой рукой.— Не Ундер, а весь енерал, вишь как воздух-то колыхнулся!

Павел расправил вожжи. Вера на секунду прильнула к мужу и, радостная, прикусила губу. Отец отпустил Карька, санки дернулись. В тот же момент, выгибая крутую шею, крупной рысью выметывая в ездоков тяжкие спрессованные ошметки снега, жеребец вынес розвальни с Нечаевым и Судейкиным на средину деревни. Припав на колено, Акиндин изо всех сил тянул вожжи, ему помогал Иван Нечаев. Жеребец по-прежнему выгибал шею колесом, протопал деревней, развернулся и, екая селезенкой, ударился в поле по Ольховской дороге. Савватей гикнул, пустил кобылу вскачь по той же дороге. Одновременно отпустил вожжи Евграф. Только Павел все еще крепко держал Карька. Вера, чуть не плача, тормошила, хваталась за мужнин рукав. Павел легонечко взыкнул.

Карько в неуловимой заминке наставил одно ухо вперед, другое назад, будто проверяя, правильно ли он понял, переступил с ноги на ногу. Легкое движение вожжины

окончательно разрешило его мимолетное сомнение, и он пошел вначале не быстро, но все больше набирая темп и не выкладывая сразу все силы. Он хорошо знал, где надо чуть свернуть, чтобы сократить путь, а где замедлить ход, чтобы не выкинуть седоков на раскате. Он сам переводил полоз на правый или левый след и без подсказки набирал ход, когда открывался хороший участок.

Павел только теперь по-настоящему оценил Карька и был благодарен ему, как был благодарен сидящей рядом жене, тестю Ивану Никитичу, Аксинье, даже деду Никите. И Сережке — за что, не знал и сам, а может, и не замечал той благодарности, только чувствовал ее и любил всех.

Карько был для него равным среди них. Это было тоже одухотворенное существо, понимающее его, Пашку. Преданное, родное и верное, доверившее ему себя существо. Павел понял это еще с того грозного дня, когда как раз после свадьбы ездил за сеном и увидел столбовое для мельницы дерево. Может быть, Карько своими легкими решительными прыжками по глубокому снегу, с возом, помог Павлу решиться на невиданное для Шибанихи дело. Помнит Пашка и день помочей, и день, когда ездил за столбом: без Карька, без его лошадиного опыта ни за что бы не вывезти из лесу того столба. Да и не только столба. Три сотни дерев, которые лежали сейчас на отцовском угоре, без него, без Карька, и теперь бы стояли свечками...

Павел был счастлив сейчас. Счастлив своей здоровой молодостью, Карьком, охающей от восторга Верой, а также тем, что ночует сегодня в родном доме.

Он одной рукой обнял жену: Верушка прильнула к нему, радостная и доверчивая.

— Держи рукавицы, эх! — Он бросил ей рукавицы и широко раздвинул вожжины. Это был решительный знак для Карька. Лошадь пошла быстрее, ноги ее замелькали неуловимо, ритмично. Воздух стал упругим, санки понеслись по дороге. Но Павел не давал мерину переходить на галоп. Надо было до гумен догнать дядю Евграфа, а после обойти Савватея, который сразу вскачь пустил Рязанку. Ундер шел вперед по Ольховской дороге, и Нечаев издалека показывал Климову кукиш.

Павел оглянулся, сзади никто вроде бы не поджимал. Целая стая упряжек растянулась вдоль Шибанихи. Визжали девки, играла зыринская гармонь. У гумен Евграф остановил вдруг Зацепку, уступая дорогу.

— Ты чего, божат? Поезжай!

— Давай! — Евграф сдерживал разгоряченную и обиженную остановкой Зацепку.— Поезжай, я шажком. Мне на ей вешное пахать.

Павел не понял сразу, что дядя не хотел лишать его первенства. Короткая заминка охладила Павла, Карько сбавил скорость, дорога стала узка. Теперь обойти Савватея можно было только у росстанной развилки. Климов вовсю нахлестывал кобылу, догоняя Судейкина и Нечаева. Азарт Павла затухал, слова Евграфа вернули спокойное здравомыслие. «Пусть едет, торопиться некуда»,— подумал он и взглянул на жену. Такая досада, растерянность, чуть ли не слезы остановились в ее больших синих глазах... Верушка, не отвечая на взгляд, как-то жалко опустила голову, теребила его рукавицы. Прядка косы выбилась из-под кашемировки. Почему-то Павла особенно поразила это родная, беспомощно выбившаяся прядка.

— Ты чего, а? — попробовал он рассмеяться.

Но Вера склонилась еще больше, и вдруг Пашка все понял. Его охватило жаром стыда, он весь, от ушей до ключиц, вспыхнул. Горло сдавила жалость и нежность к жене. Прежнее безрассудство холодком занялось в животе и разлилось по всему телу, делая Павла легким и радостным. Он свистнул, разводя вожжины. Карько прянул стремительным нервным ухом и пошел вскачь, колокольчик замолк, в передок саней и в лицо полетели из-под копыт ошметки. Пашка плечом прижался к очнувшейся Вере, она схватила его за это плечо и ойкнула:

— Ой! Паша... Пашенька...

Она рассмеялась, захлебнулась от встречного ветра, сжала белые зубы, мотнула головой, сбивая на воротник радужную кашемировку.

Павел привстал на сиденье:

— Ну! Карько! Ну!

Длинное тело коня стелилось в снегах, вдоль узкой прямой дороги. Павел видел лишь волнообразные движения от головы до хвоста. Он не услышал, как железные шины санок тонко запели, не слушая смеха и возгласов восторженной, перепуганной, радостной Веры; стоя в санках, он крутил над головой вожжи. Расстояние между Павлом и Саввой быстро сокращалось. Карько стелился по дороге. Свежий, упругий, пахнущий сеном воздух сорвал с головы шапку. Павел успел подхватить шапку, бросил ее в пере-

док санок и свистнул еще, но Карько был от Саввы уже в двух или трех метрах. Савва, погоняя кобылу, то и дело затравленно оглядывался, но уже приближалась развилка росстани... Когда копыта Карька ударили в розвальни Климова, Павел неуловимым движением вернул взбешенному коню спокойствие, сделал красивый маневр и гикнул. Упряжка шла какой-то момент правее, чуть сзади, но тут же кони сравнялись и пошли голова в голову.

— Эх, Савватей да Иванович! — заорал Павел.

Не слыша матюгов оскаленного Саввы, он гикнул снова, Карько напрягся, сделал последний рывок и вышел вперед, медленно сбавляя опустошающий бег. Павел перевел Карька на рысь и тоже, опустошенный, опустился на беседку саней.

Теперь Вера смеялась, махая отставшему Савватею. Они легко догнали тяжеловестного Ундера, обошли на новой развилке и под азартные крики Нечаева вышли вперед. Сосны ольховского волока плыли мимо, мелькали березки на пустошах. До Ольховицы оставалось полчаса спокойной езды.

Савватей решил-таки обставить Акиндина с Нечаевым. Он нагнал жеребца при выезде в Ольховское поле. Акиндин обернулся, показал Климову фигу и нажал на Ундера. Дескать, не видать тебе, Климов, дуги как своих ушей! Однако Савва не собирался уступать дугу. Он был уверен, что выиграет, и снова хлестнул Рязанку. Рязанка лишь вздрогнула, но не перешла не только на галоп, но и на рысь. Савватей растерялся, не зная что делать. Впереди, метрах в двухстах, ехали шагом Акиндин и Ванюха Нечаев, родная дуга маячила в глазах Савватея. Рязанка не хотела бежать. Но тут случилось самое непредвиденное. Утомленный гонкою Ундер, видать вспомнив свое главное, данное ему природой назначение, остановился, сделал угрожающий всхрап, заперетаптывался и призывно заржал. Рязанка, вообще-то равнодушная к этому зову, легонько отозвалась, и Ундер окончательно потерял управление. Нечаев и Акиндин ругались, бились с ним, махали вожжой, но все было напрасно: Савватей Климов нагнал их. Жеребец заупрямился еще больше. Савва ударил кобылу кнутом, обогнал и, не оглядываясь, покатил к деревне Ольховице. Но теперь жеребец опять шел за ним по пятам, угрожая раздавить мощными копытами и Савву, и его розвальни. Нечаев непрестанно кричал, чтобы Савва дал доро-

гу. Акиндин тоже матерился. Тогда Савва встал, показал в свою очередь фигу и крикнул преследователям:

— Шиш! Шиш, голубчики, я вам не дамся, не из таковских!

Но жеребец наседал сзади, его громадная мохнатая голова моталась над Саввой, кидая кровавую пену.

Савватей начал бить Рязанку кнутом по ногам, это было его последнее средство. И он въехал в Ольховицу первым, подкатил прямиком к лавке...

У Рязанки мелко дрожали грудные мускулы, ноги вздрагивали и подкашивались, она держалась еле-еле и готова была упасть каждую секунду. Ее не надо было привязывать к коновязи, где стояло с десяток других упряжек. Она храпела, бока ее часто вздымались...

Савватей отпустил подпругу, разнуздал. Бегая вокруг лошади, он обтер ее клочком сена, накинул на нее свою же шубу, уговаривая:

— От молодец, ой, обставила! Обошла такого верзила, от, славутница! Где им против нас? Слабы в коленках! Да мы этого Ундера...

Судейкин с Нечаевым поставили жеребца на задворье у знакомых, распрягли, привязали за толстый аркан и, не попив даже чаю, явились к магазину.

— Что, выкусили? — кричал Савватей Акиндину.— Да моя Рязанка, кабы шиненные розвальни... Не уступлю жеребцу ни в жизнь.

Акиндин подошел, хлопнул рукавицей:

— Ладно.

— Вот и ладно,— радовался Климов.— Теперь твоему Ундеру хана, три года будет бесплатно обслуживать Рязанку-то.

Судейкин поглядел на кобылу.

— Нет, Савватей Иванович,— сказал он.— Ундер ей больше не понадобится.

— Думаешь?

— И думать нечего, само видно. Ишь, у ее и губа отвалилась, все поджилки трясутся.

Савватей Климов только теперь понял, на что стала похожа кобыла. Он сокрушенно кашлянул, крякнул:

— Ишь ты, и правда, едрена вошь... Вроде бы и кобыла-то ничего. Совсем была новая...

— Новая,— ухмылялся Судейкин.— Кобыла новая, да дыры старые, вишь, еле пышкает.

Люди, ольховские и приезжие, сгрудились вокруг. Здоровались, подходили новые, подъехали многие и шибановские.

— Ундеру тут и делать нечего,— сказал опять Судейкин, обращаясь ко всем.

— Устоит, отпышкается,— сказал кто-то, и Савва обрадовался поддержке:

— Ну? Да ее... не променяю ни на какой трахтур! Ты, Акиндин, молчи, проиграл, дак, пожалуйста, молчи.

— Да что проиграл-то? — послышались голоса.— Судейкин, что ли, проиграл-то?

— Ну!

— Обставила Ундера!

— Дугу хотел выспорить.

— Климовскую?

— А она и обставила.

— Вроде и духу-то в одной ноздре, а гляди?

— Три года, говорят... жеребца бесплатно.

— Ну, Савватей Иванович, молодец.

— За такое дело надо не три года, а всю жизнь. Ты тут, Савва, проглядел маленько, надо было спорить на все сезоны.

— Много ли сезонов-то будет? — закричал вдруг мужичок из дальней деревни Усташихи.— Вон афишка-то висит, севодни собранье.

— Какая афишка?

— Игнаха Сопронов бедноту собирает, будут народ делить. На три разряда.

Ольховица была полна сегодня народу. У кооперации, у ВИКа, у многих домов стояли распряженные кони, хрупали сено. Санки, корешковые и крашеные деревянные, розвальни стояли у коновязей вплотную. Стаи подростков катались с горы на козлах и корегах, взрослые девки и парни катались на слегах, старики и старухи, гости и гостьи направлялись в церковь к обедне, останавливались глядеть выезды.

То тут, то там сказывались гармони, но затихали, было еще рано гулять. Ольховские тещи, накормив зятьев блинами, сбирались компаниями, судачили обо всем на свете, разбирали по косточкам ребят и девок. У кооперации, около магазеи сдавали хлеб, говорили о ценах:

— Разве это дело? Рожь рупь сорок четыре пуда, а сдай, не греши!

— Истинно!

— У меня вон по три рубля покупают, с лапочками.

— Какая экая сто семая-то?

— А такая! Загребут на казенный харч, и будешь трубить.

— У меня так и ржи всего ничего... Да налог требуют.

— Кеша, а тебя пошто от налогу-то освободили? — спросил Африкан Дрынов, дальний родственник Савватея. Кеша Фотиев тряс мотней около магазеи, помогал выгружать мешки в надежде на угощение. На вопрос Дрынова Кеша хохотнул и сказал:

— На вино, понимаешь, не хватало. Пьян, да умен — два угодья в ем.

— Насчет ума не знаю, а насчет вина все подходит,— заметил Дрынов.

Толпа вдруг шарахнулась в сторону от дороги: по улице шпарила упряжка Володи Зырина. В допотопных санях сидел Носопырь и чинно правил. Рядом с ним сидела старуха Таня. Вызванные на собрание, они в разное время, пешком, вышли из Шибанихи. Поехавший кататься Володя Зырин подсадил сперва Таню, после Носопыря. Въезжая в Ольховицу, Володя подал вожжи Носопырю, а сам развернул гармонь. Он играл что было мочи, а Носопырь правил, сидя обок с Таней. Народ оценил это событие по достоинству:

— Чего, Володя, молодых-то куда повез?

— Да списываться, чего спрашивать?

— Хорошее дело.

— Больно добра свадьба-то. Это откуда эдаки?

— Шибановские!

— С богом, в самое время.

«Молодые», с гармонией, проехали прямо к волисполкому, и все опять сгрудились вокруг Савватея, обсуждая будущее его геройской кобылы.

Данило Пачин еще до Пашкиной свадьбы проводил на службу в армию старшего сына Василия и теперь каялся, что отдал Пашку впримы. Поездка в Москву его обнадежила. Авось восстановят в правах, возьмет Данило кредит, можно подумать и об аренде земли. Только без Василия, с

женою и малолетком Олешкой много не развернешься. Устарел Данило, годы не те. Вот почему украдкой от Катерины он размышлял о том, что Пашка с женой, может, согласился бы переехать обратно в Ольховицу. Но когда Данило узнал, что сын начал строить мельницу, думы эти сразу отпали... Не поедет Пашка обратно, и думать нечего. Уродился сынок упрям, даже неизвестно в кого. Ох, сгубит его эта мельница! Данило вздыхал, хотел отговорить сына от проклятого дела. Но когда узнал, что в пай вступил и Евграф и Клюшин, передумал: «Пусть. Только эти-то дураки чего думают? Разорятся вдрызг. Может, и сделают мельницу. А после что? Не те сроки, ох, не те! Не та нынче пора».

Чувствовал это Данило и Пашку жалел, но он знал и то, что теперь его ничем не остановить.

И все же все последние дни Данило жил с тайной какой-то радостью. Он даже помолодел и ущипнул как-то Катерину, а сына Олешку все гладил по голове. Не раз покупал ему леденцов да уговаривал, чтобы лучше делал уроки. Олешка учился в первой ступени. Он не привык к особинкам и дичился подарков.

— Олешка, это чего у нас с отцом-то? — удивлялась и Катерина.— Каждое утро будто Христов день.

Данило ничего на это не отвечал. Он ждал чего-то с часу на час.

В субботу перед первым днем масленицы Катерина натворила корчагу овсяных блинов. Хоть и не зять приезжает, а сын, да все равно масленица. Пашка в субботу не приехал, а в воскресенье Катерина утянула Данила в церковь. Данило не особенно любил это дело, но уж так повелось, притом ему хотелось поглядеть на народ.

Отец Ириней был стар, служба прошла невесело, не то что у Рыжка в Шибанихе. После службы отец Ириней сказал короткую проповедь. Данило не больно и разбирался в мудреных словах, понял только, что опять надо терпеть и что любая власть от бога. Домой пришли к полудню. Катерина, наставлявшая самовар, сокрушалась, куда деваться с блинами. Такую напекла прорву, а есть некому. И тут в заулке почуялся колокольчик, пробарабанила губами чья-то лошадь. Данило в одной жилетке выбежал на крыльцо: Павел уже разнуздал Карька. Из санок соскочила на снег румяная от езды Вера.

— Ой, тятенька! — Она подбежала к крыльцу, обмела снег с валенок и отряхнула сенную труху.— Все ли здоровы-то?

— Здоровы, здоровы, все ладно, слава богу. Давай иди к матке, проходи...

Данило помог сыну распрячь лошадь. Они сняли упряжь и обтерли Карька сенным жгутом. Пока Павел затаскивал хомут, дугу и седелку в сени, отец принес холщовую подстилку и накрыл ею вспотевшего мерина.

— Часика через два напою. Чего это? Как в бане выпарили.

— Да объезжал Савватея,— усмехнулся Пашка.— Судейкина с Ундером тоже объехали.

Данило неодобрительно крякнул.

— Ну, пойдем, самовар на столе.

Павел с наслаждением потоптался на родимом крыльце. Подковка, прибитая еще дедком, была на месте, веревочка воротной защелки прежняя. Он знал здесь каждый сучок, на этих воротах и половицах сеней. Обитые рогожею двери в избу открывались тоже по-прежнему, легко, мягко, и той же квашонкой и сухим луком пахло в избе. Он был дома на Васильевых проводинах, но тогда не до квашонки было: провожали Василия всей деревней с гармоньей, с пивом.

Павел успокоил заохавшую мать, снял шерстяное полупальто и шапку, повесил у дверей на деревянную вешалку.

— От Васьки-то было письмо?

— Было одно с дороги-то! — запричитала Катерина.— Говорит, что на море везут, а куды — не сказывают. Ты, Верушка, сняла бы катанки-то. Отец, подай девке теплые.

— Девка...— Павел, подбадривая сразу присмиревшую Веру, украдкой охватил ее тонкую сильную поясницу. Это углядела Катерина, засмеялась:

— Ну, еще не наобнимались! Ну-ко, давай садитесь, со Христом. Отец, нечего прохлаждаться.

Данило достал со шкапа четвертинку. Большая сковорода с маслеными блинами, посыпанными заспой, появилась из печи. Павел щипцами наколол сахару.

Не успели выпить по чашке чаю, как к дому подъехали, сначала одна подвода, потом другая. Первым послышался в дверях бас шибановского попа. Он еще с порога, не поздоровавшись, спел:

Ой, с маленькой пестерочкой
Ходили по грибы!

— Ну, Николай Иванович,— восхитился Данило.— Везучий ты парень, прямо к блинам.

А сосмешалися тропиночкой,
Попали не туды!

Николай Иванович поздоровался, с бабами голосом, с мужчинами за руку.

— Ты, Данило Семенович, не осуди, и ты, Павел Данилович, извини, а я свою кобылу привязал к вашим саням, а в гости пойду к отцу Иринею.

— Да што ты, Николай Иванович! Места хватит, ну-ко, стопочку!

— Не откажусь. Не откажусь, ибо еще в Шибанихе сподобились совокупно с Николай Николаевичем... а вот и сам владыко. Владыко и дево!

— На помин будто сноп на овин! — засмеялась Катерина.— Раздевайтесь.

Микуленок с хохочущей Палашкой вошли в избу. Палашка хваталась за живот, не могла освободиться от смеха:

— Ой, девушки, ой, не выговорить.

— Над чем хохочешь-то?

— А ну ее,— сказал Микуленок.— Сама не знает. Нет, не могу. Сейчас не желательно.

Председатель Шибановского сельсовета отстранил налитую ему стопку.

— Ну, после собранья заходи! — крикнул вслед ему Данило. Все посмотрели в окно, оставит ли Микулин лошадь у пачинского крыльца. Лошадь он не оставил, и от этого Палашка мигом перестала смеяться. Но за столом она опять ударилась в смех:

— Ой, унеси водяной, ой, крестная, дай водицы...

— Да что сделалось-то?

Но то, над чем смеялась Палашка, смешным показалось только ей, и если рассказывать, то оказалось бы не смешно. Перед тем как заехать к Пачиным, Микуленок остановил лошадь у лавки. Он хотел купить Палашке гостинец. Палашка сбегала тем временем за амбар, сделала свое короткое дело и выглянула. Нигде никого не было. Перед собранием улица у кооперации опустела. Чья-то немолодая

лошадь с пустыми дровнями не быстро бежала вдоль по улице, за дровнями волочилась вожжина. Маленький мужичок из деревни Усташиха, без шапки, растрепанный, тщетно пытался изловить вожжину и все приговаривал: «Ох, подержите, пожалуйста!» Он бежал и приговаривал: «Ох, подержите, пожалуйста!» Но подержать было некому, на улице никого не изладилось. Вид этого растрепанного мужичка и рассмешил почему-то Палашку.

XVI

Ольховский ВИК с 1918 года размещался в одноэтажном, крытом железом доме бывшей волостной управы. Дом был построен с тремя комнатами на каждую коридорную сторону и с мезонином, как называли чердачную комнату. Внизу помещался волисполком. Кроме того, одна комната была отдана ККОВу, а другая — под контору двух колхозов, то есть кредитно-машинному товариществу и маслоартели. (Третьим колхозом считалась в волости коммуна имени Клары Цеткин, но вся ее «бухгалтерия» размещалась в сундучке Митьки Усова.) Рядом с конторой колхоза располагалась еще изба-читальня, в мезонине же были свалены старопрежние архивы. Когда секретарем ячейки избрали присланного из уезда Сопронова, Степан Иванович Лузин предложил ему мезонин. Архивы сложили на полу в уборной, а в мезонине за счет бюджета сложили печку-щиток и сделали накат пола.

В мезонине было свежо, но Сопронов не хотел опускаться вниз. Он разбирал посиневшими пальцами бумаги и ждал, когда Лузин сам поднимется в мезонин. Собрание по созданию новых групп бедноты намечалось на двенадцать, а Лузин не поднимался к Сопронову. Уборщица Степанида, топившая в мезонине печку, сказала, что Степан Иванович давно пришел, что народу съехалось густо.

Сопронов, так и не дождавшись к себе председателя ВИКа, решил действовать напролом и самостоятельно. Он взял несколько листов линованной, еще старорежимной бумаги и разграфил их вдоль. В заголовке первой графы он написал: № п/п. Вторая графа само собой называлась ФИО, а третью он обозначил четырьмя буквами: кл. пр.— классовая принадлежность. Оставалось еще место для четвертой графы. Сопронов, подумав немного, надписал: ос. уп.— особые упоминания. Затем он больше часа переписы-

вал с налогового списка фамилии в свой список, устал и, вертя карандаш, подошел к окну.

Внизу, у коновязи, стояло много подвод, кони жевали сено. Около саней крутились собаки, сновали ребятишки с корегами. Подъезжали все новые, самые дальние подводы, много народу подходило пешком.

Сопронов, глядя на себя со стороны, снова поместился на стуле, когда уборщица пришла закрывать трубу.

— Степанида, не видела Нечаева шибановского?

— Давно тут крутится.

— Ну-ко, позови мне его!

Тощая, похожая на весеннюю галку Степанида разогнулась у печки.

— Сам бы сходил. Где он, может, в деревне у кого.

— Найди!

Степанида ушла с добродушным ворчанием.

Сопронов взглянул на шибановские фамилии: всего пять, от силы семь хозяйств были, по его мнению, по-настоящему бедняцкими, остальные сплошь зажиточные и кулаки. Он не курил с того времени, как вступил в партию, но сейчас ему как будто чего-то недоставало. Вспоминая о куреве, подумал: «Опять же, взять и другие деревни. Что ни изба, то и зажиточный, у каждого по лошади и корове, у многих по две, а то и по три коровы. Ожили после земельного передела! Наплодилось за эти годы кулачков, обрадовались Советской власти! Ничего, еще прижмут хвосты, запоют не то. С нэпом-то, по всему видать, товарищ Сталин разделается...»

Телеграмма, подписанная Ерохиным и Меерсоном, лежала на столе, рядом со списками. «...развернуть борьбу с классово-чуждым элементом. Легко сказать! Они вон все — сват да брат, не подступишься, куда ни копни... Из уезда приказывать легче!»

Пахнущий снегом, сеном и лошадью, шумно вошел Иван Нечаев, восторженно тряхнул холодную руку Сопронова:

— Ну, Игнаха, как мы опозорились-то?

Сопронов, сидя за столом, не принял нечаевского восторга. Нечаев ничего не заметил. Свернул цигарку гродненского, начал рассказывать, как они опозорились вместе с Ундером и Судейкиным:

— Ему бы, понимаешь...

— Знаешь чего, Иван Федорович? — перебил Сопронов

и прихлопнул рукой список.— Вот тут у меня вся деревня...

— Дак что? — держа незажженной спичку, удивился Нечаев.— Какая деревня?

— Шибаниха. У тебя сколько коров?

— Одна, знаешь и сам.

— Одна.— Сопровов важно откинулся назад, постукивая по столу пальцами.— А у Рогова, у соседа твоего?

— У Рогова три.

— Три. Есть разница?

— Какая разница?

— Такая, какая е... мать! — разозлился Сопронов.— Ты что, маленький? Вчера на свет родился?

Иван Нечаев, моргая светлыми ресницами, удивленно поглядел на Сопронова. Они были одногодки, к тому же он, Нечаев, и сам служил в армии командиром. Только теперь он заметил, как разговаривает с ним Сопронов. И обида вскипела где-то между ключицами:

— Вот что, Игнаха, ты не темни! Говори сразу, чего надо. И Рогова при мне не паскудь, хорошего мужика паскудить не дело!

Сопронов сузил водянистые, цвета снятого молока глаза, переломил себя и заговорил тише:

— Товарищ Нечаев, мы собираем группу бедноты. Ты знаешь, какие теперь льготы бедноте. Из фонда ККОВ выдаем хлеб, освобождаем от самообложения. Сельхозналог — скидка, либо тоже освобождаем. Тебя первым записываю в шибановскую группу.

Нечаев еще более удивился. Игнаха назвал его не Ванюхой, как раньше, и даже не Иваном Федоровичем, а товарищем Нечаевым. Это обидело его больше всего: с Игнахой они вместе играли в рюхи, вместе уходили на действительную. Даже бурлачили в малолетстве и ходили на игрища — вместе. И вдруг теперь Игнаха сидит за столом, глядит ястребом, называет Нечаева по-новомодному, как в армии. Да еще наговаривает на соседа Ивана Рогова. А с Роговым Нечаевы тоже испокон веку не живали недружно.

— Дак как? — жестко спросил Сопронов.

— А никак! Ежли хошь, вот тебе моя правая! — Нечаев встал.— Дружки были, дружки и останемся! Только в бедноту я не пойду, я не зимогор.

— Не пойдешь, силом не потащим.— Сопронов не принял, не заметил протянутой ему руки.— Запишем и серед-

няком. Только крепким середняком, учти! Пеняй потом на себя!

— Пошел ты к...— Нечаев выругался.— Записывай хоть в зажиточные!

— Время терпит.

Побелевший Нечаев хлопнул дверями.

Сопронов спустился со списками в избу-читальню. Человек двадцать, вызванных по повесткам, сидело на лавках. Дым густо стоял в воздухе, выедал глаза старухам и некурящим мужикам. Мужичок, рассмешивший давеча Палашку Миронову, разговаривал с Носопырем, Селька, брат Сопронова, сидел один на передней лавке, Африкан Дрынов, мужик из дальней деревни, рассуждал с Митькой Усовым, держа на коленях замасленную, пропотелую буденовку. Таня, шмыгая носом, ждала одна, а Кеша Фотиев разговаривал с ольховским знакомым по прозвищу Гривенник. Еще несколько незнакомых друг дружке старушек, мужичков и баб разместилось на задних скамьях.

Сопронов прошел на сцену и сел на накрытый розовым полотном стол, на котором стояли чернильница-непроливашка и пустой графин. Образовалась тишина, он велел Степаниде закрыть двери на крюк и встал.

— Товарищи, прошу сейчас не курить! Кому невтерпеж, пусть выйдет на волю.

Такое запоздалое, правда, но строгое предупреждение восстановило в избе-читальне тишину, люди сидели не двигаясь и стараясь не кашлять.

— Товарищи, открываю собранье бедноты Ольховского ВИКа. Есть такое предложение, президиума не выбирать. Нет возражений?

Возражений не было. Сопронов достал из кармана книжечку.

— Вопросов на повестке два, это выборы группы бедноты и распределение населенья по трем основным классам. То есть на бедняков, на середняков и на кулаков. Нету возражений?

Он оглядел ряды: собрание молчало.

— По первому вопросу вот что предлагаю. Избрать общую группу бедняков в данном общем составе. Нет возражений? Цитирую персонально по деревням. Шибаниха. Петров Алексей Иванович, Соколова Татьяна... э.

— Матвеевна! — с места сообщил Кеша.— Крестила тебя и меня.

Сопронов пропустил без последствий Кешино замечание, а Таня стеснительно опустила голову и затеребила платок.

— Значит, Соколова Татьяна Матвеевна, Фотиев Асикрет Лиодорович, Сопронов Селиверст Павлович, нет возражений? Зачитываю, товарищи, по деревне Ольховице...

— Дозвольте, товарищ Сопронов, это, значит, спросить вопрос,— встал мужичок из Усташихи, насмешивший Палашку.— Ежели, значит, это... К примеру, основанье личности... И в общей сознательности. Я насчет жалованья. Ежели, к примеру, жалованье пойдет, значит, по степеням должностей...

— Вопрос к делу не относится.

— Понятно.— Мужичок, довольный, сел.

Сопронов продолжал зачитывать фамилии по деревням. Тем временем кто-то из присутствующих откинул крючок и вышел покурить. В избу-читальню потихоньку вошли двое ольховских мужиков. За ними зашли Акиндин Судейкин и Савватей Климов. Изба-читальня понемногу наполнилась народом.

Сопронов сообразил, что сделал оплошку, но было уже поздно. Люди входили один за другим, толпились у дверей, садились прямо на полу, а кто посмелее, проходил вперед и занимал две передние скамейки.

— Товарищи, будем считать первый вопрос оконченным! Всем зачитанным лицам прошу принять к сведенью. Теперь, товарищи, переходим к основному вопросу, к распределению по классам групп.

Несмотря на духоту, тесноту и давку, в избе-читальне опять стало тихо.

— Есть, товарищи, указание центра делить не на шесть групп, как раньше, а на три. Голосую, кто за то, чтобы распределить на три группы? Голосуют только выбранные товарищи...

В избе установилась мертвая тишина. Вдруг кто-то в задних рядах старательно крякнул, и все задвигалось, зашевелилось, заговорили все сразу, послышались отдельные крики и возгласы:

— Это почему три?

— У нас тоже право голоса!

— Где председатель ВИКа?

— Лузина! Степана Ивановича!

— Товарищи! — Сопронов, бледнея, стучал карандашом по графину.— Наше собрание по другой линии, по линии бедноты.

— Какая такая бедная линия?

— Совецка власть у нас одна!

— Верно!

Степан Иванович Лузин торопливо пробирался вперед. Он был спокоен, только желваки еле заметно шевелились на скулах под выбритой до синевы кожей. Люди стихли и расступились, давая ему дорогу. Он не спеша прошел к Сопронову, пошептал ему что-то на ухо и вдруг побледнел, что-то резко ответил ему. Секретарь ячейки не остался в долгу. Он тоже побледнел, сказал что-то и сунул председателю ВИКа бумажку, видимо, телеграмму. Лузин сел рядом с Сопроновым, читая бумагу. Они опять быстро и зло перешепнулись о чем-то. Степан Иванович еле заметно пожал плечами. Он встал.

— Товарищи, продолжаем собрание. Прошу соблюдать порядок. Вопрос о создании групп бедноты ни в коей мере не отменяется, об этом уже сообщил Игнатий Павлович. Существует временная инструкция Вологодского губкома по созданию групп бедноты...

— Временная! — Африкан Дрынов встал и потряс в воздухе своей буденовкой.— Вот вся-то и беда, что опять временная!

— Говори, Дрынов.

— Что ж, давайте высказывайтесь! — Лузин сел.

Сопронов недовольно сузил глаза, когда Африкан Дрынов заговорил:

— У нас, Степан Иванович, пошто это все временно-то? Инструкция временная, начальство временное. Сто семая статья за хлебозаготовки тоже, говорят, временно.

— Дак ведь и жизнь-то у нас, Африкан Иванович, временная,— вставил Савватей Климов.

— Вот потому-то, Савватей Иванович, и надо, чтобы понадежнее.

— Вся надежда, мужики, на Кешу Фотиева...

— Этот установит!

— Верное дело.

— На паях с Гривенником...

— И с Митькой Усовым!

— А чево Митька? Чево Митька? — Усов вскочил с места как ужаленный.

— Тише, граждане! Пусть Дрынов скажет.

— Я, мужики, вот что,— продолжил Африкан Дрынов.— Ежели правду сказать, за общую справедливость. Я и сам не в опушенном дому живу! Нэп отменят, так это дело и по бедноте тоже стукнет. Второе дело, беднота бедноте — рознь! Вон приказ поступил: кредиты выдавать одной бедноте. А иной бедноте кредит — как мертвому припарка.

— Истинно!

— ...вон дали кредит Фотиеву, не обижайся, Асикрет Лиодорович, скажу правду. Ведь не завел ни плуга, ни лошади, а денежки, наверно, прожил!

— Давно.

— Пикнули!

— Тебе-то что? — возмутился Кеша.— Своя рука — владыка!

— Знает, что бедняку все спишут!

Лузин встал и остановил перепалку:

— Товарищ Дрынов, кредиты давать будем. Всем трудовым крестьянам!

— А как насчет трех списков-то? Было шесть, останется три. Ведь передеремся сплошь, перепазгаемся!

— Слово, товарищи, Игнатию Павловичу, секретарю ячейки.

Лузин сел, и Сопронов заговорил сразу:

— Повторяю, товарищи, что есть указание отменить деление на шесть групп, как путаное. Партия и Советская власть делит деревню на три класса. Что нам давало деление на шесть? Ничего, товарищи, кроме путаницы и бестолковщины. Бедняк, маломощный середняк, середняк, крепкий середняк... Плюс кулак и зажиточный... Предлагаю...

— Неправильно!

— Предлагаю голосовать за три списка!

— Сам-то себя куда запишешь?

— Прошу остановить кулацкие реплики! — крикнул Сопронов и побагровел, руки его задрожали.

В избе-читальне стало опять очень тихо, так тихо, что было слышно, как что-то хрипело и хлюпало в горле Носопыря.

— Предлагаю начать персональное обсуждение...— Сопронов полистал свою книжку.— Начнем, товарищи, с деревни Ольховицы, с Данила Семеновича Пачина...

Глухое гудение и шорох наполнили ольховскую избу-читальню.

— Кто может высказаться?

— А чего высказываться? — послышался чей-то голос.— Ты его давно в кулаки записал. Дуй дальше.

— Да, товарищи,— спокойно согласился Сопронов.— Пачина мы считаем кулаком и предлагаем вывести из правления кредитного товарищества. Есть указание...

— Много у тебя ишшо, Игнатий Павлович, указаний-то? — Данило Пачин боком пробирался вперед, его белая лысина и борода качались в толпе, голос дрожал от обиды.— Тебя, Игнатий Павлович, не корми хлебом, дай указание... Ты меня пошто невзлюбил-то? Ты меня пошто губишь-то? Ежели у меня дом обшитой... Ежели у меня три коровы в хлеву да две лошади... Вот, граждане, я весь тут перед вами. Ежели кулак и сплоататор... Записывайте меня в первый список...

Толпа зашумела:

— В середняки Пачина!

— Какой он к бесу кулак?

— Вон Насонов залесенский кулак, того и прижать не грех.

— Истинно! Дегтярный завод достался ни за что и ни про что, дерет за деготь втридорога.

— Насонов трех работников держит. Опять же, Жук шибановский, тоже... А пошто Пачина-то в кулаки?

— Остамел мужик на работе.

— Торговли нету.

— В середняки!

Степан Иванович сидел неподвижно. Сопронов, сузив глаза, вновь наливаясь багровой краской, крикнул:

— Нет, не в середняки!

— Толчею за так сдал, все на своем горбу... За что ты меня, Игнатий Павлович, эдак? — Данило повернулся к собранью.— Вы меня сперва лишили голосу, тепереча в кулаки. А разве я не воевал за Совецку власть? Я в Москве самого товарища Сталина своими глазами видел, мене сам Михайло Иванович Калинин говорит: «Поезжай, товарищ Пачин, спокойно домой, дело твое верное...»

— Не ври!

— Неужто со Сталиным говорил?

— Вот истинно говорю, не вру, как перед богом! — Данило хотел перекреститься, но передумал.— Поезжай, говорят, товарищ Пачин, домой, дело твое справим.— Данило достал из кармана какую-то бумагу.

— Вот! Ежели словам моим нету правды! Вот, копия с копии!

— А ну, покажи! — Сопронов не растерялся и потянулся за бумагой.— Дай сюда!

— Нет, не дам. У тебя, Игнатий Павлович, эта бумага есть, ты поищи-ко ее. Поищи, это у меня копия с копии.

— Зачитать!

— Чего председатель помалкивает?

Лузин шепнул что-то в ухо Сопронову, тот побледнел и встал.

— Товарищи, собранье переносится! Объявляю собранье закрытым, ввиду...

— В каком таком виду? Не закрывать!

— Пусть зачитают! Бумагу-то...

— Ишь ты, тут дак и собранье закрыл.

— Лузина! Пусть выступит Степан Иванович, евонное это дело!

— Правда аль нет, что Пачин бает?

Лузин побрякал по графину карандашом:

— Товарищи, прошу расходиться. Насчет Данилы Семеновича есть ходатайство Михаила Ивановича Калинина. Указанием губисполкома предложено восстановить Пачина в законных списках и вернуть ему право голоса...

Гул, шум и выкрики заглушили слова председателя, мужики кричали каждый свое:

— Путаники!

— Свои-то хуже чужих, не нами сказано.

— А Николая-то Ивановича? Рыжка-то тоже восстановили?

— Нет, попу Москва отказала, говорят, много вина пьет.

— Ох, робята, а в кулаках-то бы походить. Хоть с недельку! — кричал Акиндин Судейкин.

— Нет, Акиндин, ты оставь такое мечтанье! — Савватей Климов хлопнул Судейкина по спине.— Тебя надо прямиком в бедняки, ты со своим Ундером и на середняка-то не волокешь. Ну какой из Ундера середняк? Моя кобыла и то...

— Жива?
— Кто?
— Да кобыла-то...
— Моя кобыла Сопронова переживет.
— Ну, это ты здря!
— Чего?
— Да насчет Сопронова-то.

Сопронов между тем исчез со сцены. Все кричали кто во что горазд, особенно старался усташинский мужичок. Обращался он неизвестно к кому, доказывал, махая сразу двумя руками:

— А вот что, робятушки. Литра! Литра виновата во всем! Это она сгубила руськое царство!

— Водка-то? Оно верно!
— А вот бабы еще подымутся!
— Чур — будь!
— Моя дак уж поднялася.
— А Сопронов-то? Есть же такие упругие люди!..

Изба-читальня быстро пустела.

XVII

Пред Шибановского сельсовета Николай Николаевич Микулин, по прозвищу Микуленок, отказавшись от поднесенной Данилом стопки, подкатил к помещению ВИКа незадолго до сопроновского собрания. Он меньше всего думал о собрании. Веселые мысли молодости громоздились в его беззаботной, не обремененной воспоминаниями голове. Они, эти мысли, шли внахлестку, одна за другой и одна другой лучше. Микуленок был рад, что в уезде он на хорошем счету, что его уважают в Шибанихе и что есть такая девка — Палашка. Наконец, радовался он просто масленице и всему белому свету.

О том, как ехали с Палашкой в Ольховицу, он старался не вспоминать, чтобы надольше хватило. И все-таки нельзя было не вспоминать.

Он усадил ее в сани у Шибановского сельсовета. Отдельные мужики затеяли езду на обгон, как в прошлом году. Микулин всех пропустил вперед. А когда они с Палашкой остались одни на Ольховском волоке, он бросил вожжи и начал тискать девку. На сене — в широких, с высокой спинкой сельсоветских санях. Она сначала со смехом отпихивалась, визжала и брыкалась, потом как-то сра-

зу обмякла, затихла в его неутомимых руках и, закрыв глаза, перестала отталкиваться. Он, забыв себя, приник к ее алому, полуоткрытому, с белеющими в глубине зубами рту, не жмурясь впился в него. Сквозь ее вздрагивающие ресницы и неплотно прикрытые веки он видел белые полоски глазных яблок, видел прозрачный гарус растаявших на ее лице снежинок. Останавливая частое, пахнущее свежестью зеленого огурца дыхание, она только легонько постанывала, и правая рука Микулина без его ведома оказалась в потемках Палашкиного казачка. Мягкие, волнующе-теплые эти потемки совсем лишили его рассудка...

Не мудрено, что, подъехав к волисполкому, он все еще ни о чем не думал. Лошади он бросил охапку сена и не вбежал, а взлетел на крыльцо, в коридор, открыл какие-то первые попавшиеся двери. Это оказалась комната маслоартели, иначе — Ольховского животноводческого товарищества. Человек шесть мужиков сидело в товариществе. Говорили что-то насчет нового сепаратора. Бухгалтер Шустов оглядел поверх очков странно веселого Микуленка, сказал:

— Ты это что, Николай Николаевич? Как с цепи сорвался, и не здороваешься.

Микуленок по-дурацки, с улыбкой во все свое круглое лицо глядел на Шустова. Но Шустов уже объяснял мужикам что-то денежное, говорил о выгодности покупки породистого общественного быка. Мужики соглашались с бухгалтером: бык товариществу требовался позарез. Ко всему этому накопилось много заявлений с просьбой о приеме в колхоз, то есть в товарищество. Надо было скорей собирать общее собрание маслоартели, а председатель Крылов не ко времени отпросился в отпуск. Микулин слушал эти хозяйственные разговоры и улыбался, слушал и улыбался. Он все понимал, но смысл как-то не очень его задевал, хотя в другой раз он обязательно бы включился в разговор. Он сходил в соседнюю комнату, в ККОВ, где тоже было много народу, перездоровался там со всеми за руку, зашел в финотдел ВИКа, потом проведал мерина. На сопроновское собрание он опоздал, просидел опять же у бухгалтера Шустова, а когда протолкался в избу-читальню, дело уже подходило к концу: Данило Пачин тряс бумагой перед носом Сопронова.

Микулину стало жаль Игнаху, но, с другой стороны, он подумал, что так ему и надо. Когда народ зашумел по-

настоящему и Сопронов пропал со сцены, Микулин протолкался к Степану Ивановичу, поздоровался все с той же неподходящей для такого момента улыбкой. Степан Иванович заметил эту улыбку, удивился, но не стал ничего спрашивать. Хмурый, расстроенный, он все еще играл желваками.

— Зайди, Николай Николаевич, надо поговорить.

Микулин прошел в лузинский кабинет, который уважал за внушительную, непонятную эдиссоновскую коробку. Телефон всегда вызывал у него чувство восхищения.

— Вот что, Николай Николаевич...— Лузин в упор поглядел на шибановского председателя.— Надо срочно собрать ячейку. Такое головотяпство дальше терпеть нельзя. Ты видел, чего Сопронов натворил?

— Беда!— Микулин все еще улыбался.

— Не согласовал ни с членами ВИКа, ни с ячейкой... Объявляет собрание бедноты...

Лузин пристально посмотрел на Микулина и резанул напрямик:

— Как ты насчет Сопронова? Поддержишь меня на ячейке? Или пойдешь заодно с ним? Скажи прямо, дело серьезное.

Микулин не ожидал такого вопроса. Он уважал Степана Ивановича, считал его самым авторитетным членом Ольховской ячейки. Но и Сопронова было жаль, особенно за сегодняшний день. Игнаха хоть и послан уездом, но был свой, шибановский, к тому же он не числился пока ни на какой должности, жил бог знает на какие шиши.

— Внушить ему надо бы, Степан Иванович, разъяснить... Все-таки жаль мужика.

— Нет, брат, тут разъяснения не помогут! — Лузин, щелкая суставами пальцев, отвернулся к окну.— Тут дело серьезное. Давай беги за Вeричевым! Усова и Дугину я предупредил. Скажи, чтобы шли срочно!

Лузин повернулся к Микулину, и тот, не оглянувшись, вышел. Лузин чувствовал, что Микулин, если действовать решительнее, пойдет за ним, и теперь прикидывал, как поведут себя остальные члены ячейки. Веричев, лесной объездчик, несомненно, поддержит, остаются учительница Дугина и Усов. Эти неизвестно как себя поведут. Плюс голос самого Сопронова... Риск, конечно, был. И все же Степан Иванович твердо решил собрать ячейку.

Он поднялся наверх в мезонин. Сопронов, красный и непроницаемый, ходил по комнате и даже не оглянулся на Степана Ивановича.

— Что же, Игнатий Павлович.— Лузин спокойно положил на стул пыжиковую шапку.— Я думаю, надо собрать ячейку, поговорить...

— А о чем говорить? — огрызнулся Сопронов.— Нам говорить не о чем...

— Найдется о чем!

— Ты почему от меня скрыл, что пришла бумага на Пачина?

— Я этого не скрывал. Решение губисполкома пришло третьего дня, а ты меня насчет Пачина не спрашивал!

Сопронов хотел что-то крикнуть, но осекся, в дверях появилась черная голова Митьки Усова.

— Давай, давай, заходи,— сказал председатель.— Где остальные?

— Чичас придут.

Митька долго перекидывал свою остамевшую ногу через высокий порог мезонина, так долго, что напустил холоду и подошла Дугина. Она поздоровалась со всеми за руку и мужскою походкой прошла в угол. Все молчали. Вскоре послышались голоса и остальных членов ячейки, Микулина с Вeричевым. Они, громко разговаривая, поднимались по лесенке, но, почуяв молчание, сразу затихли. Вeричев тоже за руку поздоровался с присутствующими.

Сопронов ни на кого не глядел. Он сидел теперь за столом, бледный, играл и постукивал карандашом о столешницу.

Все шесть членов Ольховской ячейки молчали. Дугина курила тонкую дешевую папироску, роняя пепел на длинную юбку. Она сидела нога на ногу, моргала усталыми, блеклыми глазами и не понимала, что происходит.

Вeричев, видимо предупрежденный Микулиным, строго и неподвижно глядел на улицу. Почему-то спереди он был очень похож на женщину, тогда как сбоку лицо его казалось большеносым и мужественным. Микулин только теперь заметил это и опять, уже совсем не к месту, улыбнулся. К счастью, никто не заметил этой улыбки. Митька Усов бережно отодвинул далеко в сторону негнущуюся свою ногу в большом, много раз чиненном валенке. И тоже затих, но от непривычки к молчанию он не знал, какое принять выражение лица. Он то насупливал брови и ста-

рался глядеть в одно определенное место, то важно отворачивался к окну, то жевал губами.

Степан Иванович произнес:

— Игнатий Павлович, прошу открыть заседание ячейки.

Сопронов вскинул на Лузина водянисто-белые суженные глаза и хрипло сказал:

— Сопронов ячейку не собирал. И открывать собранье Сопронов не намерен.

В мезонине установилось тягостное молчание.

— Так ведь собрались, Игнатий Павлович,— сказал Веричев.— Коли собрались, так надо открыть.

— Предлагаю, товарищи, начать собрание! — Степан Иванович встал.— Капитолина Андреевна, прошу записать присутствующих. Присаживайтесь к столу, записывайте. Есть у нас бумага, Игнатий Павлович?

Сопронов ничего не ответил.

Дугина, откашливаясь, поставила к торцу стола венский стул. Сопронов молча сунул ей бумагу и ручку, отвернулся.

— Товарищи коммунисты,— заговорил Степан Иванович,— троцкистские взгляды и левацкие методы достигли и нашей Ольховской ячейки! Предлагаю обсудить сугубое поведение товарища Сопронова. Его сегодняшние действия бросают черную тень как на нас, местных партийцев, так и на всю уездную организацию. То, что он натворил, не лезет ни в какие ворота...

— А што это я натворил? — Сопронов побелел.— Какую это тень навожу?

— Погодите, Игнатий Павлович, у вас еще будет возможность высказаться.

— Не буду я перед тобой высказываться!

— Не передо мной, а перед ячейкой. Выскажешься и понесешь партийную ответственность. Товарищи, Сопронов не согласовал вопрос о создании групп бедноты ни с ячейкой, ни с ВИКом. Сегодня он единолично собрал собрание бедноты. Он завалил, запутал и дискредитировал наше общее дело. Считаю необходимым немедля освободить его от обязанностей секретаря нашей ячейки...

Перо Дугиной словно поперхнулось и замерло на полслове. Лесной объездчик Веричев крякнул. Усов, забыв закрыть рот, вытянул негнущуюся ногу и недоуменно

уставился на Лузина. И только до одного Микуленка все еще не доходил смысл сказанного.

— Высказывайтесь, товарищи, у меня все.

Лузин сел и медленно, спокойно оглянул присутствующих. Сопронов то белел, то багровел неподвижным своим лицом, играл карандашом, пальцы заметно взрагивали. Он по очереди на всех смотрел в упор и уверенно, с легкой тайной издевкой и даже с жалостью к каждому, словно зная что-то свое, что никто, кроме него, не знал.

— Дак это как, Степан Иванович? — Митька Усов загреб пальцами свою черную шевелюру.— Ведь его вроде бы уезд к нам послал, а мы взяли да скинули. Нехорошо вроде бы!

— Уезд уездом, Димитрий. А за такие дела надо гнать из партии.— Лузин устало затих, помолчал и сказал: — Предлагаю голосовать...

Веричев, не вставая, обратился к Усову:

— Ты вот говоришь, то да се, это нехорошо да то. А это хорошо разве? Он вон всю волость сбунтил, нас не спросил...

Лузин снова встал.

— Кто за то, чтобы освободить товарища Сопронова от обязанностей секретаря Ольховской ячейки? Прошу поднять руку.

Степан Иванович стоя первый согнул руку с вытянутой ладонью. Вторым поднял руку объездчик Веричев. Дугина отложила ручку, огляделась и после краткой заминки тоже подняла руку. Усов как будто еще раздумывал, и все теперь смотрели на Микуленка. Микуленок не понимал до конца, что происходит, он улыбался. Он поднял руку совсем машинально, не думая, и Митьке Усову тоже ничего не оставалось делать. Митька вздохнул и поднял задубелую свою ладонь.

Сумерки медленно прошли за окном, в рамах почернели синие стекла. Степанида принесла зажженную лампу. Сопронов молчал и ни на кого не глядел. Но когда в секретари единогласно выбрали объездчика Веричева, он вскочил. С каким-то даже торжеством, прищуриваясь, оглядел каждого и пошел к двери. У дверей, держась за скобу, он оглянулся к ячейке:

— Не вы ставили, не вам и снимать!

Дверь мезонина громко хлопнула.

Микуленок отвязал мерина, и только теперь до него

дошло, что произошло в мезонине. Ему стало жаль Игнаху, он затужил, что голосовал против бывшего секретаря. Микуленку на минуту стало тревожно, как-то неловко, сбивчиво замелькали в уме неспокойные мысли. Где-то что-то было неладно. Что-то большое и главное пошло вперекос.

Но была масленица...

Свежая, не очень темная ночь кутала мир в спокойную дрему, теплое, темное небо опустилось на самые крыши. Пахло снегом и сеном, желтели в домах ламповые огни, в проулке визжали девки. Слышался скрип запоздалой подводы, и лошадь усталым всхрапом будила какого-то подгулявшего зятя. Была масленица, и Микуленок нарочно, как делают дети, забыл про все неприятности. Он вспомнил Палашку, расправил вожжины и шмякнулся в заветные теперь сани. Мерин, тоже повеселевший, проворно развернулся у ВИКа, пошел на дорогу рысью. Может быть, у проулка, ведущего к подворью Данила Пачина, Микуленок незаметно для себя шевельнул левой вожжиной. А может, мерин сам догадался, куда воротить. Так или иначе, Микуленок, удивляясь, подъехал к дому Данила.

Пашкиных санок и лошади у крыльца не было, не было и поповской кобылы. Огонь в лампе, увернутый наполовину, еле светился сквозь стекла рамы, но Микуленок решительно выскочил из саней. Привязал недовольного мерина и вбежал на крыльцо. Ворота были незаперты. Микуленок удивился своей смелости, но в избу вошел безо всяких стеснений. На углу заставленного посудой стола сидел Данило Пачин и тихонько, с хрипотцой пел песню, а во всю переднюю лавку лежал и храпел поп Рыжко. «Видно, опять кобылу-то потерял,— подумал Микуленок.— Ну и долбило!»

Микуленок вывернул в лампе огонь, изба осветилась. Данило очнулся от своего печального пения.

— Ой-ей-ей, а ну, Палашка, разогревай самовар!

Палашка притушенным смешком сказалась за печкой, из той половины избы. И не показалась. Данило, медленно переставляя ноги, сам пошел ставить самовар. Но из кути пришла Катерина. Она растваривала там пироги.

— Это чево у меня с мужиком-то? Ноги-то будто взаймы взял. Садись, Миколай Миколаевич, садись. Самовар нараз и вскипит.

Микуленок взял налитую Данилом стопку, кивнул на попа.

— Верно,— согласился Данило.— Пусть-ко благословит.

Он начал дергать Николая Ивановича за подрясник, но от этого поп храпел, казалось, еще сильнее.

— Пустое дело, спит.— Данило отступился.— Не восстановить пушками. Чево, Миколай Миколаевич, на собранье-то?

— Игнаху с должности сняли.

— Неладно. Неладно, хоть и прохвост.

— Чего неладно? Все ладно.

— Нет, брат, неладно. Он теперече по верхам пойдет, только хуже наделали. Давай-ко держи.

Микуленок выпил. Голодный день сказался сразу же, и он выхлебал целое блюдо щей, которые принесла Катерина.

— Как, Николай Николаевич, жить-то будем? — не допил свою стопку Данило.— Вроде бы неладно дело идет...

— Ой, полно говорить-то! — Катерина принесла и разрезала полубелый рыбник.— Живи да живи, здря и тужишь-то.

— Цыц! — неожиданно взбесился всегда спокойный Данило.— Здря тужишь! Понимала бы что!

— Да я чево эдаково сказала-то?

— Ничего.

Микулин сдержал усмешку: очень уж неумело цыкнул на жену Данило.

После второй стопки хозяина совсем пригнело к столу, и его отвели за шкап на кровать. Катерина постелила Микулину рядом с попом, на полу, погасила огонь.

Была масленица, была невьюжная ночь. Вся Ольховская волость спала, только задлявшийся в гостях Судейкин еще не приехал домой. Он вез на Ундере Нечаева и Носопыря. Остальные шибановцы были уже по домам. Подгулявший в Ольховице Нечаев рассказывал, какой у него родился парень, говорил, что осенью обязательно купит Петрухе хромку, и, обнимая Носопыря, пел:

Задушевный брат, товарищ,
Вызывают в мезонин,
В мезонине-то бы нешто,
Да под конвоем-то пошто!

«Пойду ли я в бедняки? — шумел Нечаев на весь лес.— За пятерку-то. Да ни в жисть!»

Была масленичная ночь, волость спала. Давно потухли огни в деревнях. Лишь в Ольховице, на самом верху, в мезонине, светилось окно. Сопронов, бледный и похудевший, сидел за столом, писал на серой нелощеной бумаге:

«...товарищу Меерсону от секретаря Ольховской ячейки И. П. Сопронова. Довожу до сведения о контрреволюции в Ольховском ВИКе и всей нашей волости, как вопервых о председателе Лузине и протчих членах ячейки. Товарищ Лузин много раз сидел на квартире у бывшего помещика Прозорова В. С. вместе с благочинным Сулоевым и пили чай, при проверке тов. Лузин бросил рукой газету «Правду». Давал незаконно кредит зажиточным, снижал самообложение, не поставил в известность о решенье губисполкома о кулаке Пачине. Требуется немедленно обжаловать решение губисполкома о Пачине как незаконное в выше стоящих. Также довожу до сведенья о пред Шибановского с/с Микулине, он занимает не свое место. Давал зерно из фонда ККОВ за вино гражданке Соколовой Татьяне, был дружком на религиозной свадьбе у кулака Пачина. Третий член Усов регулярно выпивает вино, а учитель Дугина К. А. на собраньях сидит мертвым капиталом и только пускает едкий дым кверьху...»

Микуленок, занимавший, по словам Сопронова, не свое место, тоже не спал, маялся в теплой зимовке Данила Пачина. Когда Катерина уснула, он тихонько встал, на ощупь пробрался в ту половину. Палашка спала у заборки на примосте. Микулин нащупал ее одеяло, просунул руку в девичье тепло и, сдерживая дыхание, осторожно пристроился рядом. Сильный толчок сшиб Микуленка с примостья. Председатель со стуком брякнулся на пол, больно ушиб голову и колено. Он полежал немного, потом встал и, крадучись, подался обратно, к храпевшему Николаю Ивановичу. Прислушался. Тихо было в пачинском доме. «Женюсь!» — твердо сам себе заявил Микуленок, натянул тулуп на голову и стал засыпать.

По волости пели первые петухи.

Часть вторая

I

Весною, для всех неожиданно, женился Петька Гирин, по прозвищу Штырь. Он сам не ждал от себя такой прыти и разворота, потому достойно гордился, мол, дело сделал быстро и точно. «Вот жил бы дома в деревне, там бы намаялся с этой женитьбой»,— рассуждал он. Еще дивился тому, как приятно быть человеку женатым. В душе он пенял окружающему спокойствию и жалел людей. Особенно дружка, холостого Шиловского, с которым жили на одной жилплощади. Но Москва не перевернулась вверх дном, нигде ничего не лопнуло. Петька в одиночку перебирал в уме свои события. Ведь началось-то вроде бы с ничего...

Однажды он опоздал в столовку механического цеха и остался голодным. Все было съедено, дородная повариха мыла в кухне мутовки. Несолоно похлебав, Гирин хотел уйти, но его развлекли женсоветские активистки, учредившие здесь красный угол. Они привели откуда-то баяниста, подсунули под него табурет и в оставшееся от перерыва время затеяли танцы. Петька смущенно глядел, как они толкутся друг с дружкой. И думал: «Чего хорошего? Без толку перетаптываются». Но тут Гирина будто подменили, он любил делать назло себе. «Разрешите?» — как бы со со стороны услышал Петька свой голос. Осанистая и миловидная на лицо сверловщица Клава охотно подставила свой мягонький правый локоть. Баянист играл какое-то буржуйское танго. Гирина кинуло в пот. Он сроду не танцевал. Словно ступая в омут, Петька сделал движение, переставил остамевшие ноги. Было невыносимо стыдно, уши горели как ошпаренные. Окоченелое туловище воротило куда-то в сторону. Уж лучше бы провалиться сквозь

землю! Он взглянул на брошку, соединявшую ворот Клавиной блузы. На этой округлой эмалированной брошке было нарисовано зимнее поле с лесной заиндевелой опушкой. И заря. Почему-то больше всего и запомнилась эта розовая заря. Но тогда ему было не до природы. Краснея и напрягаясь, он сделал несколько нелепых шагов. Баянист неожиданно перешел на фокстрот. Петька в отчаянии ступил куда-то совсем не туда, и вдруг ноги задвигались сами. Сразу стало легче дышать. В голове промелькнуло: «Не боги горшки обжигают...» Напоследок же Клава так крутнула Гирина, что его рука коснулась запретного дамского бюста, а красная косынка сверловщицы совсем допекла Штыря...

«Вы же хорошо танцуете!» — улыбнулась Клава и тут же забыла про кавалера. Зато Петька про нее не забыл. Позже он действовал так же, как на танцах: не прошло и месяца, как она переселилась с частной квартиры к Петьке. Лаврентьевна повесила в комнате еще одну занавеску, а Шиловский начал старательно храпеть по ночам. Петька был на седьмом небе, собирался писать заявление на квартиру.

В субботу он закончил дела раньше времени. Работа почему-то с утра не ладилась. Вначале в земледелке оборвался приводной ремень бегунов. Пока по всему заводу искали шорника да сшивали этот ремень, формовщики бездельничали. Когда земледелы снабдили цех формовочной массой, выяснилось, что почти все тройниковые стержни, загруженные накануне в сушильную печь, оказались браком. Они разрушались прямо в руках формовщиков. Стерженщицы ссылались на мастера, мастер Малышев бранил технолога. (Малышев не умел и не мог материться, и было смешно слышать, как он настойчиво и не к месту повторял одно только что освоенное им ругательство.) Вагранщик же Гусев — тот ругался взаправду. Металл был на подходе, вот-вот явятся разливальщики, а форм не было. Куда лить? Опять полплавки пойдет в канаву, потом придется долбить чугун ломиками и волочить наверх. «Шей да пори, не будет пустой поры»,— подумал Петька, махнул на все рукой и пошел в кочегарку механического, умываться. Из дверей обрубочного тяжелый грохот обрушился на него. В чреве барабана, очищаясь от земли и нагара, с громом и скрежетом ворочалось вчерашнее литье. Петька зажал уши и по-заячьи проскочил дальше. Цеха

соединялись узким крытым проходом. Литье из обрубочного отделения возили в вагонетках в механический.

Петька хорошо знал завод, не было ни одного цеха или инструменталки, где бы не имелось у него дружка либо знакомого. После того как его уволили из курьерской группы канцелярии ВЦИК, прошло почти полгода. Он заново сжился с заводом и ничуть не тужил о своем понижении. О чем тужить? Работа формовщиком, правда, пыльная, не то что курьером. Заработок тоже поменьше, зато везде свои люди и на душе намного спокойнее.

Петька больше всего любил кочегарку. Здесь было по-домашнему уютно, пахло водой и огнем, котлы сипели успокаивающе и мерно. Гирин всегда с почтением разглядывал водомерные стекла и начищенные до самоварного блеска краны и вентили. Все говорило здесь о какой-то достойной, надежной силе. Вспоминались Петьке и шибановская деревенская баня, и кузница Гаврила Насонова, куда в детстве бегал глядеть, как куют лошадей.

Двое знакомых кочегаров, не останавливая шуровки, кивнули Гирину. Петька разделся по пояс и отвернул краник с теплой водой. Вымылся, чуть обсох, оделся и попросил гуднуть. Кочегар поглядел на циферблат закопченных часов, вделанных в кирпичную кладку. Было без двух минут полдень.

— Рано еще. Ну да ладно, давай!

Петька вскочил на площадку второго котла, поплевал на руки, закусил язык и подмигнул кочегару. Тот лыбился и блестел снизу зубами:

— Давай...

Петька взялся за ручку длинной железной цепки, подвешенной на коромысле гудка. Из головы вылетели все утренние неурядицы. Он потянул ручку вниз, цепь напряглась, но звука не было. Тогда Петька потянул сильнее, и вот, где-то высоко, в черных железных переплетениях труб и кровельных ферм послышалось мощное шипение. Потом что-то словно бы икнуло и задрожало. Вдруг, будто простуженный, пробился и оглушил все на свете зычный рев. Петька в восторге тянул и тянул цепь, он весь растворился в этом густом, обволакивающем весь мир гуле...

Кочегар напрасно подавал снизу какие-то знаки, ему пришлось запустить в Гирина куском угля.

— Тянет и тянет,— услышал Петька по-комариному тихий голос.— Ты что, очумел?

— А что, долго? — Петьке показалось, что и его голос звучит как будто откуда-то из кармана, такой был слабенький.

Гирин угостил кочегаров дукатовской «пушкой» и подался в столовку. Быстро съел из солонины, воняющий мылом суп, выпил еле теплый, не больно сладенький чай. Кормежка была неважная. В Москве поговаривали о заборных книжках. Однако Гирин особенно не тужил, поскольку имел веселый характер, да и шибановское полуголодное детство крепко сидело в памяти.

Он только хотел разыскать Клаву, как вдруг объявили, что в механическом будет общезаводской митинг. Еще что за митинг? Петька любил, конечно, и митинги, но на сегодня у него имелись другие планы. Он изловил себя на желании уйти домой, устыдился и присоединился к литейщикам.

Механический быстро наполнялся народом. Петька уселся на строгальный станок. Рядом, опустив длинные, ниже колен руки, удрученно стоял мастер Малышев, тут же устроился Шиловский и вагранщик Гусев.

— По какому вопросу митинг? — спросил Петька у Малышева.

— Никто не знает. Слышал, что приедет представитель Цека.

— Да ну? — Шиловский уселся рядом с Гириным.— Ничего себе.

На площадку железной лесенки, ведущей в конторку механического, вышел кто-то незнакомый, видимо из райкома. Рядом встал секретарь заводской ячейки.

У площадки уже негде было ступить. Сзади, у стен кое-кто сидел на полу, выложенном из деревянных, поставленных на торцы чурок. Гирин услышал глухой голос секретаря ячейки:

— Товарищи, на завод только что выехал начальник сектора Цека товарищ...— секретарь, выясняя фамилию, оглянулся к другому приезжему.— Товарищ Шуб! Он выступит сегодня перед вами. На митинге присутствует также представитель райкома... Прошу от каждого цеха выделить по одному человеку...

Началось быстрое выдвижение представителей для ведения митинга. Когда очередь дошла до литейного, Шиловский вдруг спрыгнул на пол и крикнул:

— Гирина! Формовщика Гирина.

— Голосовать будем? Нет? Кто против, товарищи? Нет. Прошу представителей выйти сюда.

Петька не ожидал от Шиловского такой выходки и погрозил ему кулаком. Но все равно было приятно. Он быстро прошел вперед, вбежал на площадку и встал сзади, отыскивая глазами красную косынку жены. Клава стояла у окошка инструменталки. Петька не сразу нашарил ее глазами. Теперь Гирин покосился на представителя райкома. Худой, низенький, седой человек не двигаясь глядел поверх голов, еле заметно шевелил седыми усами. Не дожидаясь приглашения говорить, он поднял руку, обрамленную белоснежным манжетом, резко бросил ее вниз и сунул в карман. Другой рукой цепко взялся за поручень. Голос его прозвучал спокойно и без обычного в таких случаях надрывного пафоса:

— Товарищи!.. Троцкистская оппозиция, потерпев разгром, ушла в подполье... она окончательно перекинулась в лагерь врагов... Наша рабочая совесть чиста перед всем миром, мы ни в коей мере не несем ответственности за грехи оппозиции. Но, товарищи рабочие, сколько можно терпеть троцкистскую демагогию? Они потеряли стыд, они создают тайные типографии. Печатают антипартийные документы, они проводят подпольные собрания и налаживают шифровальную связь...

В цехе нарастал шум, послышались выкрики:

— Позор!

— Куда смотрят в Цека?

— Где представитель?

Петька оглянулся: на площадке, кроме своих заводских и выступающего, никого не было. Секретарь ячейки что-то шепнул оратору, но тот продолжал говорить. Он говорил о подпольных листовках и о непрекращающейся деятельности высланного в Алма-Ату Троцкого:

— Предлагаю, товарищи, принять резолюцию, осуждающую подпольную деятельность троцкистов, которые ведут страну к ужасам новой гражданской войны, что равносильно было бы гибели русского пролетариата! Предлагаю послать письмо членам политбюро, мужественно отстаивающим ленинское единство в партии...

В это время у главного входа обозначилось многообещающее движение. В дверцу, вделанную в большие ворота, кто-то вошел, и секретарь ячейки сказал Гирину:

— Товарищ Шуб. Проведи его сюда. Быстро!

Петька сбежал с лесенки, но представителю не понадобилось помогать: он энергично приближался к площадке, раздвигая спецовки и не боясь вымазать белый парусиновый френч. «Разрешите! Позвольте!» — говорил он, прижимая портфель к боку, и рабочие расступались, давая дорогу.

— Слово товарищу Шубу, представителю Цека,— объявил секретарь, когда Шуб с фальшивой бодростью заподнимался по лесенке. «Слово-то Шубу, да не было б шуму»,— подумал Гирин и не стал подниматься вверх. Он встал около прохода, ведущего в литейный и кочегарку.

— Товарищи рабочие! — дребезжащим голосом произнес Шуб и сделал большую остановку.— Я слышу здесь капитулянтские утверждения о нашей партии. Я слышу здесь паникерские нотки в оценке внутрипартийного положения. Нет, товарищи, такая оценка в корне неправильна! Больше того, такая оценка просто вредна! Наша партия сильна как никогда...

— Об чем разговор? — перебил Шуба голос из цеха.

— О делах давай!

— Товарищ Шуб, а как насчет заборных книжек?

Оратор не заметил выкриков.

— Да, товарищи, мы никому не позволим разоружать рабочие массы капитулянтскими фразами о троцкистской опасности! Мы били и будем бить врагов пролетарского дела! Но, товарищи, шахтинский заговор буржуазных спецов и уроки хлебозаготовок говорят нам о новой опасности. Какова эта опасность? Эта опасность справа, товарищи. Правые элементы в партии...

По затихшему цеху прошел словно бы холодок отчуждения. Он быстро нарастал, но оратор продолжал говорить, и вот гул недовольства заглушил выступающего.

— Где правые, какие правые?

— Леваки!

— Троцкист.

— Мало было дискуссий?

В двух или трех местах раздался свист. Секретарь ячейки поднял руку, чтобы установить тишину. Но Шуб продолжал говорить, и цех загудел еще напряженнее. В это время кто-то бросил из толпы комком обтирочных концов, тряпка повисла на поручне. Люди сдвинулись ближе к площадке, свистели во многих местах.

— На тачку его! Вывезти!
— Троцкист!
— Долой дискуссии, хватит!
Вновь заговорил первый оратор, но его уже никто не слушал.
Петька взялся за поручни, заслонил лестницу, по которой, прижимая к груди портфель, спускался вспотевший Шуб. Внизу толпа с криками окружала его, и он озирался, не зная что делать, то и дело утирался платком. Ко всему неожиданно загудел гудок...
Гирин ногой открыл дверь прохода, ведущего в литейный, бесцеремонно толкнул туда растерянного Шуба, проскочил сам и захлопнул дверь. Смех, шум и крики остались за дверью. Шуб, поспешно застегивая портфельные пряжки, перевел дыхание:
— Как ваша фамилия?
— Формовщик Гирин! — Петька молодцевато одернул гимнастерку.— Идите, товарищ Шуб, я провожу.
— Так. Давно на заводе? — Шуб зорко разглядывал своего спасителя.
— Четвертый месяц! Был раньше курьером ЦИКа, да вот уволили.
— Причина? Почему уволен?
— Как... как левый загибщик! — выпалил Петька неожиданно для себя. И даже в эту минуту сам поверил в такую версию.
— Так...— Шуб достал книжечку и быстро записал в ней что-то.— Понятно, товарищ Гирин.
Петька опешил, он не ожидал, что Шуб запишет фамилию. От расстройства он даже не проводил начальство до проходной, где стояла машина, дома не мог очнуться, стоял и чесал в затылке: «Ох, дурак! Дурак, зря фамилию-то сказал...» Но еще больше удивился Гирин, когда спустя два дня, через секретаря ячейки, его вызвали по телефону на Старую площадь...

* * *

Чтобы не разбудить жену (Клава работала во вторую смену), Гирин тихонько выпростал из-под одеяла длинные ноги, встал. Наскоро помылся, попил с Лаврентьевной чаю и без лишнего шума вышел в город...

Тревожная из-за сильного паводка весна давно была позади. Народ колобродился по-летнему беззаботно. Газеты не успевали снабжать новостями этот громадный город, москвичи словно отпихивали назад все события. Шарады, головоломки и всевозможные фокусы пестрели в журналах и на последних страницах газет. Но эти шедевры прямолинейного и бездушного остроумия не трогали Гирина, он читал больше иные места, интересовался китайскими и другими событиями.

Теперь же Гирин переключился на экспедицию Нобиле, погибающую в северных льдах. Газеты писали об Амундсене, вылетевшем спасать экспедицию, и о ледоколе «Красин», сообщали о приезде в Москву писателя Максима Горького. В «Комсомольской правде» был помещен снимок: Горький соревнуется с Ворошиловым в стрельбе из винтовки.

В кинотеатре «Уран» крутили фильм «Прокурор Иордан». В Большом театре то и дело шли собрания с вопросом о «головановщине», в Доме Союзов только что закончился процесс шахтинских буржуазных спецов.

На громадной площади около Москвы-реки стукали плотницкие топоры, строился грандиозный парк культуры и отдыха, а в довершение ко всем этим новостям прибавилась новость о небывалом наплыве беспризорников. Эти курносые шпингалеты, вися на подножках, с папиросами, лихо зажатыми в зубах, сотнями прибывали с юга. Милиция не успевала ловить и устраивать их в детприемниках.

Было лето 1928 года.

Петр Гирин пешком пришел на Красную площадь. Ленинский Мавзолей был закрыт для ремонтных работ. Рослый милиционер, одетый в белую гимнастерку, сказал Гирину, что Мавзолей откроется не раньше как к первому августа. Он засвистел, останавливая двух заблудившихся теток. От ГУМа через бывшие Иверские ворота строем прошла группа молодежи. Ребята и девушки были одеты в форму: в этом году по распоряжению МК комсомола все московские комсомольцы должны были носить юнгштурмовки.

Гирин постоял около ГУМа, время тянулось необычно медленно. Мимо разноцветной, с причудливыми башенками Покровской церкви он прошел к реке и еще долго бродил среди приземистых церквушек Зарядья. Наконец пришло время идти куда надо.

На Старой площади Гирин нашел нужный подъезд, поправил фуражку, оглядел начищенные сапоги. Согнал под ремнем складки гимнастерки. «Ну, будь что будет!» — подумал Петька и открыл высокие двери.

В пустом вестибюле никого не было. Петька поднялся на третий этаж и ступил в длинный, тоже пустой коридор с одинаковыми дверями. Он нашел необходимый номер и постучался. За дверью никто не отозвался. Тогда Петька открыл дверь и вошел. В небольшой комнате с двумя шкафами, с портретом Маркса на стенке, пахло табачным дымом. На Петьку поднял глаза невзрачный молодой человек, сидевший за столом в углу:

— Здравствуйте, садитесь.— Он отложил какую-то книгу и, распутывая телефонный шнур, казалось, добродушно оглядел посетителя.— Слушаю.

— Тут меня вызывали... на сегодняшнее число.

— Фамилия?

Петька сказал. Человек за столом посмотрел на листочек шестидневки. Затем встал и, скрипя крагами, прошелся к шкафам и обратно.

— Садитесь, садитесь, товарищ Гирин.

«Вишь, а свою фамилию не говорит»,— подумал Петька и не сел.

— Вы уроженец Вологодской губернии?

— Так точно.

— Социальное происхождение?

— Бедняцкое. Ходил по миру.

— Родственники в деревне есть?

— Нет. Все умерли.

— Так, хорошо. С какого года член партии?

— С двадцать шестого.

— Чем вы объясняете ваше увольнение с работы в канцелярии ЦИКа?

Петьку бросило в жар. Он не ждал такого вопроса.

— Так ведь... Чем? Мужика выставил. Приписали... левый уклон...

Парень еще раз оглядел стройную, военной выправки, фигуру Петьки, помолчал.

— Вас хочет видеть завсектором товарищ Шуб. Идемте.

В коридоре Петька лихорадочно соображал, что может быть дальше.

Сопровождающий привел его в небольшую приемную, попросил подождать и без стука открыл бесшумную, обитую коленкором дверь. Минут через пять, которые показались Гирину очень долгими, он вышел.

— Войдите.

«Ну, двух смертей не будет, а одной не миновать»,— подумал Гирин, осторожно прикрыл за собой дверь и остановился. В глубине кабинета спиной к Петьке стоял Шуб. Он повернулся, энергично передвинул стул и сел, глядя в упор на Петьку.

— Товарищ Гирин! Нам стало известно, что вы уволены из курьерской группы за моральное разложение, то есть за пьянство...

У Гирина открылся рот, он хотел перебить, объяснить, но зав сектором ничего не дал ему сказать.

— Вас следовало исключить из партии! Но, принимая во внимание социальное происхождение, мы решили...

Гирин выдержал долгий холодный взгляд.

— Ваш проступок мы оставили без последствий и решили... Где вы сейчас работаете?

— Литейщик! — у Петьки отлегло немного от сердца.— Формую в литейном.

— Мы дадим вам возможность исправить вину!

— Так точно... Понимаю...— Гирин вскочил и, по-дурацки мигая, одернул гимнастерку.

— Сидите, сидите. Вот здесь у нас есть сведенья... Вы ведь бывали у товарища...— зав сектором посмотрел на Петьку и назвал фамилию.

— Так точно. Два или три раза.

— И вы должны знать, как он относится к Михаилу Ивановичу Калинину.

— Никак нет!..— Петька снова насторожился.— Только по мелким вопросам...

— В партии, товарищ Гирин, мелочей нет! — перебил зав сектором.

— Нет, я...

— Не нет, а есть, товарищ Гирин! — Шуб ладонью разгладил какую-то бумагу.— Вы поняли?

— Понял... то есть...

— Вы должны подтвердить этот факт. Вот прочтите... Прочтите и подпишите.

Гирин молча взял поданный ему лист. Никто не знает, что творилось сейчас в Петькиной душе, он сидел у стола

и с наивно-простодушной физиономией читал, чувствуя на себе пристальный взгляд Шуба. Телефон вдруг забренчал.

— Да, слушаю,— Шуб переложил пресс-папье с места на место, встал.— Да, да... Понимаю, товарищ... Разумеется, нет, но...

Гирин, делая вид, что читает, вслушивался в разговор.

— Да, я был на этом митинге... Но... Я прошу выслушать...— Петька мельком увидел, что Шуб вдруг переменился в лице.— Почему безответственно? Я... У меня как раз сейчас представитель с завода! Он может подтвердить... Да, слушаю... Сейчас. Понятно!

С ловкой поспешностью, неожиданной при такой неспортивной комплекции, Шуб вышел из-за стола.

— Товарищ Гирин! Подождите в приемной. Мы продолжим, когда вернусь...

Он взял бумагу, пропустил Гирина вперед и, закрыв кабинет на ключ, исчез.

Петька оказался в приемной один. (Парень в крагах тоже вышел куда-то.)

Петр Гирин с минуту стоял посредине комнаты. Вдруг он решительно заправил гимнастерку, вытер пот со лба и загривка и, стараясь не торопиться, вышел в коридор, прикрыл дверь.

Его никто не остановил, не окликнул. Вскоре он был уже на улице, оглянулся и чуть не бегом кинулся на трамвайную остановку...

* * *

Жены Клавы и Лаврентьевны дома не было. Шиловский спал, видать, после обеда. Гирин быстро и тихо переоделся. Рассовал по карманам документы и деньги. Снимая с ремня кобуру, он на миг задумался... Потом вынул маузер и отбросил кобуру прочь. Проверил патроны, завернул оружие в полотенце и уложил в баул вместе с гимнастеркой и двумя сатиновыми рубахами.

Шиловский всхрапнул на кровати, перевернулся на другой бок. Петька замер, боясь разбудить друга. Оглядел большую, разделенную занавесками, комнату. На горке, где стояла укрытая кружевной накидкой хромка, он увидел

фотокарточку. Клава была снята в берете, на кофточке ясно виднелась та самая брошка, с зимним полем и лесом. Шиловский перестал храпеть, зашевелился. Петька сунул снимок в карман и схватил баул.

В тот же день он надолго и, как ему думалось, навсегда, исчез из Москвы.

II

Прозоров шел на мерный речной шум, сквозь белый березник, обметанный роскошной, еще не загрубевшей листвой. Головки высоких лесных купальниц звучно стегались о голенища сапог. Шум реки сплетался с ветряным шелестом первой зелени. Трещали, барахтались в недальних кустах по-ребячьи доверчивые дрозды. Размеренно, чисто и неторопливо куковала кукушка. Пахло травяным соком, ландышами, но Владимир Сергеевич шел к реке, ни во что не вникая.

«Россия, Русь...— думал он снова и снова.— И что за страна, откуда взялась? Отчего так безжалостна к себе и своим сыновьям, где пределы ее несметных страданий? А ведь что за народ! Как прост и бесхитростен, ожидая того же от всех и каждого.

Прозоров вышел к высокому шибановскому обрыву, приставил ружье к дереву. Внизу шумела река, она была еще по-весеннему полноводной, но струилась уже по-летнему, очень ясная и прозрачная. Владимир Сергеевич бесконечно устал от своих дум. Хотя они, эти думы, были ясны, вот так же, как эти струи, но что с того? Они такие же нескончаемые, как и эти ясные, пронизываемые солнцем струи, и душа изнемогает от этого еще больше.

Прозоров взял ружье и осторожно вывел затвор, извлекая патрон. Это была обычная трехлинейка, с расточенным до двадцать восьмого калибра стволом и с ненужной теперь магазинной коробкой. Владимир Сергеевич еще лет десять тому назад выменял его на гончую. Сегодня ему так и не удалось увидеть тетеревов, которые, по одному, все еще токовали в разных местах. Держа одной рукой ружье, а другой хватаясь за ветки черемух, он спустился к реке. Вода была не глубока, но быстра. Прыгая с камня

на камень, Прозоров упал, его подвел скользкий обомшелый валун. Владимир Сергеевич сумел-таки не искупать ружья, но сам оказался весь мокрый. С веселой злостью он выскочил на шибановский берег и зашел в сеновал, стоявший неподалеку. Чей же это сарай? Здесь было еще много прошлогоднего сена. Прозоров разулся, разделся догола и, жгутом скручивая одежду, выжал воду. Вынужденное купание неожиданно обернулось приятным освежающим состоянием. Он вдруг почувствовал себя молодым. Растирая колени и плечи, он впервые в жизни всей кожей ощутил ласковое лесное дыхание и рассмеялся: «Что за черт! Неужели от такой ерунды зависит душевный лад, неужели так мало надо?»

Где-то в лесу ухали бабы, оттуда несло дымком и чуялся треск сучьев. Были слышны мягкие удары топоров, рубивших лиственный лес. Шибановцы городили лесной огород, по-здешнему осек, опоясывая поскотину и отделяя ее от хлебных полей.

Прозоров обсушил на солнце белье и толстовку, оделся и прямо через чащобу пошел на запах дымка. Лес еще был полон птичьего пенья, хотя и не такого буйного, как ранней весной. Уже летали первые оводы. Коричневые сморчки целыми компаниями росли на припеках около обгорелых пней. Прозоров подумал о том, что не удерживает, упускает куда-то счастливое состояние, которое пришло к нему в сеновале. «Нет, нет... Куда ты спешишь? Почему обязательно надо торопиться, проходить мимо, все дальше и дальше?» Но он даже не знал, что это такое, мимо чего он идет. У него было лишь смутное понимание, что он проходит мимо. Но мимо чего?

Он рос в мокром и дымном Питере. Скромность материальных средств поощряла в семье духовную щепетильность, хотя и не считалась достоинством. Отец Прозорова, будучи дворянином и служащим акционерного общества, знал несколько языков. Он был умеренно сведущим во всех видах отечественных искусств, но почти не занимался воспитанием сына, полагая, что естественное развитие лучше всякого нарочитого воспитания. Мать же была простой крестьянкой, вывезенной из этих мест. Кто мог привить Прозорову рационализм и разрушить стыдливость?

Владимир Сергеевич разволновался, вспоминая свою детскую и юношескую созерцательность. Сейчас он

с улыбкой оживил в памяти все свои четыре любви и ту, самую первую, когда ему было всего шесть или семь лет. Тогда он с замиранием маленькой детской души ждал прихода толстой и доброй девушки-прачки. Она приходила с бельем дважды в неделю и каждый раз щекотала и забавляла его, от нее так волнующе пахло ванилью и пудрой. Он даже не помнит сейчас, как ее звали. Потом, в гимназии, он глубоко и нежно влюбился в Соню Нееловскую, которая чем-то напоминала девушку-прачку и была старше его. Может быть, это последнее (какое, в сущности, глупое!) обстоятельство сделало жизнь если не несчастливой, то по крайней мере серой и заурядной.

Помнится, Соня заканчивала учебу на Бестужевских курсах. Он уже учился в Технологическом и часто встречался с нею в Летнем саду. (В памяти навсегда запечатлелось широкое добродушное лицо великого баснописца, он и сейчас мог хорошо представить любую деталь барельефа.) Он вспомнил, что чем нежнее и больше была его любовь к Соне, тем недоступней становились они друг другу. Во всяком случае, так считал он, Прозоров. Соня казалась ему все более недосягаемой, и тайное высокое выражение мраморных бюстов, мимо которых они ходили, было в чем-то сродни состоянию влюбленных. В ту пору он посещал марксистский кружок, не желая отставать от времени и выглядеть хуже других. Однажды, уже во время войны, Прозоров уезжал на лето в деревню. В Вологодской губернии жила его тетка, отцова сестра. Ее небольшое именьице и пятьдесят десятин леса, еще при ее жизни переписанные на брата, ничуть не интересовали Прозорова, но он любил приезжать сюда. В тот раз, соблюдая конспиративность, он не сообщил Соне о своем отъезде и уехал не попрощавшись...

В кожаном отцовском чемодане было устроено и тщательно заклеено саржей второе дно, под ним лежало с десяток нелегальных брошюр. Он взял пролетку и с чувством радостного волнения выехал с чемоданом на Невский. Всю дорогу до Николаевского вокзала он смотрел на прохожих и на пассажиров других пролеток глазами человека, причастного к чему-то большому и тайному. Он был горд тем, что знал нечто такое, чего не знают все эти прохожие, нечто недоступное для всех их. С захватывающим холодком в левом боку он купил билет и, не беря носильщика, раз-

местился в вагоне второго класса. Он не спал тогда всю ночь...

Сейчас Владимир Сергеевич покраснел до корней волос и от этого пошел быстрее, не разбирая тропы. Он вспомнил, как рано утром приехал в сонный солнечный уездный городишко. Никто не покусился на его чемодан, никто не обратил внимания на возбужденного бессонницею студента. У него имелось задание связаться с местными социал-демократами. Не заезжая в деревню к тетке, он остановился по адресу, данному ему в Петербурге, хотя раньше всегда останавливался у давних знакомых. И в тот же день он отправился по второму конспиративному адресу. Оказалось, что здешний кружок состоял всего из трех членов: из уездного землемера, учителя местной гимназии и ученика той же гимназии Якова Меерсона. Задание петербургских друзей было выполнено как-то слишком уж буднично, и Прозоров тут же вернулся к своему нормальному состоянию. Может быть, причиной тому явилась черноглазая полногрудая Женя, с которой познакомил Прозорова юный подпольщик. Она, будучи на каникулах, тоже проводила лето в уездной глуши. Словно в противовес своему брату Яше, молчаливо-испуганному гимназисту, говорившему редко и всегда невпопад, Женя была весела, остроумна и разговорчива. Ее, как она утверждала, никогда не интересовала политика. Однажды в поле за городом, на ромашковом теплом лугу она предложила Прозорову загорать и тут же, ничуть не стесняясь, разделась. Прозоров, изрядно ошарашенный, боясь шевельнуться, сидел рядом.

В те дни Соня Нееловская была не то чтоб забыта, но отодвинулась куда-то, и он не заметил, как прошло это счастливое лето. Под конец он окончательно загорелся, вспыхнул и горел словно пересохший берестяной свиток, зажженный на сильном ветру. И в Петербург он вернулся совершенно новым, другим. Даже во время войны, будучи прапорщиком одного из инженерно-саперных полков, случайно встретив Нееловскую, он не раскаивался в предательстве. Полк отправлялся на фронт, а она уезжала на юг к родственникам...

Когда же он видел ее еще? Революции, голод и кровь гражданской войны заслонили не только ее, но и все остальное. Понятия смещались и путались. Любовь казалась ему тогда чем-то неуместным и мелким. Отец умер

в Питере, а мать доживала свой век в разоренном именьице. Прозоров воевал на Северном фронте, служил одно время в Шестой армии в штабе красного генерала Самойло. Штаб размещался тогда в Вологде, и Прозоров был техническим советником в одном из отделов.

«Ах, боже мой ..» — он со стыдом вспомнил и ту нелепую грубую связь, связь с глупой и жадной женщиной, имя которой теперь ему даже мысленно не хочется произносить. Почему же ему все время вспоминалась Соня Нееловская?

Как-то, это было в феврале семнадцатого, в Петербурге, он видел, как городовой увещевал господ студентов, предлагая им разойтись. Из толпы, словно молодой петушок, разжигая смелость, выскочил гимназист и дернул за погон верзилу-городового. Толпа тотчас с криком и смехом сомкнулась вокруг. Городового мигом разоружили. Отняли у него тупую, смазанную техническим жиром шашку. Тогда Прозоров впервые ощутил какое-то странное чувство неестественности, душевной неловкости. И оно, это чувство, не покидало его все эти годы...

«Да, да... Страшная жизнь, нелепая и святая страна. Куда ступает она, и что делать ему, Владимиру Прозорову, в этом мире? Как жить?»

Владимир Сергеевич не заметил, как вышел на горку.

На сухом месте под большою сосной разместилась на отдых пестрая шибановская артель. Женские голоса забивали говор немногочисленных мужиков. Прозоров остановился, заслоненный кустами. Бабы, одетые кто во что, девки, даже как будто принаряженные, пристроившись на траве и пеньках, визжали и хохотали. Горело два костра с подвешенными на жердях полуведерными чайниками. Прозоров узнал мужиков: одетый в холщовый балахон шибановский поп, отец Николай, дедко Савватей Климов и тощий Акиндин Судейкин учили курить совсем молодого Сельку — брата Игнатия Сопронова. Остальные подростки с почтительным ужасом наблюдали за своим отчаянным одногодком.

— Селька, ты бы сходил нарвал смородины,— сказал Судейкин.— Чем курить-то. Дело нехитрое, выучишься.

— А я чаю не пью,— отозвался Селька, мусоля цигарку.— Кто пьет, тот и идет.

— А ну-ко вот не сходи! — зашумели бабы.— Не сходи-ко, сейчас все выглядим!

Селька показал бабам фигу:

— Не выглядишь!

— Ох, сотона, бес! Девки, держите Сельку, сейчас выглядим!

Тоня — бойкая черноглазая девушка, по прозвищу Пигалица,— спрыгнула с места, подскочила к Сельке и схватила его за штанину. Селька вырвался и бросился наутек. Девки и бабы с криком погнались за ним. Но Селька, как заяц, сигал через пни и кусты.

— Нет, не догонить! — убежденно сказал Акиндин Судейкин.— Да что Селька, у него и глядеть-то, наверное, нечего. А вот у Николая Ивановича бы...

Отец Николай, отдыхавший на куче веток, открыл один глаз:

— Кто говорит? Ты, Акиндин?

— Я.

— Надо бы тебе язык выдернуть.

— Пошто, батюшка?

— Долог.

И тут послышались веселые возгласы баб:

— А что, Николай Иванович! Матушке не сказали бы.

— Ей-богу!

— Ведь не убудет, ежели поглядим.

Отец Николай встал и поплевал на руки:

— Ну-ко давай, попробуйте.

Но бабы и девки не осмелились подходить к попу.

— Это вам не Селька, связываться-то,— удовлетворенно заметил Акиндин Судейкин.— Сколько, к примеру, в тебе пудов, батюшка?

— Сколько есть, все мои,— сказал отец Николай.— Я бы и твоего Ундера, жеребца-то, на коленки поставил, не то что...

Начался спор, поставил бы или нет. Тонька-пигалица подобрала подол своего продольного сарафана:

— Селя, Селя, иди посиди!

Селька соблюдал расстояние.

— Ишь, напугали парня,— сказал старик Савватей.— Селька, а ты взял бы да добровольно и показал. Без всякой мятки.

— Сам показывай!

— Я-то што, я могу.

— Ой, не хвастай! — закричали бабы.— Ой, Савватей, сиди!

— Слабо́! Знамо, слабо́!

— Слабо. Мне ничего не слабо.— Савватей вспрыгнул на кривые, обутые в опорки ноги. (Он незаметно сунул руку за гашник своих синих холщовых штанов, уляпанных на коленях еловою серой.)

— Слабо, слабо! — издалека подзадоривал Селька.

Савватей Климов — этот шибановский шутник и всегдашний враль, высунул из ширинки палец, поводил из стороны в сторону и согнул. Все бабы захохотали, а Тонька завизжала и отвернулась, закрываясь платком.

— Ну, эких-то и у меня много,— сказала Палашка Евграфова. (Прозоров знал эту девку, это за ней бегал председатель ВИКа Микулин.) Она первая опамятовалась от смеха.

— Ой, леший, леший, сотона! Сивой!

— А пошто криво-то? — спросил кто-то из баб.

— Рематиз,— строго сказал Савватей и сел на пенек.— Поживи-ко с мое-то.

Прозоров прислонился к березе, на минуту закрыл глаза. Он чуть не опрокинул котелок, приставленный к корневищу. Береза была слегка подрублена. В разрубе торчала веточка, по ней светлой, прерывающейся на капель струйкой стекал в котелок березовый сок.

Прозоров округлил жесткие скулы, осторожно отстранился от дерева. Он только хотел ступить на полянку, как вдруг совсем близко кто-то тихонько ойкнул. Он оглянулся: в трех-четырех шагах замерла девичья фигура. Тонька пришла за соком. В больших темных глазах спуталось все: изумление, испуг, кокетливое озорство, восхищение и вызов. Прозоров шагнул из кустов:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, здравствуйте, пожалуста.

— О, Владимир Сергеевич, ну говори, кого же убил-то? — обрадовался отец Николай.

— Да вот... ноги одни. Да еще время.

Женщины притихли, разглядывая Прозорова. Он за руку поздоровался с пожилыми мужчинами.

— Рыбка да рябки, потерять деньки.

— Знамо, так. Как же.

— Вот не повезло вам, Владимир Сергеевич,— сказал отец Николай.— Мы ведь только что пообедали.

— Спасибо, я не проголодался.— Прозоров сел на валежину, достал кожаный портсигар, угостил протоиерея

папиросой. Не желая отставать, Савватей вынул из пиджака свою деревянную с медным колечком табакерку. Он угостил табачком сидевшую рядом бобылку Таню, та понюхала. Долго прилаживалась, но чихнуть не смогла, а Савватей безнадежно махнул рукой, пустое, мол, дело. Прозоров прикурил от костра. Тонька принесла охапку только что распустившихся веток смородины и затолкала их в чайники. Акиндин Судейкин перерубил сухостоину и подкинул в огонь. Чайники закипели.

— Что же? — оглянулся Прозоров.— Без меня у вас вроде бы веселей было.

— Да нет, какое особо веселье,— заметил Акиндин Судейкин.— Вот ты, Владимир Сергеевич, человек грамотный. Скажи-ко, а нас-то в колхоз будут заганивать?

— Тебя, Судейкин, первого загребут! — сказал отец Николай.— С Ундером-то...

— Вон в Тигине, говорят, учредили.

— В Тигине,— перебил Савватей Климов.— В Тигине верно, да ничего у них не выйдет с коммуной.

— Почему, Савватий Иванович?

— А потому, что там одне шалуны живут.

— Ну, не ври,— сказал отец Николай.— Я в Тигине бывал, знаю. Там мужики работники, не чета тебе.

— А что я, что я? — обиделся Климов.— Я по миру век не бывал! И не пойду.

— А много ли нищих с Тигины?

— Оно так, с других мест больше.

Помолчали.

— А что, Владимир Сергеевич,— опять заговорил Акиндин Судейкин,— правда, что и земельным обществам хана? Я чуял недавно.

— Почему же?

— Да потому. Вон Дугина, наставница-то, все за коллектив агитирует. Ты нам скажи, скажи. Ты знаешь и газеты тоже выписываешь.

Прозоров действительно знал. На днях в «Крестьянской газете» сообщалось о еще весеннем постановлении ВЦИК и СНК РСФСР. В этом постановлении говорилось, что крестьянские земельные общества, независимо от сельских сходов и переделов, отныне не имеют права рас-

поряжаться землей и ее выделом для вновь создаваемых коллективов.

— Так правда или нет? — не отступал Судейкин.

— Пожалуй, правда,— неохотно отозвался Прозоров.

Еще прошлой осенью, в ноябре, пошли слухи об отмене этого земельного закона. Но слухи слухами, а постановления постановлениями. Нынче весной, в Вологде, Прозоров узнал о пленуме особой коллегии Высшего контроля по земельным спорам при президиуме ВЦИК. Этот пленум принял определение, разрешающее изымать землю из частного пользования. Наконец, еще в начале этого года была директива Наркомзема, обязывающая местные органы изымать излишки земли. Прозоров знал все это. Но что он мог ответить Акиндину Судейкину?

Тот ждал и глядел на Прозорова, держа на отлете щепотку с климовским нюхательным табаком.

— Не знаю, брат Акиндин...— сказал Прозоров, с каким-то особым старанием затаптывая окурок.— Не знаю...

Чай, вернее смородиновый навар, пила уже не вся артель и без прибауток.

— Эх! — матюкнулся Судейкин и далеко в сторону бросил берестяной ковшик, сделанный нарочно для чаю.

— Ну-ко, мужики,— сказала, поднимаясь, Аксинья Рогова.— Надо бы и погородить.

И все заискали свои однорядные рукавицы и топоры, пошли по своим местам.

Владимир Сергеевич кинул ружье на ремень и с тяжелым чувством пошел по тропе к ольховской дороге. Он думал о разговоре с шибановцами, все было тревожно и неспокойно. Но почему же светилась в душе какая-то нечаянная радость? Что бы это? Ах, да... Эта девушка, Тоня... Светились черные, испуганные и в то же время полные лукавства и вызова глаза этой не по-крестьянски хрупкой шибановской девушки. Он вспоминал и не мог вспомнить, чья она и какая у нее фамилия, и уже непроизвольно решил, что в предстоящий иванов день обязательно придет в Шибаниху. Пока он и сам не знал зачем, но решил это твердо и весело. И жизнь, обернувшись каким-то новым, неожиданным для него боком, снова приобрела яркость и красоту.

III

Он едва удержался, чтобы не сходить в Шибаниху до иванова дня. Всю троицкую неделю до заговенья он жил с ощущением душевной приподнятости, начал бывать на всех деревенских праздниках. Он то в одной, то в другой деревне несколько раз видел Тоню, сначала в троицу, затем в заговенье. Она, как и все девушки, плясала и пела на гуляньях. Прозоров узнал о ней все, что мог. Тоня жила в безотцовской семье, с матерью и двумя младшими братьями, у нее было обидное прозвище, но у кого в деревнях не было прозвищ? Она считалась не хуже, не лучше других, но он теперь знал, что никто кроме него не принимает ее всерьез.

В иванов день он пришел в Шибаниху, пряча желание увидеть ее за внешним предлогом: надо было узнать о продаже зерна.

Превосходный полдень опять был ярок и зелен. Лето только что вошло в полную силу, но оно еще не изнуряло людей ни работой, ни зноем, только скотина уже страдала от оводов. Прозоров нарочно пошел не большой проезжей дорогой, а той, знакомой тропой, через покосы, мимо озера и над речкой. По этой дороге старухи ходили в церковь, девки и парни на гулянки, а мальчишки удить.

Так славно было ступать по этой веселой тропе! Молодые, сочные, зацветающие травы росли чуть ли не на глазах, они так и перли из теплой земли. Казалось, от одного вида мясистых стеблей щавеля вязало во рту. Дикий, цветущий бело-розовым цветом клевер источал едва уловимый медовый дух. Везде домовито гудели шмели, они кургузо садились то на клевер, то на бордовые колокольцы, огнетая их своей тяжестью. Купальницы, затопившие было весенней желтизной все луга, теперь уступили место этим колокольцам, первым ромашкам и нежной, пронзительно-розовой, словно лазурной гвоздичке, которую называют в народе девичьей красотой. Кое-где в парных низинках уже зацветал пушистый, белый, с кремово-желтым отливом багульник. В конце сенокоса он будет дурманить косцам головы, но пока его очень немного, и тонкие запахи других трав овевают лицо при каждом, еще нежарком луговом вздохе.

Дорожка, обросшая панацеей, бежала по сенокосным полянкам. Она то касалась молодого березника, то огиба-

ла густые всплески ольхи, ивы и не до конца отцветших черемух, то вскидывалась на краснеющую земляникой горушку, то спадала в комариную, пахнущую папоротником низину. Остро, слепяще мерцало в зеленых прогалинах густой синевы долгое озеро.

«Боже мой...— смутно и как-то отстраненно, будто это был не он, а кто-то со стороны, думал Прозоров.— Боже мой... Как все хорошо...»

Под вечер он вышел на заречные шибановские покосы, к тому самому сеновалу, где сушился две недели тому назад. В сеновале все было так же, как и тогда, только осы свили под крышей серое большое гнездо. Оно висело вверху словно лукошко, но было почему-то совсем безжизненным. Владимир Сергеевич прилег на сено, стал слушать кукование кукушки и шелест осин за стеной сеновала. Он был сейчас совершенно счастлив. Может быть, это ощущение полного счастья разом вскинуло его на ноги: он подтянул сапоги, отряхнулся, одернул жилетку. «Да, люди счастливы, пока они не замечают своего счастья. Оно, это самое счастье, исчезает, как только осознаешь его... Почему же оно исчезает как раз тогда, когда его осознаешь? И уже не возвращается больше...»

Владимир Сергеевич Прозоров отмахнулся от этой мысли, как от назойливого комара, который звенел над затылком и около уха. На эту отмашку из гнезда молниеносно вылетела оса. Прозоров отмахнулся от нее, и вдруг сразу несколько ос с жалобным звоном бросилось на него. Одна из них вцепилась в запястье, конвульсивно выгнулась и влепила жало. Прозоров, смеясь, по-мальчишески резво выскочил из сеновала. Острая боль в руке тотчас исчезла, но через минуту рука заныла и начала тяжелеть. Когда осы прекратили преследование, Владимир Сергеевич набрал сырой земли и осторожно, чтобы не запачкать манжет, приложил к опухшей руке. Однако боль стала еще устойчивее.

«Шутки шутками, а что было б, если б все осы ужалили сразу, одновременно? — подумалось Прозорову.— Пожалуй, было б не до сватовства».

Посмеиваясь над собой и стараясь не думать о распухшей руке, он вышел в заречное поле, к мосту, ведущему на шибановский берег. Здесь, у картофельных погребов, выкопанных в песчаном высоком берегу, Прозоров сел и огля-

делся. На той стороне стояла Шибаниха. Оттуда слышались голоса мальчишек и взрослых парней, играющих в «бабки». Большому гулянью было еще не время, но гармонь уже сказывалась в одном конце, словно бы не всерьез. И так же, как бы не взаправду, прозвучала девичья песенка:

Мой миленочек лукав,
Меня дернул за рукав.

Прозоров не разобрал конец частушки и вдруг взволновался. Взволновался и ужаснулся тому, что он хотел сделать. Он решительно вышел к мосту. Какой-то мальчонка в закатанных выше колен штанах, в красной праздничной рубахе, стоя в воде, высматривал рыбину. Увидев Прозорова, он засмущался и, набычившись, пошел по воде, к берегу.

— Ты чей, мальчик? — окликнул Владимир Сергеевич. Мальчишка остановился и, стесняясь еще больше, уставился в землю. Прозоров подошел к нему.

— Так чей же ты?

— Рогов.

— Ивана Никитича?

— Игы.

— А как зовут? Да ты не бойся.

— Серегой.— Мальчик окончательно смутился.

Прозоров достал серебряный полтинник и подал ему:

— Возьми, купишь в лавке пряников.

Сережка замотал головой и бросился бегом в гору. Прозорову пришлось дважды окликнуть его, чтобы остановить.

— Подойди сюда, не бойся.

Сережка подошел.

— Ты Тоню знаешь?

— Пигалицу?

— Ну да,— улыбнулся Прозоров.— Ты можешь ее найти?

Влидимир Сергеевич, стараясь быть спокойнее, объяснил свою необычную просьбу: Сережка разыщет в деревне Тоню и пошлет ее сюда, на этот берег, только чтобы никто об этом не знал. Мальчишка внимательно слушал и серьезно кивал, обещая сделать все точь-в-точь. Он так и не взял полтинник, побежал через мост, в гору, к деревне.

Владимир Сергеевич проводил глазами красную рубашку и только теперь заметил, как сильно бьется сердце... Опомнившись, он со стыдом обдумал всю нелепость своего положения, но было уже поздно: красная рубаха Сережки уже мелькала где-то в густых проулках деревни.

Он почувствовал, что краснеет, и вновь закурил, глядя на Шибаниху.

Было уже далеко за полдень. Вокруг переливались от ветра хлеба: поле ржи сквозило уже тем сизым отливом, который приходит вместе с выходом озими в трубку. Густой, но не навязчивый запах зеленых соков плотно и настойчиво вместе с ветром давил со стороны поля. По песчаной дороге шли в Шибаниху ранние гости: старухи с внучатами. Они шли полем босые, неся обувь на палочках за спиной, вместе с узелками гостинцев. Выходили на мост и крестились, затем переходили на шибановский берег и долго, не торопясь, мыли в речке ноги. Затем поднимались в гору, по тропкам, к подворьям своей родни. В деревне изредка взыгрывали первые гармони, слышались крики играющих в «бабки».

Владимир Сергеевич Прозоров то садился под крышу погреба, то вставал и ходил около. Никогда в жизни он не испытывал такого стыда и волнения.

* * *

В деревне жизнь шла своим чередом. Шибаниха праздновала иванов день. Какое ей было дело до того, что за рекой на взгорье волновался и маялся Прозоров?

Один Сережка Рогов, обремененный заботой и тайной, думал о нем. Мальчишка прибежал в деревню и огляделся: искать Тоньку, да еще в праздник, дело не шуточное. Маленькие ребята били по рюхам в проулке у Кеши Фотиева, неподалеку играли в «бабки» мужики и большие ребята.

Сережка сбегал в другой конец, потом на малый посад. Нигде не было видно больших девок, одни маленькие сидели на бревнах и качались на скрипучих качелях. Каждая держала в носовом платке по праздничному крашеному яичку. «Тоже петь норовятся, копрызы»,— подумал Сережка, подражая дедку Никите. Он почти всегда подражал дедку, но сам это, конечно, не замечал.

— Вы Тоньку-пигалицу не видели? — Он остановился и сердито поглядел на девчонок.

— А тебе на что?

«Не стоит с этими связываться».— Сережка побежал дальше. Он обязательно нашел бы Тоньку, обегал бы все дома и нашел бы, не остановись он у толпы, где мужики и ребята играли в «бабки».

Сережка, стараясь не забыть о своем деле, решил посмотреть хоть капельку. Крепче всего он любил в своей жизни играть в козонки. У него даже имелась своя битка. Десятка два крашеных и столько же некрашеных козонков лежало дома в натодельной пестерочке. Он копил «бабки», часто проигрывая их другим ребятам, но после каждого пивного праздника, когда мать варила студень, ему доставалось два, а то и четыре. Как было не взглянуть на игру!

Он протиснулся сквозь девок и баб. Играли самолучшей в деревне биткой — нечаевской. Только что начали очередной кон. Иван Нечаев, в красной, как у Сережки, рубахе, поставил свою пару и далеко закинул малую битку. Ведь тот, кто закинет всех дальше, первым будет и бить. И все охнули: уж очень далеко закинул Иван Нечаев.

— Ну, Ванюха, гляди, не попасть!

— Попаду не попаду, лишь бы первому,— сказал Нечаев, давая место Жучку.— Давай, Кузьмич...

Шибановцы не любили Жучка за жадность и хитрость. Куда было Нечаеву связываться с Жучком, ежели Жучку были нипочем не только Микулин, но и председатель ВИКа, но и Игнаха Сопронов, бывший секретарь ячейки. Говорили, что после того как Сопронова сняли с ячейки, Жучок обозвал его попом-расстригой, и Сопронов уехал из волости куда глаза глядят.

Жучок взял из фуражки пару убогих некрашеных овечьих «бабок» и поставил на кон. На него зашумели:

— Ты чего экую мелюзгу?

— Ставь коровьи, крашеные!

— С такими не примем!

Жучок неохотно заменил козонки. Встал и забросил битку совсем рядом, всего на сажень от черты.

— Ну, Северьян Кузьмич! — захохотали вокруг.— Добро бить, да что останется. Самый остатний...

— Мне торопиться некуды,— сказал Жучок своим сиротским голосом, зорко поглядывая за Кешей, который забросил битку чуть подальше. Акимко Дымов, гостивший у Нечаева, подтянул голенища и тоже поставил пару, за ним бросили битку братаны Новожиловы, председатель ВИКа Микулин и шибановский поп.

Павел Рогов поставил свою пару и прикинул, откуда бить. Нечаева по-прежнему никто не осмелился перекинуть, он был первым. Между Дымовым и Нечаевым оказалось порядочно места, и Павел перекинул Акимка, чтобы пробить вторым.

Наконец все желающие играть поставили свои «бабки». Больше никого не было. Кон стоял как на блюдечке, все встали подальше от боков. Бабы, не смолкая, подначивали играющих:

— Этот-то, этот-то...

— Не говори!

— А ты чего, Северьян, близко? Гляди, ничего не останется, всех выбьют.

— А председатель-то? Где дак первой, а тут самый остатний.

— Нет, это Жучок самый остатний.

— Этот пазганет!

— Ну! А ты, батюшка, после кого?

Отец Николай не отвечал, водил плечами притопывая. Он делал разминку.

Ивану Нечаеву подали его каменную битку. Нечаев встал на свое место, расстановил ноги, обутые в не очень новые, но хорошо промазанные дегтем сапоги. Сдвинул под пояском красную ластиковую рубаху, прищурил правый глаз и поднес к носу битку. Он прицелился так трижды, поднося битку к самому носу. Потом вдруг отступил правой ногой назад, размахнулся. Дважды быстро переступил вперед и сильно ударил в кон, подавшись вперед всем своим коренастым телом. И затряс от обиды белой своей головой: битка прошла выше кона.

— Вот! — охнула его сестра Людка.— Не будешь эк далеко закидывать!

Нечаев, отказавшись «солить», в отчаянии махнул рукой и отошел в сторону. Павел взял биту и ударил без подготовки. Битка прошла тоже верхом и с краю. Это был тоже позор. Павел решил «посолить», то есть поставить двойную ставку, но «бабки» кончились. Он затрав-

ленно оглядел народ, заметил Сережку, своего юного шурина, который, чуть не плача от обиды, глядел на него.

— Сережа! А ну беги, принеси козонков!

Сережка схватил кепку и что было духу бросился домой за «бабками».

Павла не стали ждать. Микулин выбил всего одну «бабку», Новожиловы трех на двоих, а отец Николай и Кеша позорно промазали...

Бабы потешались над незадачливыми игроками, кон оставался целехоньким, когда очередь дошла до Жучка. Жучок же с близкого расстояния сильно хрястнул в самую середину, козонки из-под биты так и брызнули... Он сложил в корзину целую кучу выигранных «бабок».

— Ну хитер, Северьян, хитер!

— Солить не солил, а всех обставил!

— Так вы чего, мужики, неужто Жучку уступите?

— От молодец!

И Сережка забыл то, о чем просил его Прозоров. Он с сердечной болью отсчитал дома десяток «бабок» и приволок Павлу. Игра началась снова...

Пестрая сутолока иванова дня заволакивала Шибаниху. Молодежь из дальних волостей еще не скопилась в деревне, но деревня на широкую ногу принимала гостей. Улицы совсем опустели. Весь народ был по домам. И вот как раз в этот момент из отвода от поскотины в деревню вошли двое странных людей. Обвешанные сыромятными ремнями, держа в руках сундучок с каким-то непонятным «струментом», они попросили воды у новожиловского колодца. Напились и откашлялись. И вдруг один из них, здоровенный рыжий мужик в английской с большим козырьком фуражке, набрав воздуху, заорал:

— Кому животину лечить, легчить быков, жеребят, обрубать копы-таа! Легчить, лечить, обрубить копытаааа!

В домах заоткрывались окошки, завысовывались головы гостей и хозяев. За чужаками увязалось человек шесть прискакивающих ребятишек. В том числе и Сережка Рогов...

«Коновалы, коновалы пришли!» — потянулся, полетел ветерком занятный слух.

Акиндин Судейкин сидел дома со свояком Егором. Он только что налил в ендову кислого, не больно удачного пива и только хотел налить в стаканы, как с улицы донесся этот громкий призыв коновалов.

— Стой, Егорко! — Акиндин вскочил со стула.— Вон оне! Как раз вовремя...

— Неужто всурьез? — свояк не верил своим ушам.

— Всурьез... Матка, зови их сюды.

Акиндинова женка заревела в голос, двое девчонок-подростков тоже захныкали. Но Судейкин был неумолим, он уже давно решил прикончить «дело», вылегчить жеребца.

— А ну остановить водополицу! — крикнул он на плачущее семейство.— Вот я вас!

Когда коновалы сравнялись с домом, Судейкин высунулся в окошко:

— Откуды, товарищи?

Коновалы остановились.

— Дальние. Сейчас с Пунемы правимся.

— Милости прошу к моему шалашу. Заходите.

Коновалы переглянулись: приглашение было как будто серьезным. Они зашли в избу, поздоровались, а хозяин сразу налил им пива.

...Через полчаса вся Шибаниха знала, что Акиндин Судейкин будет легчить Ундера. Сережка Рогов стоял с раскрытым ртом среди мужиков и ребят, скопившихся в проулке у дома Судейкиных.

— С чего это он вздумал жеребенка-то легчить? Рехнулся, видать! — сказал Акимко Дымов, усаживаясь на тесовом штабеле.

— Судейкин в землю на две сажени видит,— возразил Савватей Климов.

— Видно, причина есть.

— Притчина одна.

— Да какая?

— А такая, что капитал, свое заведение.

— Ну, загнул. Да какой в Ундере капитал-то?

— В Ундере-то? В ём капиталу...— Савватей Климов присвистнул,— на тыщу кобыл хватит, не то что в тебе. У нас-то вон и всего по одной бабе.

— Ну, у тебя-то, Савва, наверно, не одна.— Жучок похлопал Климова по сухой спине.

— Есть. Не скажу,— кротко согласился Савватей.

— Ох, Савва, так это тебя ведь легчить-то надо?

— Куда Савву легчить!

— Мать-перемать! — вдруг встрепенулся Савватей.— А ведь он не имеет правов жеребца легчить! Он мне о масленице проспорил. Евонный Ундер мою кобылу должон три года обслуживать.

— Ты в суд подай.

— Верно. Как так?

— Аблаката найми!

Все ждали, переговаривались. В доме Акиндина чуялись приготовления: кипятили самовар, принесли два ведра речной воды. Вышел на лужок рыжий коновал, засучил рукава и, разбирая сыромятные ремни, даже не поглядел на публику. Вдруг Новожилов-младший раздавил сапогом цигарку и произнес:

— Шутки-то, ребята, шутками... А моя Шибра вон загуляла. Не хотел к жеребцу гонить, думаю, после праздника.

— В поскотине кобыла-то?

— Дома стоит.

— Ну, так веди, пока не поздно.

— Да ведь... А что? Пойду, может, договорюсь.

И Новожилов пошел в дом к Судейкину. Минут через пять он выскочил из ворот и, чуть не бегом, заторопился домой. Через какое-то время его вороная, широкая, как печь, Шибра уже стояла в проулке, кося на народ беспокойным глазом и прядая ушами. Баб и девок, скопившихся около, как ветром выдуло из проулка. Снова остался тут один мужской пол. Новожилов уже держал кобылу посреди лужка. Мощное призывное ржание Ундера послышалось из-за бревенчатых стен Акиндинова дома. Судейкин вышел на крыльцо. Он высморкался и махнул рукой: «А, все трын-трава! Давай, мол, Новожилов, держи крепче». И прошел в конюшню. Через пять минут рыжий коновал распахнул ворота. На лужок стремительно вылетел ярящийся Ундер. Сухое тело Акиндина Судейкина почти висело у большой, мотающейся головы жеребца. Толстый аркан, привязанный к недоуздку, волочился по земле. Акиндин, не выпуская аркана, отскочил от Ундера. Жеребец захрапел и, даже не остановившись, поднялся. Грива его взметнулась, он впился зубами в холку вздрагивающей Шибры. Сережка запомнил большой,

налившийся кровью глаз, косматую, словно туча, гриву. После второй садки Шибру увели, а Ундера несколько минут еще гоняли на аркане по кругу.

Потом второй коновал вынес на лужок ведро с водой и таз с кипятком, разложил инструмент, наладил льняную веревочку для жгута. По-видимому, этот маленький коновал был главным. Второй, здоровый и рыжий, разобрал ремни. Акиндин Судейкин подал им аркан, тряхнул головой:

— Валяйте... В избу пойду, тут помощников хватит.

— Мы, Акиндин Ларивоныч, и без помощников. Дело знаем.

— Валяйте...

Акиндин Судейкин понуро направился было к крыльцу, но вернулся. Жеребец был теперь спокойнее, стоял перетаптываясь, не мотал громадной своей головой и не рвал аркан из рук коновала. Акиндин погладил его по лощеной обширной косице:

— Ну, брат...

И быстро пошел к дому. Ундер, словно почуяв беду, тревожно заржал, и было в этом ржании что-то совсем беспомощное. Жеребец как будто просил не оставлять его одного на лужке с этими чужими, незнакомыми мужиками, среди праздничной деревенской ватаги.

Коновалы одновременно и мелко, словно бы невзначай, перекрестились. Рыжий осторожно и ласково похлопал Ундера по груди и окинул ремнем сначала одну переднюю ногу жеребца, потом другую. Ундер вздрогнул, но не успел ничего сделать. Коновал смело подпрыгнул под брюхо, стремительно обежал зад жеребца, подпрыгнул еще, затем с силой дернул концы ремней. Жеребец тревожно переставил громадные ноги, ремни стянули их еще больше, но он переставил еще, и коновал успел затянуть обе петли. Ундер задрожал, хотел сделать прыжок и вдруг повалился на траву. Ноги его были намертво связаны. Коновалы быстро скрутили их дополнительными ремнями, быстро вымыли руки. Маленький подошел к сундучку: на солнце остро, ослепительно блеснуло. Ундер храпел и бился в путах, его могучее тело мелко вздрагивало, все вокруг замерли.

Рыжий коновал взял нож и присел к Ундеру. Вдруг жеребец дернулся, и страшный жалобный визг, не визг,

а пронзительный крик вылетел из проулка, повис над всею Шибанихой.

Сережка Рогов весь затрясся, будто осиновый лист. Он смутно запомнил, как жеребец дергался на траве, как двое мужиков с волосатыми, кровавыми по локти руками распрямились над стихающим жеребцом. Один из них взял с земли два кроваво-сизых комка, кинул их в пустое ведро, пошарил вокруг глазами. Увидав Сельку Сопронова, кивнул:

— А ну-к, иди закопай!

Селька с восторгом схватил ведро. Он потащил его на задворки Кеши Фотиева.

...Сережка бежал по улице, не помня себя и не зная, куда он бежит. Жуткий, проникающий в каждую кость рев Ундера все еще звучал в ушах, в глазах переливались красным волосатые руки двух коновалов. Он перемахнул прямо через крапиву и побежал домой, даже не заметил большой ольховской ватаги, которая входила в Шибаниху и выстраивалась у отвода в широкий ряд, чтобы первой пройти через всю деревню. Гармонь яростно взыграла у отвода. Ольховские пошли по деревне, играя железными тростками. За ними тоже в ряд еле успевали пестрые, во все цвета платья и сарафаны ольховских девиц. В Шибанихе начиналось большое ивановское гулянье.

* * *

На взгорье, повыше картофельных погребов, в окружении кустиков стоял сделанный из веток небольшой шалашик. Наверное, здесь отсиживались одинокие, застигнутые грозой прохожие: в шалашике можно было только сидеть. Спасаясь от оводов, Прозоров наломал веток, залатал дырки в кровле, влез в это сооружение и сел, уткнувшись подбородком в колени. Шибаниха — большая деревня — была как на ладони.

Синичка села у его ног и пропищала что-то. Крупная холодная капля обожгла щеку. Где-то далеко, нарастая, заворчал гром, но не докатился, растаял, сошел на нет.

На востоке, подернутый дымчато-голубой мглой, маялся от жары лес, кроны сосен едва различались на горизонте. Зато чуть ближе, отделенный стожьями, стоял ближний

лес, и в его густой шевелюре легко различались мощные бронзовые сучья. Кроны застыли, словно клубы заколдованных зеленых дымов. Деревня по сравнению с лесом виднелась совсем близко, там белели в проулках платки и слышались голоса играющих в «бабки».

«Она ни за что не придет,— снова подумал Прозоров.— Почему она должна прийти, боже мой... Она не придет, и в мире все останется как есть. Но почему? Почему, например, васильки — это синие очаровательные цветы — так бесполезны и даже вредны, а ржаной колос цветет незаметно и некрасиво?» Владимир Сергеевич зажмурился, сдавливая пальцами лысеющий череп.

От леса тянуло теперь настоянным на травах и иглах жаром, оводы залетали прямо в шалаш. Вокруг в парном воздухе томились кусты и травы. Облака с красноватыми подпалинами табунились в неясной сини небесной мглы.

Внизу, как голубые вены крестьянской руки, вились по травяным поймам излучины двух речек. Над большой речкой белел мост, сзади волновалась под ветром густая зеленая рожь. Пройдет несколько недель. Набрякшие благодатной тяжестью колосья согнут в дугу миллионы золотистых стеблей. И древнее ощущение хлебопашца, безрассудное, безотчетное, не подчиняющееся ничему, кроме самого себя, вдруг поднимается от пяток, захолонет где-то около сердца и затуманит голову.

В сущности, ведь все люди в мире пахари...

Кто не оцепенеет в этом непостижимом тревожном мерцании? В этом извечном, еле слышном ропоте усатых колосьев? Будто шепот древности, шепот людских поколений, живших на этой земле и превратившихся в эту землю, почуется в шорохе колосьев. И люди оставят все на свете. Они возьмут в свои руки серпы.

Раскаиваясь, краснея и проклиная себя, Владимир Сергеевич покинул шалаш и снова как на ладони увидел Шибаниху. Она была многолюдна, загадочна, желанна, враждебна, священна и дорога для него. А что значил он для нее?

Пронзительный, леденящий вопль вдруг долетел из деревни. Прозоров вздрогнул и весь сжался от этого крика. Но он не стал, не мог думать, что означает этот леденящий крик, он быстро пошел обратно в Ольховицу, как во сне преодолел эти зеленые вечерние версты...

В Ольховице было тихо и пусто. Он не стал заходить в свой флигель, а направился в ныне коммунарский пустой дом. Лег на прошлогоднее сено и заснул. Сон его был тяжелым и странным. Он как будто и спал и не спал, весь мир был для него тишиной, не было ни мыслей, ни образов. Он не мог очнуться и тогда, когда открыл глаза, не воспринял того, что увидел. Митька Усов, председатель коммуны, живущий в прозоровском доме, тряс его за плечи. Он просил подстричь шевелюру и держал в руке ножницы.

— Владимир Сергеевич, стыдно в гости идти! Оброс как леший...

Прозоров поглядел куда-то сквозь него...

Не ощущая правой и левой стороны, не ощущая верх и низ, с открытыми глазами, Владимир Сергеевич лежал на спине и ни о чем не думал. Может, это было чувство бескрайности окружающего его мира? Времени не существовало, оно остановилось. Он ощупал лицо, провел ладонями от висков к шее, по бокам до бедер и вдруг ясно, остро ощутил свою материальность, свою плоть. Оказывается, он всего-навсего частица материи, крохотная, затерянная в мире частица, которой суждено остынуть и исчезнуть среди этой бескрайности.

Он встал и как лунатик начал ходить по настилу. Его мускулы ныли, он слышал, как сердце толкается в ребра и гонит кровь по этому простому, познанному им, Прозоровым, устройству. Да, да, это устройство и есть он — Прозоров, это в нем пульсирует красная жидкость, которая называется кровью.

Он не пошел во флигель, где жил, и снова лег, тишина была необъятная. И вновь исчезли три измерения, вновь бескрайность, безбрежность пространства растворили его, и только какие-то абстрактные образы чередовались, путались, поглощая друг друга, смещались, исчезали и вновь нарождались в его сознании.

IV

Был второй день праздника.

Данило Пачин гостил в Шибанихе, сидел за столом. Он вместе с женой и подростком-сыном гостил первый день у шурина Евграфа, а на второй все трое пришли к

Роговым. Как-никак родной сын Пашка вышел сюда впримы.

На столе стояла точеная хохломская чаша сусла: у Роговых не терпели хмельного на второй день. Данило несколько раз порывался встать, но бабы не наговорились в кути, да и парнишко еще бегал с Сережкой на улице.

Сын Павел с утра ушел на мельницу. Четверо недавно нанятых пильщиков наработались еще до завтрака. Все́ мужики, кроме дедка Никиты, ушли. Гостить при таких делах было Данилу совсем стыдно, и хотя невестка Вера и сватья Аксинья в один голос уговаривали остаться еще на ночку, он решительно заявил:

— Нет, надо идти! Делов-то много. Надо до навозной и корье бы свезти.

— Да много ли надрали-то? — спросила сватья.

— Пудов пятнадцать будет.

С улицы прибежали взбудораженные Олёшка с Сережкой, напились сусла и хотели податься обратно, но Данило остановил Олёшку:

— Не нагостился еще?

Сережке не хотелось отпускать ольховского гостя, но делать было нечего. Данило встал:

— Ну, дак... спасибо, сват. За хлеб-соль! К нам отгащивать. Приходите в казанскую-то. Простите, пожалуста.

— Вперед не забывайте! — попрощался дедко.

Гости перекрестились, бабы пошли их провожать.

Дедко Никита снял праздничную сатиновую рубаху, сложил в комод. Надел будничную, холщовую. Поясок, вытканный внучкой Верушкой, он повесил за шкапом на свой гвоздик.

— Сергий! Ну-ко, давай пойдем колеса мазать.

Сережке было велено снять праздничные штаны. Дед с насупленным внуком вышли во двор: вся Шибаниха готовилась возить и заваливать навоз. Праздника как не бывало, один отец Николай пировал с беззаботным Кешей Фотиевым, оба не сеяли ржи второй год. Народ ладил телеги, чтобы возить навоз в ночь, из-за оводов и жары.

Дедко Никита учил Сережку мазать колеса. Он подсунул под ось одноколой телеги жердь и подставил дугу, колесо, обтянутое выбеленным железным ободом, оказа-

лось на весу. Никита крутнул его, потом легонько вышиб топориком чеку из оси и снял. Сережка недовольно шмыгал от жары носом. Никита, будто и не замечая этого недовольства, сказал:

— Мажь, батюшко! Да много-то не капай.

Сережка, пересиливая неохоту, взял мазилку. Он макнул ею в деревянное ведро с густой черной колесной мазью. Дегтярный, смоляной запах и глянцевитая, густая, жгутом стекающая с мазилки черная гуща развлекли Сережку. Он и сам не заметил, как прошла обида на дедка. Стало опять интересно, не хуже, чем было утром.

* * *

Вечером, когда дедко запряг Карька в телегу, налетело столько комаров и мошки, что даже звон стоял в воздухе. Сережка проглотил нечаянно двух или трех комаров, от них не было спасу. Карька пришлось всего истыкать дегтярной мазилкой, чтобы его меньше кусали, мать плотно обвязала лицо и шею Сережки старым платком. Сразу стало жарко, но зато мошка не лезла за ворот и в уши. Дедко сходил за кривыми вилашками, телега уже стояла между хлевами. Мать и сестра Вера наметывали навоз. Тяжелые коричневые пласты еле-еле отдирались от подошвы, бабы вилами метали их в телегу.

— Ну, с богом! Поезжай! — сказал дедко, когда телега была наметана с верхом. Карько дернул, гужи напряглись, и дедко вывел воз из темноты двора. Сережка сел верхом рядом с седелкой и расправил поводья.

— С богом...— повторил Никита.

— Дедушка, сколько телег-то надо?

— Дак ведь сколь? — дедко усмехнулся.— Ежели считать, дак каждая в тягость.

— Я, дедушко, не буду считать.

— Вот, вот! Не надо, батюшко, считать.

Сережка взыкнул, и Карько, скрипя упряжью, крупным шагом повез телегу.

Отвод был открыт. Сережка увидел много других подвод, иные возвращались уже порожние, ребятишки и девки кричали что-то встречным. По желтому, с розовой белизной полю вилась пыльная накатанная дорога. Сережка

хорошо знал две своих полосы в шибановском паровом клину. Он свернул Карька к нужному месту и вдруг обомлел от страха: шагах в двадцати стоял и глядел на него, махая хвостом, Ундер. Карько остановился. Ундер, привязанный за веревку, заржал, приблизился и начал обнюхивать морду Карька. Сережка заревел от страха, вцепившись в седелку...

Тонька-пигалица, которая с пустой телегой возвращалась в деревню, остановила свою лошадь и отогнала страшного Ундера:

— Кыш, кыш! Поди, толстоногий, на свое место.

Она подскочила к плачущему Сережке:

— Сережа, ты чего? Ты зря испугался-то, он смирный. Ундер-то... Ну? Да ты не плачь, Сережа, не плачь.

Она сняла Сережку с лошадиной спины и вдруг коротко, сильно прижала к себе. И сразу же отпустила.

— Ох, Сережка...

Она хотела спросить о чем-то, но раздумала и только утерла Сережку полой своего казачка и подсадила на Карька.

Сережка поехал успокоенный...

Он давно забыл, что вчера невзначай рассказал сестре Вере про встречу на речке и про полтинник.

Он заехал на полосу и начал вилашками сцапывать навоз и разгружать. Разделив весь воз на четыре равные груды, развернулся и поехал за вторым возом. Как ни старался он не считать телеги, у него ничего из этого не получалось...

Дедко Никита Рогов пришел к полночи в поле. Он прямыми вилашками раскидал навоз по всей полосе и снова вернулся домой. Сын Иван Никитич налаживал у ворот соху, Павел только что вернулся с мельницы и лег спать под пологом, бабы хотели наметывать девятую телегу, когда внука Сережку совсем сморило. Дедко видел, как ребенок присел на лужок и вдруг повалился в траву.

— Спит работник,— сказал Иван Никитич отцу. Дедко Никита крякнул и ничего не сказал. Он перепрягал Карька из телеги в соху.

— Ой, ой, а Сережка-то у нас! Спит ведь,— Вера повесила на штырь грязный передник. Она взяла брата в охапку и унесла в дом, раздела и уложила под пологом, рядом со спящим мужем.

Дед Никита отправил баб и Ивана Никитича пахать, а сам присел на крыльцо. Ночь таяла над Шибанихой. Уже смолк дергач, крякавший в тумане у речки. Лилово-розовая заря занималась над лесом во всю ширь. Дед Никита, перекрестившись, пошел будить Павла.

* * *

— Пан! Пашка...

Далекий голос терялся и таял. Мучительно хотелось изловить его и осмыслить. Большие тяжелые камни громоздились в глазах непонятною кучей. Павел закатывал вверх овальный камень, а боль в коленях никак не давала сделать последий рывок, хотя камень был каким-то удивительно легким и словно бесплотным. Они опять раскатились, эти круглые серые камни! Но зачем-то надо было вновь скатывать их в громадную кучу. Павел скрипел во сне зубами. Незавершенные судороги слегка шевелили его колени и локти, он лежал ничком поперек постели. Голова его зарывалась в прошлогоднее сено.

Дед Никита, сидя на чурбаке, еще долго глядел на спящего Павла, который выбился из-под полога. Старик опять тихонько тронул его за плечо:

— Панко! Надо, брат, вставать...

Павел вскочил. На верхнем сарае были открыты большие ворота, косое раннее солнце золотило сенную пыль. Касатки начирикивали под крышей.

— Что, дедко? Много время?

— Четыре, пятой.

— Надо было раньше будить!

Дед Никита, стукая клюшкой, уже спускался вниз.

Все тело у Павла болело и ныло, пальцы не сгибались, кулаки распухли, к груди, животу и пояснице нельзя было притронуться. Павел улыбнулся и, тряхнув головой, встал в воротах.

Деревня возила и заваливала навоз. Ребятишки в пустых телегах, вертя вожжами, наперегонки гоняли коней, своими же криками не давали себе дремать. Из деревни тут и там все еще ползли нагруженные телеги.

Павел взглянул на взгорок дедкова отруба. И опять, как всегда, сердце радостно екнуло, опять перехватило дыхание от буйной радости.

Весь взгорок был завален бревнами, щепой, заготовками. Четверо пильщиков, нанятых после масленицы, уже работали. Они ночевали прямо в мельничном срубе, на сене, и ходили в дом только завтракать и обедать. Это были отец и три сына, пришедшие из дальнего нехлебного места. Сейчас двое из них корили и закатывали бревна на козлы, а двое пилили.

«Проспал! — подумалось Павлу.— Эх, дедко, дедко...»

Вчера Павел допоздна пробыл на мельнице. Ночи были светлые, и он спешил, частенько тюкал топором чуть ли не до утра. Всю весну он спал всего по три-четыре часа... Мельница выжимала из хозяйства последние соки, уже не один мужской пот, но и бабьи слезы поливали роговский отруб. Денег у Ивана Никитича не было, сусеки в амбаре ходко пустели. Правда, после зимних помочей, когда Роговым помогала вся деревня, лес еще по снегу свозили на отруб. А вскоре вывезли и восьмисаженный стояк. Народ выходил смотреть, как на четырех лошадях, цугом везли из лесу это осемьсветное дерево...

До весенней пахоты успели срубить остов самой мельницы. Сруб стоял на подкладках, белея тремя парами тонких стропил. Теперь надо было стелить пол с потолком, но пильщики пилили пока тонкий лес, для обшивки махов.

Работе не было видно конца...

Павел почернел за эту весну, он похудел сам и замучил всех мужиков. Мельницу строили в четыре пая. Два пая взяли Роговы, два других поделил дядя Евграф и сосед Клюшин. Кое-как, считай, одни́ми бабами, справились с вёшным, на какое-то время полегчало. Но теперь вновь подпирали полевые работы.

Всю весну Павел бегал по отрубу как настеганный, он высмеивал осторожную неторопливость Клюшина, подзадоривал дядю, расшевеливал тестя. Иной раз проворачивались и матюги. Надо было успевать сказать, где, как и кому что делать, успокоить баб. Павел и сам ни на минуту не выпускал из рук топора. Дедко Никита вместе с клюшинским стариком всю весну делали заготовки для колеса, носили из леса рубцовые березовые плашки, Павел по лекалу вырезал из доски трафарет, и старики тесали заготовки для колеса. Колесо было все еще впереди. Шестерня, жернова, кош, вал, махи, песты, ступы и еще тысяча всяких дел тоже были впереди. Павел старался не думать

об этом. Он словно зажмурился и летел вниз головой, позабыв про все остальное.

Сейчас ему опять вспомнилось, как ставили на место главный столп. В то утро Павел, не дождавшись завтрака, сполоснул лицо и побежал к мельнице. Евграф, Иван Никитич и двое Клюшиных явились туда в ту же минуту, дед Никита пришел чуть попозже.

Они и не здоровались в эти дни. Здороваться было ни к чему... Все молча сели на бревна, пильщики тоже остановили работу, присели. Никто ничего не говорил.

Еще накануне в центре взгорка была выкопана большая, до плотика, в сажень глубиной яма, вокруг нее были заготовлены крепежные валуны. Восьмисаженный, толщиной в полтора обхвата столп лежал одним концом в клетке, другим, комлевым и дочерна обожженным,— над ямой. Два высоченных столба с самодельными блоками и с пропущенными через них канатами были вкопаны по сторонам столпа, канат обхватывал дерево в первой четверти вершины. Четыре длинных тонких слеги для распорок лежали наготове, поблизости. В вершине столпа были выдолблены четыре специальных гнезда, чтобы вставить в них концы слег, подпереть столп, когда он опустится в яму и встанет на место. Два ворота для накручивания канатов были вкопаны по бокам специально, чтобы поднимать столп. Помогать и смотреть, как будут ставить столп, собралась вся Шибаниха, а Судейкин назвал это событие Вавилонским столпотворением, на ходу выдумал какую-то песню.

За Шибанихой в уброд
Чудо строится весь год,
Столб до самых до небес,
На вершину Жук залез.

Жучок-то был, конечно, тут ни при чем, не считая зимних помочей, он не ударил палец о палец, чтобы пособить, но может, потому его и вставил Судейкин в частушку. Шутки шутками, а надо было поднимать громадину. Мужики по команде Павла начали крутить вороты, канаты натянулись, блоки заскрипели. Многопудовое дерево нехотя оторвалось от земли, и все, кто был около, затаили дыхание. Павел стоял с подпоркой как раз под срединой дерева, когда оборвался один из блоков, и вот не подвернись в тот миг дедко Никита, не подставь он в зарубу столпа свою подпору, от Павла осталось бы одно мокрое

место. Столп, обогнув строителя, тяжко хрястнулся рядом. Стояк подняли только с трех опасных попыток. Обожженный комель заправили наконец в глубокую яму, столп выпрямили временными распорами, укрепили яму камнями и закидали землей.

Сегодня Павлу приснились те камни. Он взглянул в ворота: его высокий стояк виднелся за домом Судейкина, вознесенный высоко в утреннее молочно-синее небо. Что могло быть радостнее сердцу Павла?

Разгоняя застарелую многодневную усталость, он поплескался у рукомойника и, не дождавшись завтрака, даже не повидав хлопотавшую в зимней избе жену, схватил ящик с инструментом, устремился к мельнице.

— А что, Павло Данилович,— сказал старшой пильщик, здороваясь,— пожалуй, хватит тонкого-то.

Павел прикинул: надо было пилить тонкий еще. Распорядился, какие дерева брать, оглянулся. Солнышко было уже высоко, но ни Евграфа, ни Ивана Клюшина у мельницы не было. «В чем дело? — подумал Павел.— Не должно, чтобы проспали, не те мужики». Он поработал с полчаса один, вырубая мощный косой шип на одном из четырех толстых дерев. (Дерева эти намечались на подпоры к столпу.) Мужиков не было. Павел воткнул топор, намереваясь сходить к дяде Евграфу, но увидел идущую к мельнице Палашку. Двоюродная подошла как-то боком, не глядя на Павла, он, предчувствуя недоброе, сжал скулы:

— Где отец-то?

— Паш...— Палашка потупилась.— Меня тятя... Тятя к тебе послал... Велел сказать... Он из паев выходит...

Павла обдало жаром, он вскочил.

— Что?

— Он не придет... велел сказать...

— Врешь! — Павел схватил ее за плечи.— С ума сошла?

Палашка вырвалась и побежала в деревню. Павел бросился следом за ней, пильщики остановили работу. Павел бежал к деревне, к дому дяди Евграфа, чувствуя, как от волнения и горя слабеют ноги, в голове искрами мелькали страшные мысли: «Гад Судейкин... кастрировал жеребца... Это от него, от Судейкина... Перепугал мужиков... Что делать теперь?»

Он вбежал в дом дяди Евграфа как сумасшедший. Рванул двери летней избы — никого. Побежал в зимнюю —

там тоже. «Спрятался... Эх...» Павел начал метаться по всему дому, ища Евграфа.

— Божатко! Божатко...— кричал он.

Никто не отозвался. Павел сел на приступок и сжал кулаками виски. Он не слышал, как на сарае зашуршало прошлогоднее сено: Евграф осторожно выглянул и вылез на свет божий.

— Паша...

Павел не оглянулся.

— Павло, послушай, что скажу...

— Иди ты...— Павел по-страшному выругался.— Трус! Пентюшка! — схватил дядюшку за грудки, притянул к себе и долго глядел в лицо. Евграф прятал и отводил глаза.

— Эх, ты...

Павел оттолкнул его, скрипнул зубами, лестница прогрохотала под каблуками.

К Ивану Клюшину не стоило было и ходить. Павел в отчаянии прибежал домой.

Пильщики, узнав о том, что мужики вышли из пая, тоже остановили работу. Старшой ждал в избе, чтобы попросить расчет. Бабы ревели на верхнем сарае.

Все рушилось на глазах.

И Павел заметался по дому, не зная что делать.

* * *

Дедко Никита с утра пошел было в поле помогать Ивану Никитичу, но совсем неожиданное дело сорвало все его планы. Он был не то чтобы церковный староста, но за храмом в Шибанихе приглядывал больше всех. Не однажды собирал деньги на ремонт, приструнивал прогрессиста Николая Ивановича, когда тот впадал в непотребство.

Проходя мимо церкви, дедко остолбенел. Человек шесть мазуриков-недорослей кидали камнями, стараясь попасть в окно летнего храма. Коноводил у них опять Селька. Звон стекла оглушил деда Никиту как громом.

— Паскудники, ироды!.. Что делаете?

Подростки разбежались по заулкам. Никита, сокрушенно навалясь на батог, с трудом отдышался: «Что де-

лается!» Он припомнил, что Селька не первый раз варзает и богохульничает около храма. Еще великим постом этот прохвост углем написал матюги на ограде, теперь вот и стекла бьют.

Дедко решил поискать стариков, посоветоваться. Двое из них — Клюшин и Жук — сидели на бревнах, Никита издали заприметил их. Они нюхали табак, разбирали позавчерашний праздник и дело с Акиндиновым жеребцом. Оводы летали над ними вгустую.

— Дак оне нас не кушают,— как бы оправдываясь, сказал Жук.— Мы уж для их вроде и нескусны, вон пусть молодяжку едят.

Дедко Никита рассказал про молодяжку. И старик Жук, и дед Клюшин поддержали Никиту:

— Делать, ребятушки, нечего, надо поучить Сельку.

— Пороть, один выход.

— Его не пороть надо! — подошел дед Новожил.— Ему, дьяволенку, надо всю кожу батогами спустить!

— Вот что, ребятушки,— дождался своей очереди сказать дедко Клюшин.— А нам бы к председателю сходить, к Микуленку-то.

— Оно верно.

— Скажем, так и так. Нет больше никакой силы-возможности, разреши хулигана выпороть.

— Конечно, надо бы доложиться-то. Оно бы понадежнее.

Микулина по случаю праздника дома не оказалось, нашли его за домом Кеши Фотиева. Он играл в рюхи с другими холостяками. Тут же был и виновник события.

— Доброго здоровьица,— отвлекая внимание, громко поздоровался Жук,— честной компание!

Дед Никита, якобы невзначай, отозвал Микулина в сторону. Тот был под хмельком и с одноразки не понял, что от него требуется.

— Мы, значит, Миколай Миколаич, это,— объяснял старик Новожил,— просим.

— Разреши поучить.

— Да кого? — Микулин все еще не мог усечь, в чем дело.

— Сельку. Который раз безобразит.

Микулин расхохотался.

— Да вы что, старики! Он ведь у нас актив.

— Вот ты и поучи. Ты по своёй линее, по активной, а мы по своёй.

— А мне-то что! — Микулин махнул рукой.— Учите, шут с вами. Да вам его все одно не изловить, он как заяц ускачет.

— Сымаем.

Микулин убежал, пришла его очередь выбивать «пушку». Селька ничего не заметил. Старики по одному подались к сопроновскому подворью.

Отец Сельки Павло Сопронов второй год сидел дома, совсем обезножел. Ноги отнялись у него, может, от простуды, может, от спинного ранения, полученного во время Брусиловского прорыва. Кроме сыновей, Игнахи и Сельки, у него имелась еще старшая замужняя дочь Агнейка. В последний приезд Игнаха привез откуда-то из-под Вологды жену Зою — черноватую, костлявую и ругливую бабенку. Игнаху выбрали тогда секретарем ячейки. Он с женой отделился от семейства в старую косую зимовку. Тут они и жили вдвоем, пока Игнаху не сняли с секретарей. Он разобиделся, оставил Зою дома и уехал куда-то на заработки, ходили слухи, что сейчас он десятником в лесопункте, но точно никто ничего не знал. Совсем обезноженному Павлу жилось худо: его кормили по очереди. Селька таскал его на закорках то в зимовку к невестке, то обратно к себе в передок. Поскольку родных детей было двое, а невестка одна, то решено было, что отец будет жить два дня у себя, а третий день у невестки, потом опять два дня у себя и опять день у Зои. Зоя хоть и ругалась, но все же кормила свекра. И вот Селька таскал отца на закорках то туда, то сюда. В Шибанихе сначала дивились этому, но постепенно привыкли.

Сегодня Павло Сопронов сидел на крылечке, он коекак, на руках, передвигался по ровным местам, даже через порог. Он сидел на ступеньках, а старики по очереди здоровались, вздыхали, но, чтобы не затягивать время, Жук сразу объяснил Павлу все дело. Павло циркнул слюной на брошенную цигарку и обеими руками переложил левую ногу с места на место.

— И гадать нечего,— сказал он.— Надо пороть. Может, и мне на пользу, совсем извертелся, прохвост.

— Давай, Клюшин, иди за вицами,— проверещал Жук.— Да потоньше ломай.

— Из веника-то не подойдут? — спросил дедко Никита.

— Можно и веник, только зимний надо — голик.

— Да уж лучше бы свежим.

Клюшин сходил за отвод и наломал из ивового куста с полдюжины прутьев.

— Говоришь, в рюхи играет? — спросил Павло.

— В рюхи. Как думаешь, хватит пятка-то? — Никите уже становилось жалковато обреченного Сельку. Они остались с Павлом вдвоем на крыльце, все остальные ушли ждать в избу.

— Мало пятка,— Павло опять закурил.— Десяток горячих надо.

Селька появился неожиданно и не с той стороны. Видимо зная, что его ждет, он выглянул из-за угла и показал красный язык и фигу, начал дразниться:

— Что? Видели? Вот вам! Во!

Смелея все больше, он подошел совсем близко.

— Ну-ко, прохвост, иди сюды! — крикнул Павло.— Я те покажу, как стекла бить!

— А что? Догонишь? — Селька опять показал отцу фигу.— Догонишь? Не догонишь, во вам!

Селька прыгнул на крыльцо, к воротам, надеясь скрыться или запереться в доме. Павло хотел поймать его за ногу, но не успел, повалился на бок, Селька торжествующе зарычал:

— Гы-ы-ы!

И захлопнул ворота. Но сзади в сенях его тут же схватили. Он не ожидал тыльного нападения. Дедко Клюшин цепко держал его за одну руку, Жук за другую, а здоровый Новожил обхватил ноги. Орущего и брыкающегося Сельку повалили на пол, дед Никита держал наготове пучок ивовых виц.

— Штаны, штаны сволакивай! — пыхтел Жук, наваливаясь Сельке на ноги.— Ох мать-перемать, убежит...

— Не убежит... Задницу-то! Не заслоняй!

— Давай!

Дедко Никита взмахнул пучком розог.

— Р-раз! — считал Павло Сопронов с крыльца.— Два! Не жалей дьявола, таковский. Три!

Селька завопил...

Павел услышал этот крик, выходя от Евграфа. Он выбежал из-за угла, подскочил, схватил дедка за руку:

— Остановись! Рехнулись, что ли? Стой...

Он отпихнул Жука, толкнул Новожила:

— Стой!

— А ты что за начельник? — взъерепенился Новожил.— Уди, а то и тебя выпорем! Мать-перемать! Вали, робята, и етого!

В это время Селька спрыгнул, отскочил, натянул штаны и сиганул на верхний сарай. Павел сел на ступеньку, не слушая, как ругают его Жук с Новожилом.

— Дедко...

— Знаю уж.— Дедко Никита кинул розги в крапиву. Он не знал, конечно... Ничего не знал о том, что пильщики уже попросили расчет, что Евграф и Клюшин только что вышли из пая. Нет, ничего он не знал, он просто враз догадался, что случилось.

— Дедко... Что они сделали...

Павел заплакал, замотал головой. Дедко Никита поглядел на него и вдруг тонко крикнул, почти завизжал:

— Ишь, он расселся! Ишь, он распустил сопли, пащенок! Затыкался! А ну, встань, такой-сякой!

Павел Рогов вскочил, не веря ушам.

— Ты рази не знаешь? — кричал Никита.— Ты за дело, а дело за тебя. Иди! Нагребай ячмень да вези в Ольховицу. Продавай, нанимай плотников! И по миру авось не пойдем, господь не оставит.

— Дедко... да я...

Павел обхватил костлявое тело Никиты, начал крутить. «Ну, ну, погоди...— бормотал старик.— Ишь... Поставь, говорят, на место!»

На них, забыв про Сельку, с почтением глядели удивленные старики.

V

Игнатий Сопронов и счет потерял скитальческим дням. Судьба не жалела его, гоняла по свету. После того как его обвинили в троцкизме и выбрали на его место лесного объездчика Веричева, Сопронов не захотел оставаться в волости, сложил котомку и уехал на лесозаготовки. Он и сам не знал, чего ему надо... Душа коченела на морозных лесных делянках, выветривалась на пронзительных сплавных сквозняках. А тело давно притерпелось к морозу и голоду. Ночуя на приставных скамьях, то на блошинных барачных нарах, Игнаха привык спать вполглаза. Старый

ватный пиджак служил ему и подушкой и одеялом. Сменная пара белья в котомке вся изорвалась, и стирать было, считай, нечего. Еще бумажник с документами и складной с железною ручкой нож — вот и все сопроновское имущество.

Хотелось домой, к жене, но Сопронов по-детски капризно отгонял от себя эти мысли. Он отработал три зимних месяца в лесу, где-то за станицей Коноша, потом взял расчет, снялся с учета и уехал еще дальше. Его приняли рабочим на баржу, которую фрахтовало у пароходства какое-то военное ведомство. Баржу с разными грузами таскали по Мариинской системе. Ходили в Петрозаводск и до Вытегры.

В конце июня, в Ленинграде, Сопронов закончил очередной рейс. Обычно деньги на всю обслугу баржи получал старший матрос, но в этот раз Игнаха сам отправился в контору, чтобы получить деньги и взять увольнение.

Сопронов долго ходил около пристаней, искал контору. В конторе его послали в другой конец города в главное ведомство. Игнаха потратил на хождение целый день. В низком, барачного вида здании он долго искал кассира. Кассир послал его к бухгалтеру. Бухгалтер, явно еще старорежимный, спросил фамилию, протер очки и без задержки выписал расходный ордер.

— Теперь к Петру Николаичу,— сказал он.— На подпись.

— А куда это?

— Налево, вторая дверь. Там увидите.

Сопронов нашел наружную дверь. На картонке, прибитой к верхней филенке, печатными буквами, но от руки, было написано:

«Гириневский П. Н.»

«Этот»,— подумал Игнаха и без стука вошел в маленькую оштукатуренную, давно не беленную комнатку. Тут пахло табаком и остывшим с зимы печным зноем. Игнатий так устал за день, так вымотался, что даже не проявил всегдашнего любопытства и не стал разглядывать начальника.

— Так, что у вас? — Человек за столом был в военной форме, но без знаков различия. Рыжеватые, почти белые усы неловко топорщились под носом. Начальник размашисто подписал ордер. Игнат Сопронов взял бумаж-

ку, и его словно с ног до головы окатили крутым кипятком.

— Так. Пожалуйста,— сказал начальник, но Сопронов не уходил, глядел прямо в лицо. Начальник поднял глаза и тоже словно бы онемел. Белые его усы дернулись, как у кота.

Оба напряженно и тупо глядели друг на друга.

— Вот тебе и так,— сказал наконец Сопронов.

Игнатий Сопронов вышел, придерживая на плече пустую котомку. Закрыв дверь, он еще раз разглядел бирку. Потом открыл печку, выходящую устьем в коридор, нащупал в золе уголь и вымарал на табличке шесть последних букв. Теперь на дверях красовалось короткое «Гирин».

...Он получил деньги, съездил опять в ту, первую, контору и выправил там справку с места работы, накупил харчей и незаметно для себя оказался на Николаевском вокзале. Ночью он взял билет и отбыл в родные места. Игнатий Сопронов сделал так против своей же воли, но не замечая этого, видать, бездомная жизнь вконец ему опостылела.

* * *

Уком размещался в двухэтажном каменном купеческом доме. Здесь было прохладно и тихо, полуденная жара не проникала сквозь толстые стены.

Измотанный дорожной суетой, не заезжая в деревню, Сопронов прибыл в уезд и решил сходить к зав АПО [1] Меерсону. На душе у Игнахи скребло от того, что вновь ни с чем приходилось возвращаться домой. Он втайне от себя рассчитывал на какую-нибудь новую должность, потому что больше всего боялся деревенских насмешек. Ведь в Шибанихе, Ольховице да и во всех деревнях помнили, как он куда глаза глядят уехал от своего позора.

Сопронов остановился у стеклянной двустворчатой двери АПО. Он прислушался, различая голоса говорящих:

---

[1] А П О — Агитационно-пропагандистский отдел уездного комитета партии.

Меерсон доказывал что-то кому-то. Сопронов с неприятным чувством узнал второй голос. Не кто иной, как бывший пред Ольховского ВИКа Степан Лузин сидел у Меерсона. «Видать, повысили»,— подумал Сопронов. Он не хотел не только говорить с Лузиным, но и видеть его, бесшумно отошел от двери, поднялся на второй этаж, надеясь попасть к самому Ерохину — секретарю укома. Девушка-синеблузница, видимо исполняющая обязанности секретарши, записала фамилию и попросила подождать на коридорной скамейке.

Игнатий Сопронов вышел в коридор, сел, развязал котомку и поел хлеба вприкуску с постным, иначе фруктовым, купленным в Ленинграде сахаром. Потом ощупал бумажник с деньгами, хотел распороть внутренний пиджачный карман, где был зашит партийный билет, но раздумал.

На душе копилась тревога и пустота. Он ни за что на свете не хотел возвращаться домой в своем теперешнем виде. Хватит того, что было. И так после того собрания вся волость смеялась над ним. Хорош же оказался тогда и Яков Меерсон! Он не ударил палец о палец, чтобы защитить Сопронова. «Теперь вот и Лузин, этот чистоплотный оппортунист, в уезде работает,— подумал Сопронов.— Что творится... Но кого-же поставили председателем в Ольховице?»

Его сморило на коридорной скамье. Он медленно, все ниже и ниже клонил нестриженую свою голову и, уткнувшись в угол, незаметно заснул. Сон его был странным и каким-то удушливым. Нелепые и обрывочные картины, перемешанные по месту и времени, сменились вдруг четким и тягуче-тягостным видением: он, Сопронов, ходит по отцовскому дому. В доме никого нет, все пустое, а он ясно слышит, как на верхнем сарае шумит и веет июльский ветер, и ему, Сопронову, мучительно хочется спать. Ему просто невыносимо хочется спать, а он все ходит и не может, не знает, где бы прилечь. Он не находит этого единственно необходимого места и все ходит по дому, ходит на сарае, по лестнице, в летней избе и в зимовке, он даже хочет влезть на чердак. Когда же он найдет то, что ищет, что исчезает, ускользает от него? Кажется, вот-вот, и он нашел это место, где можно наконец прилечь и уснуть. Уснуть сладко, надолго. Но нет, все не то, все совсем не то, и он вновь тяжко ходит по дому.

Дальний и такой неуместный, ненужный, словно из другого мира голос послышался ему, мешая сосредоточиться и найти то, что так мучительно хочется отыскать.

Он очнулся, девушка-секретарь будила его, трогая за плечо:

— Товарищ Сопронов! Слышите, товарищ Сопронов? Проснитесь же, вас приглашает товарищ Ерохин.

Сопронов вскочил, извинился.

Оставив котомку на скамье в коридоре, ладонями пригладил серые, непомерно выросшие волосы и прошел в приемную.

Девушка открыла ему дверь, он вошел в кабинет Ерохина со смешанным чувством почтительности, приятного подобострастия и сдержанной злобной решительности, готовой вырваться из него в любую минуту.

* * *

Бывший комиссар Шестой, сражавшейся на Севере, самойловской армии, ныне секретарь укома Нил Афанасьевич Ерохин, поджарый, жилистый, носил военную форму. Он давно позабыл про свой возраст, лет своих не считал, зато хорошо помнил, сколько раз сам бывал за чертой, сколько буржуев и контриков отправлено за эту черту. Он не любил кабинетную бумажную жизнь и все еще был как на фронте. Там, на прохладной, кровью вскипавшей Двине, под Шенкурском, все было легче и проще. Рази и пали во вражье сердце, иди и рази интервенцию, если не хочешь на остров смерти Мудьюг. Тут уж, как он говорил, кто кого. Теперь все было не то и как-то невесело. Но Ерохин был не из тех, чья кровь закисает при первой оттепели. Он по-прежнему носил защитную, с глухим воротом гимнастерку, не расставался с командирской сумкой и биноклем. Ерохин был холост и ночевал то в кабинете, то в дальней деревне. А то и под одиноким стожком, в лесу, привязав за повод к сапогу запаленного укомовского жеребчика.

Уезд был велик, а Ерохин был один. Только теперь он начал понимать себе цену. Он появлялся в волостях всегда неожиданно, словно осенний ветер: весь в ремнях, с биноклем и полевой сумкой на левом, с наганом на правом

боку. Ерохин осаживал жеребца около какого-нибудь зазевавшегося мальчонки и при его помощи вызывал на улицу первого жителя. Тот бежал искать местного активиста, и уже через полчаса мужики, бабы и ребятишки слушали горячую речь о мировой революции. Секретарь плавно подходил к республике и губернии, затем к уезду и волости и наконец к деревне, к отдельным ее жителям, к каждому лично. Он держал в голове сотни имен, фамилий, знал, кого надо брать лаской, кого угрозой, кого назвать по имени-отчеству, а кого и просто по прозвищу...

...Игнатий Сопронов зашел в кабинет, с угрюмой решительностью взглянул на секретаря. Ерохин встал и через стол, за руку, поздоровался.

— Садись.

Сопронов сел, намереваясь тотчас высказать свою просьбу. Ведь его никто не вызывал в уком. Он пришел сюда сам, чтобы посоветоваться насчет работы и будущей жизни. Однако Ерохин заговорил первым:

— Дайте мне ваш партбилет, Игнатий Павлович.

Сопронов отогнул борт бумажного старого своего пиджака, зубами выдернул нитку на зашитом внутреннем кармане, достал завернутый в коленкор партбилет. Бережно развернул и подал Ерохину.

— Так.— Секретарь долго разглядывал партбилет.— Так, так, Сопронов. Ты почему без разрешения уехал из Ольховицы?

Сопронова взорвало, но, сдержавшись, он сказал:

— Как это без разрешения? Я докладывал Меерсону устно и письменно.

— Почему уехал? Куда?

— Уехал на лесозаготовку.— Сопронов назвал место.— А почему, каждому ясно. Мне тоже надо кормиться, я не святой Антоний.

— Так, так.— Казалось, что голос секретаря отмяк и в серых, пронзительно-быстрых глазах засветилось добродушие.— Вы, товарищ Сопронов, четыре месяца не платили взносы.

— В лесопункте не имелось ячейки. В пароходстве я заходил к начальству, там сказали, где стоишь на учете, там и плати.

— Ты что, устава не знаешь? — вдруг крикнул Ерохин.— Партбилета не получишь как механически выбывший.

— Товарищ Ерохин!

— Все! Можешь идти.— Ерохин встал, кинул партбилет в сейф, захлопнул дверцу и повернул ключ.

Сопронов похолодел. Обида, усталость, скопленная за бродячие месяцы, и боль, и какая-то новая, еще неизведанная жалость к жене, к брату Сельке и отцу в один миг свились в один ком и остановились в сдавленном горле. Глаза Сопронова, не подчиняясь рассудку, точили плоский, бывший когда-то купеческим сейф и почему-то то и дело перекидывались с места на место, ища чего-то. Они остановились на тяжелом медном письменном приборе, изображавшем какие-то массивные башни. Он с трудом погасил в себе позыв схватить этот прибор и изо всей силы шарахнуть им в ерохинское лицо.

— Идите, товарищ Сопронов! Такие члены в партии не нужны.

Сопронов повел онемевшими плечами и, потрясенный, скрипнул зубами. Сжав кулаки, он поднялся было вперед и вдруг сразу обмяк, плечи его обвисли, и он, медленно повернувшись, пошел к дверям. В оцепенении вышел он в коридор и взял котомку. Он не помнил, как очутился на жарком укомовском дворе и как ступил на траву.

Горячие камни единственной в городке мощеной улицы, горячие железные крыши домов и нагретые солнцем прутья садовых решеток — все исходило жарою и горьким зноем, как исходила зноем задыхающаяся душа Игнатия Сопронова. Ноги в полыхающих жарой сапогах тоже горели, сопревшие вконец портянки прели вместе с кожей и мясом. Голова разламывалась от боли. В руках и ногах растекалось опустошающее бессилие. Сопронову ничего не хотелось.

Он вышел по дороге в полевое безлюдье, переполз обросшую конским щавелем канаву и почти без памяти ступил в тень от каких-то строений. Кажется, это были чьи-то склады. Он запомнил лишь чалую лошадь и одрец, груженный сушеным ивовым корьем, стоявшим неподалеку. Он все же снял сапоги и лег в траву, поглядел в огромное синее небо. Какая-то неуловимая, все время ускользающая мысль не давала покоя и толчками заставляла осознавать окружающее. Что это? Он силился изловить ее и осмыслить. Ах это... Да, это вот... Зря он сдал свой наган, когда уезжал в лесопункт. Ему нужен наган, тот самый наган, с поцарапанною, истертою вороньбой. Да, да,

наган. Но зачем ему этот старый наган? И вдруг он вслух выматерился. Нет, не для этого ему нужен наган. Еще поглядим, еще неизвестно. Еще все будет, много кое-чего еще будет, и он, Сопронов, еще встанет на ноги. Встанет... Встать, обуть сапоги и идти. Сто верст до Шибанихи не велик путь. Два дня — и дома. Сходить в баню, очухаться и все забыть, скопить силу в ногах, отойти, выстоять. Встать и идти, чего бы ни стоило...

Он хотел подняться, нашарить сапоги и портянки, чтобы обуться, но опять повалился на бок и потерял память. Сквозь нудное, тягостное забытье и боль в темени он услышал короткие чиркающие звуки. Кто-то песочной лопаткой наставил косу, откашлялся и начал косить. Коса была все ближе и ближе, и страх, что она вот-вот вопьется в разутую ногу, нарастал, охватывал душу, но Сопронов не мог освободиться от своего бессилия. Он хотел и не мог, забытье было сильнее того желания и страха.

— Ой, хой, хой! — Данило Пачин перестал косить.— Ты, что ли, Игнатей? Ты как это тут?

Сопронов все еще не мог очнуться. Он бессмысленно глядел на коренастую, в ситцевой рубахе фигуру Данила, глядел и не мог осмыслить.

— А я кошу и гляжу, вроде Игнатей. Так ты чего, заболел, что ли? — Данило отложил косу и присел к Сопронову.— Гляжу, человек в траве.

Сопронов зажмурился, тряхнул головой. Данило помог ему сесть.

— А я гляжу, понимаешь, вроде чего-то знакомое... Дак ты куда, не домой правишься-то?

— Домой...— Сопронов сплюнул горькую желтую и тягучую слюну.— Попить нет ли чего...

— Чичас.— Данило побежал.— Чичас принесу, у меня квас в буртасе.

Данило сбегал к подводе, груженной корьем, и принес буртас и пирог. Сопронов прильнул к берестяной кромке.

— Да ты пей, пей,— суетился Данило.— А я вот корье привез, а кладовщика нету. Покосить надумал на дорогу. А ты заболел, что ли? Вишь, под глазами-то ямы.

— Ничего...

— Вот чичас корье сдам да и покатим. Завтра к вечеру будем дома. Пришел вроде кладовщик-то. Ты посиди, а я корье-то сдам!

И Данило побежал сдавать корье.

Через два дня Данило привез больного Сопронова в Ольховицу. Сюда на своей Рязанке как раз приехал по каким-то своим делам Савватей Климов. Он с помощью Пачина перенес Игнаху к себе, подослал ему под голову сена, к вечеру привез в Шибаниху. Сопронова, в горячем жару, за дорогу опять совсем ослабевшего, вынесли из телеги и за-под руки увели в дом. Вся ночь прошла в тумане и смуте. Под утро он, весь в холодном поту, опять очнулся, и сердце сжалось в комок от какого-то тягучего и неумолимого страха. Предутренняя звезда остро и безжалостно светила в прореху дырявой кровли. Он долго глядел на эту звезду, с трудом вспоминая все, что случилось. Виски и надбровья разламывались от боли. Он застонал и вдруг начал кувыркаться в темноте через голову. Жена его, Зоя, спавшая рядом на настиле сарая, в ужасе обхватила его руками:

— Игнаша, Игнаша!

Стараясь повалить его на постель, она ловила его руки. Но он был сильнее и смял ее, задергался. И вдруг как-то сразу стих, ослабевший и маленький.

Он спал много часов подряд...

К полудню он проснулся совершенно здоровым, хотя глаза совсем провалились. Он забыл, что произошло с ним ночью. Сидя за самоваром, он жадно ел горячие, только что испеченные налитушки, слушал.

Перебирая деревенские новости, Зоя рассказала о том, что хорошо бы вот купить Ундера. Судейкин продавал мерина.

— Сколько просит? — Игнатий отставил недопитую чайную чашку.

— Да говорят, за полторы сотни отдаст.

У Сопронова было чуть меньше двухсот рублей, полученных в военной конторе. Но сейчас он вспомнил про встречу с Гириным, вновь обозлился, и мысль о покупке лошади показалась совсем ненужной. Нет, не для того он маялся в детстве. Не для того вступал в партию, узнал голод и холод, чтобы снова, как червяк, возиться в земле.

— Дак как, Игнаша? — не отступалась жена.

— А никак! — Сопронов скрипнул зубами.— Придет время, отдаст за так. Где Селька?

Селька с утра ушел на озеро, удить.

Когда Зоя рассказала о том, как старики выпороли Сельку, Сопронов вскочил сразу на обе ноги:

— Ну, гады! Топи баню, я в волость сбегаю.

Даже не повидав отца, он побежал в волость, искать Митьку Усова, единственного, как ему думалось, честного партийца во всей Ольховской ячейке.

VI

День был жарок с утра. Душный парной ветер сдувал с лугов травяной настой, дурманил голову. Со всех сторон призрачно дыбились красноватые, словно подпаленные с боков, облака. Птицы не пели в кустах и травах. Только два чибиса поднялись навстречу подводе и долго, суетливо кричали, летая над повозкой туда и сюда.

Карько, отбиваясь от оводов, вез мешки на двуколой телеге. Павел, доверившись мерину, шел позади, думал, прикидывал. Пятнадцать пудов зерна, пусть даже и по два рубля за пуд, это всего тридцать рублей. Можно рассчитать пильщиков. А дальше что? Мужики струсили, отступились... Правда, Ванюха Нечаев и Акимко Дымов согласились плотничать в долг. Но пильщики могут уйти сразу, как только получат расчет. Остановить, не дать уйти! Может, согласятся пилить за шерсть или за сапожный товар. В подвале еще есть сапожные крюки и две пары подошв. Попросить денег у отца, у Данила, тот только что свез ивовое корье.

Павел ужаснулся, вспомнив, что и самим хлеба осталось еле-еле до новины. В ушах все еще стоял бабий плач...

Мельница выкачала из хозяйства соки, подгребла под себя все. Это понимала и жена Верушка и Аксинья. Когда сегодня Иван Никитич снял с гвоздя амбарный ключ и пошел нагребать в мешки последний ячмень, бабы ударились в слезы. Только когда дедко Никита притопнул на них ногой, они притихли. Но каково было Павлу глядеть на все это? Скрепя душу он погрузил мешки, поехал в Ольховицу.

«Ну, уж что будет...— подумал он сейчас.— Теперь некуда пятиться. Некуда, некуда...»

Он догнал повозку, надо было придержать мерина на крутом шибановском спуске. Но Карько, уляпанный от оводов дегтярными пятнами, хитро и ловко скосил спуск, не давая разгону тяжелой двуколке. Жалея потного мерина, Павел неожиданно вздумал выкупать Карька, а заодно решил окунуться и сам. Быстро распряг. Мерин почуял

купание и терпеливо замер, дожидался, когда снимут упряжь. Омут был рядом, у моста. Павел наскоро и догола разделся и с головой плюхнулся в воду, вынырнул, заотфыркивался.

— Карько! А ну ко мне! В воду, Карько, в воду!

Мерин переступал с ноги на ногу, не осмеливаясь идти в воду.

— Ну? Карько! Ко мне! Сюда, Карько!

Мерин, набравшись смелости, бросился в омут, и воды сразу прибыло, она заплеснула поросший осокой берег. Крякая, храпя и отфыркиваясь, купались в омуте человек с конем... Павел прыгнул на скользкую лошадиную спину. Карько выплыл с глубокого места, и Павел направил его прямо под мост, где было меньше гнуса, долго шлепал по крупу, смывая пот. Конь благодарно косил глазом, приседал в воде. Павел спрыгнул с Карька, окунулся на быстрине и хотел выводить Карька, но случайно взглянул на свайные балки моста. Под настилом, между двумя балками, торчал какой-то предмет, завернутый в грязную парусину. Павел подъехал на Карьке, встал на его широкой скользкой спине и достал из-под балки что-то тяжелое. Развертывая парусину, затем промасленную бумагу, он уже знал, что это... «Черт. Наверно, еще с германской приволокли. Кто бы это?» Павел размахнулся. Почти новая трехлинейка с опиленным на две трети стволом и две обоймы патронов полетели в омут, в самое глубокое место.

Мерин с шумом разметал воду, вымахнул на берег.

Они быстро запряглись и поехали через мост в гору, освеженные речным купанием, сильные, довольные друг другом и понимающие друг друга. Павел вновь ощутил, как руки и ноги наливаются силой. Там, где екало сердце, опять, как и раньше, была радостная, приятная пустота, и вскоре он позабыл об опасной находке.

Ничто не остановит его, ничто не сможет остановить. Он сделает мельницу, выстроит свою деревянную думу, она будет махать широкими крыльями. Над всей Шибанихой. Над всем белым светом замашет, высокая, новая... С резным князьком на амбаре, с ласковым бесконечным шумом камней, она подымется на юру. Подымется...

Он въехал на взгорье и оглянулся, невольно подтянул вожжи, приостановил мерина.

По всей реке люди метали стога, белели бабьи рубахи.

Отсюда, с высокого берега, строительство было тоже

как на ладони. Высокий прямой столп с четырьмя толстыми сдвоенными подпорами уже был опоясан бревенчатым, сужающимся кверху ряжом. Рядом на земле стоял готовый, но еще не покрытый тесом амбар — остов самой мукомольни. Когда он будет сделан до самой последней тычки, его разметят, разберут по бревнышку и тоже до последнего клинышка соберут заново, но уже на этом громадном столпе. И он будет крутиться на тонком, как у рюмочки, перехвате, подставляя ветру свои широченные махи... У Павла перехватило дыхание. Он прыгнул на воз, взмахнул ременными вожжами. Карько затопал по пыльной ровной дороге. Новая черемуховая дуга слегка прогибалась, но двадцатипудовая тяжесть двуколки была нипочем этому мерину.

* * *

Не заезжая к отцу, Павел привернул к лавке кооператива. Поставил мерина у коновязи, надавал клевера и зашел в прохладный полуподвал. В лавке было некуда ступить, только что привезли точильные лопатки и новые косы. Мужики выбирали их на звук, которая как поет, и на огонь, зажигая на косах спички. Павел поздоровался, отозвал продавца в сторону и попросил в долг бутылку «рыковки».

— С кем литки-то, Павло Данилович? — заоглядывались покупатели.— Не с Владимир Сергеевичем?

— Да хоть с кем.

— А вот Дугина, учительница-то в Ольховице, тоже хлеб спрашивала.

— Эта купит, у нее деньги есть.

— А почем пуд, Павло Данилович? — спросил продавец, подмигивая.— Давай мне по два с гривенником.

Сам Гривенник — ольховский бобыль — стоял рядом и как будто ни о чем не догадывался.

— Да с Гривенником-то можно и по рублю! — заметила исполкомовская уборщица Степанида.— Куда шнырнул-то? Ведь не про тебя!

Гривенник, не слушая возгласов, незаметно вышел из лавки. Он подошел к возу, пощупал мешки и, подтягивая холщовые свои портки, затрусил к волисполкому...

Павел ничего не заметил, поговорил с ольховцами, поглядел косы и вырвался на улицу. Он отвязал Карька, на-

мереваясь ехать на подворье Ольховской коммуны, где жил во флигеле Владимир Сергеевич Прозоров, обещавший купить десять пудов ячменя.

Саженях в десятке от коновязи была отворотка к магазее, куда мужики еще зимой сдавали зерно по чрезвычайным мерам. Это тогда комиссия, возглавленная председателем коммуны Митькой Усовым, ходила по деревням, выявляла хлебные излишки. Мужики прятали семенное зерно кто где: под лежанками, в банях и погребах. А шибановский мужик Лыткин, у которого была поговорка «Дело выходится, все плутня», спрятал мешок ржи даже на чердаке, но Митька с Гривенником залезли и туда, поискали и нашли рожь. Акиндин Судейкин выдумал песенку:

Все выходится не так,
Усов слазил на чердак.

— Эх! — Павел бросил вожжи на воз.— Вот тебе и дело выходится.

Он знал, сколько возов зерна отвез тогда в магазею Иван Никитич.

Павел только что развернул мерина, как из-за угла, хромая, вышел Митька Усов, за ним шагах в двух-трех ступал худой, совсем изнуренный Игнаха Сопронов, а еще дальше перетаптывался испуганно-возбужденный Гривенник.

— Стой, Рогов,— сказал Митька, не здороваясь.— Надо поговорить.

— Нам с ним не о чем говорить.— Сопронов подошел вплотную к двуколке.— А ну заворачивай!

У Павла задрожали губы, в груди страшно похолодело. Слабость разлилась по ногам. Глаза метнулись из стороны в сторону, отыскивая чего-то, они сами запомнили камень на тропке и колышек, прислоненный у коновязи. Но где-то, словно со стороны, отчетливо и спокойно звучали слова: «Стой, стой... Тихо, Павел Данилович, тихо...»

— Куда это мне заворачивать, Игнатий Павлович? — произнес Павел.

— В магазею! — белые сопроновские глаза щурились.— Дорогу знаешь.

— А вы-то? Вы-то с какой дороги?

— С той, с какой надо! Усов, заворачивай лошадь!

Усов нерешительно потянул за узду, но Павел так дернул, что Карько оскалился и, высоко взметнув голову,

попятился. Вокруг уже скоплялся народ. В лавке сразу все стихло.

— А ты кто такой, товарищ Сопронов?

— Тебя, Рогов, это не касается.

— Как это меня не касается? Ты меня грабишь среди бела дня, а меня не касается...— Павел спрыгнул с воза, приблизился.— Ежели до этого дело дошло... Ты кто такой, такая мать, чтобы распоряжаться? Зови председателя!

— Кто я, разберемся после. А хлеб ты сдашь. По государственной стоимости. Усов, пиши акт! — Сопронов с ненавистью взглянул на Павла.

Вокруг стояла толпа, сзади слышались вздохи и голоса.

— Что делается...

— А Микулин-то? Где?

— А Микулина-то и нету.

Павел взялся за вожжи и хотел ехать, но худой, побледневший, с темными провалами глаз Сопронов подскочил к мерину. Павел поглядел на Игнаху, слабость в ногах прошла, сердце опять билось ровно. Гнев таял, исчезал, Павлу становилось отчего-то смешно, и странная жалость к этому худому бледнолицему человеку таяла в сердце.

Они стояли лоб в лоб и молча глядели друг на друга: Сопронов тревожно и с ненавистью, Павел спокойно, с какой-то грустной усмешкой.... Они глядели так друг на друга, а все вокруг глядели на них, и мерин, брякая удилами, мотал головой, отбиваясь от полуденных оводов.

Митька Усов вдруг очнулся и вынул из пиджачка какую-то бумагу:

— Ты, Павел Данилович, тут про закон спрашиваешь. Вот бумага насчет лишков... Имеем полное право.

— За четвертую долю отнимать полдела,— сказал кто-то из толпы, и Сопронов метнул в ту сторону многообещающий белоглазый взгляд. Но все зашумели, кто-то засмеялся, кто-то присвистнул:

— Истинно!

— Кто не пахал не сеял!

— Товарищи! — Сопронов резко повернулся к толпе.— Отымание излишков есть крутая мера по прижатию кулацкого алимента!

— Это Пашка-то Пачин кулак?

— Нашел кого прижимать!

— Ты бы сперва митингу объявил.

— Сенокос ведь, робятушки! Делать, что ли, нечего?

Павел дернул за вожжи, и Карько стронул воз с места. Но Сопронов как коршун опять подскочил к мерину. Павел теперь бросился с воза, гневная боль и обида охватили его. Но чей-то спокойный голос оборвал это безоглядное и бешеное безрассудство.

— Игнатий Павлович? — Прозоров пробирался к подводе.— Чрезвычайные меры давно отменены.

— То есть как так? — Сопронов опешил.

— Вы, вероятно, газет не читаете... Впрочем, почту только что привезли.

И Прозоров поморщился, расправляя газету:

— Пожалуйста, посмотрите! «Комсомольская правда». Постановление о запрещении чрезвычайных мер.

Сопронов взглянул, вспыхнул и побледнел. Люди зашумели опять:

— Вслух! Зачитать!

— Кем подписано?

— Подписано самим председателем Совета Народных Комиссаров.

Сопронов повернулся и, забыв про Митьку, скоро пошел в сторону. Митька все еще сидел на камне со своей бумагой, он недоуменно глядел то вверх, то вниз. Гривенник исчез еще задолго до этого.

* * *

До позднего вечера по всем сторонам Шибанихи копилось мглистое грозовое удушье. Все-таки дождь так и не мог собраться. Солнце сошло во мглу громадным багровым шаром. В лугах за Шибанихой встало много свежих стогов. Кое-где люди еще дометывали свои стога, когда Сопронов сходил в истопленную женой баню. В сердце было странно и пусто. Он сел за стол, дожидаясь послебанного самовара. Голова опять начинала шуметь. Или это угар от рано скутанной бани? Жена тормошилась в кути, ходики на стене отстукивали пустые секунды. Мухи стихали в избе вместе с сумерками. Сопронову вновь не хотелось ни о чем думать, его слегка поташнивало. Зоя вышла занять у соседей чаю, но в сенях сразу же заскрипели косые плахи: в дверях показался брат Селька с отцом на закорках. Павло Сопронов, сидя верхом на младшем сыне, охал и матерился сквозь слезы. Селька донес его до лавки, посадил, отпышкался и сразу к дверям.

— Ну? Принес, прохвост? — Отец стукнул кулаком по столу.— Принес родного отца. По очереде кормят, сукины дети, как нищего. Эх, ноги бы мне, я бы вам показал, как жить.

Селька не стал слушать попреков, скрылся. Игнатий очнулся:

— Ладно, тятя... Не шуми...

— Не шуми! Нет, буду шуметь! Вырастил деток, мать-перемать, таскают как чурку. Дожил на старости лет...

Он заплакал, утираясь какой-то серой тряпицей.

Игнатий Сопронов встал, пошел к шестку, прикрыл вскипевший самовар и поставил на стол. Нарезал ситного, еще ленинградского, хлеба. Принес из кути картошки и толченого луку. Жены с заваркой все еще не было, но вот половицы в сенях вновь заскрипели. Сопронов подвинул отцу чашку с толченым луком.

— Ешь, тятька, вон Зоя идет. При ней-то хоть не реви.

Но в дверях была не Зоя.

В дверях стоял Павел — приемыш из Ольховицы, сын Данила Пачина. Теперь его все называют Роговым. Изумленно глядел Игнатий на пришельца.

— Проходи, Павло Данилович,— сказал Сопронов-отец.— И будет в избе два Павла, второй да первый.

Павел прошел, поздоровался со стариком.

— А ты, Игнатий, зря на меня,— твердо сказал он.— Ты ведь меня больше обидел, а я зла не помню. Давай выпьем...— Павел стукнул бутылкой о середину стола.— Поговорим.

Игнатий Сопронов молчал. Казалось, он был в сильной растерянности, глаза бегали, руки дрожали. Павел улыбнулся.

— Ты скажи мне...— Сопронов молчал по-прежнему.— Скажи мне, чего я сделал худого? Тебе, скажем, или Советской власти?

Сопронов молчал. Глаза его перестали бегать и забелели.

— Ты, Игнатий Павлович, меня врагом не сделаешь,— продолжал Павел.— Врагом я никому не был и не буду. Вот! Я весь тут. Наливай, дедушко.

— У тебя что, язык проглочен? — сказал Павло Сопронов, глядя на сына.

— Молчи, тятька! — обернулся к отцу Игнатий.— Не твое это дело.

— Цыц! Сукин кот! Ты как с отцом говоришь? Садись, Павло Данилович, не гляди...

Павел сел.

— Ладно, я в родню не напрашиваюсь. А врагом твоим тоже не буду, ты не жди этого, Игнатий Павлович.

— Будешь,— Сопронов ухмыльнулся.— Еще как будешь!

— Это почему так?

— А потому, что ты и сичас... Первый мой недруг! Это нам на роду было написано, врагами родились.

— Кто это такую дребедень нам на роду написал?

— Ты, Рогов, этого не поймешь.

— Да я что, дурак?

— Дурак не дурак, а сроду так. Сытый голодному не товарищ.

— Значит, я сытый, а ты голодный? Да я вон последний хлеб продал. Тридцать рублей выручил. А ты сколько принес заработку-то?

— Не в этом дело.

— А в чем?

Игнатий Сопронов не ответил. Он встал и заходил по избе.

— Ты, Игнашка, вот что! — дедко Сопронов опять стукнул кулаком.— Ты губу не вороти, а садись да выпей. И людей не смеши, мужик к тебе подобру, а ты к нему как нехристь.

И взялся за бутылку, хотел распечатывать, но крик сына остановил старика:

— Не тронь! Поставь, тятька! А ты, Рогов, дорогу ко мне забудь!

Игнатий схватил бутылку и с силой швырнул к порогу, она разлетелась вдребезги.

Павел Рогов побледнел, встал и вышел из избы.

Павло Сопронов в изумлении глядел на сына, но тот не обращал на него внимания.

— Селька! — закричал вдруг старик.— Селька... Селиверст, унеси ты меня, ради Христа, унеси...

— Молчи, тятька! — рыкнул Игнатий.— Молчи, тебе говорю!

Он сдавил отцово плечо, сильно тряхнул. Отец ударил сына кулаком в подбордок, качнулся и полетел с лавки. Хрипя и отплевываясь, он кое-как пополз к дверям. Прибежавший Селька помог ему перевалиться через порог, но

Игнатий подбежал, схватил отца, вновь принес и посадил на лавку:

— Сиди!

Павло, размазывая по лицу слезы, все звал Сельку, хрипел:

— Христа ради... Унеси, Селиверст!

Селька подставил отцу закукорки...

Поздним вечером, когда Зоя ушла спать в сенник, Игнатий Сопронов достал из шкапчика амбарную книгу, ручку с ржавым пером рондо и склянку с чернилами. Чернила за это время высохли. Сопронов капнул в них из самоварного крана, сдвинул с одного угла посуду и начал писать.

Игнаха на своей шкуре испытал силу бумаги, пусть даже не больно грамотной. К неграмотной-то, наоборот, еще больше будет внимания...

Первое письмо получилось о Петьке Гирине, который скрывается под чужой фамилией. Вторая бумага — о классовой вылазке шибановских стариков, выпоровших молодого активиста, третья о бывшем помещике Прозорове, который занимается подстрекательством среди населения.

Игнатий Сопронов решил не подписываться, послать эти письма прямо в губернию, у него еще раньше были запасены нужные адреса.

VII

Теперь Прозоров физически ощутил время. Оно шло в одну сторону, и жизнь обнажилась перед ним в своей неслыханной простоте. Каждая прожитая минута нарождала в душе скорбь своей невозвратности. Никогда этого не было с ним, он вдруг с жестокой явностью понял неумолимый закон времени и физически ощутил ограниченность того числа дней, которые отпущены ему природой. Те дни можно было легко сосчитать. От этого жизнь впервые показалась ему бессмысленной.

В самом деле, в чем же ее смысл, если она все равно кончится? Два-три выпавших волоска, застрявшие в гребне, отраженные в зеркале дупло зуба, высыхающий на дороге коровий помет или ржавеющий в воротах гвоздь — все говорило ему о бессмысленности. Он смотрел на свои ногти и думал, что пройдет с полдесятка лет, ну десяток, пусть даже два (не все ли равно сколько?) и эти пальцы

исчезнут, их не будет в природе, как никогда не будет прошлогодней травы.

Он давно уже не ходил ни в лес, ни по деревням. Получая из уезда двухнедельную почту, равнодушно листал газеты, тщетно вникал в смысл, который таился в полуаршинных заголовках. Он хотел, старался обнаружить свою причастность ко всему, что писалось в газетах. Но даже экспедиция Нобиле и гибель Амундсена — этого благороднейшего норвежца, не оставили ясных следов в душе. Эти дерзкие вызовы человека Ледовитому океану казались Владимиру Сергеевичу детской, никому не нужной игрой. При чем же тут он, Прозоров? И как быть, что делать ему среди всего этого?

Он целыми днями лежал на старом диване и думал, глядя в потолок своего пыльного флигеля. Одиночество, любимое им когда-то, стало зловещим. И все люди, казалось, тоже забыли о нем. Степана Лузина не было в Ольховице, его давно перевели в уезд. Митька Усов, забредавший раньше то подстричь свою густую шевелюру, а то и просто поговорить, не показывался, его жена Любка, стиравшая когда-то Прозорову,— тоже. Вторую неделю не заходила и горбатая нищенка Маряша, которая подметала сор и мыла посуду. Но он был равнодушен ко всему, ничего не хотел делать, чтобы разрушить эту ехидную тишину.

Обычно он засыпал еще до того, как в деревне смолкали последние звуки. За его флигелем несмелая, словно нахлебница, замирает оранжево-розовая заря. Земля зеленеет окрестной травой и напевает свирельными куликами. Вот и замолкли скворцы, захлебнулся поздний жаворонок, простонал где-то в поле последний чибис. Зыбкие призрачные сумерки пронизывают поля, деревни, леса, а ему, Прозорову, легко отдаться небытию, будто умереть, ощущая, как тают в мозгу реальность и смысл.

Его изголовье — у самого окна. Лишь тонкое стекло отделяет голову от этой призрачной ночи, от звезд и от зыбких туч. Когда подует в темноте ветер, он слышит, как на той стороне речки Ольховицы, за полем, на холме пробуждаются и шумят лесные сосны. Иногда он ощущает причастность, свою близость к этим соснам и спящим в лугах чибисам, к этому дергачу, скрипящему в пойме, он знает, что всем им мерцает сквозь низкое облако одна острая звезда. Она колет в его сердце своим вечным лучом, и он засыпает, но на душе у него пустынно и тяжко.

Иногда ему казалось, что время, все так же физически им осязаемое, поворотило обратно и пошло вспять, иногда он чувствовал, что оно вовсе не движется.

Однажды он проснулся от этого ощущения. Лежа на спине, он не мигая смотрел на черную крестообразную связку рамы. Там, за окном, в бесцветном лохматом сумраке расплывались ковчеги тоже бесцветных домов, а дальше перемещались, будто не находя себе места, очертания сосен и полоса дальнего леса. Тревога и какое-то неуловимо-тоскливое беспокойство, какая-то неясная скорбь издалека и со всех сторон приближались, нарастали, давили и угнетали, да нет, не угнетали, а растворяли Прозорова в себе, и он сам становился чем-то зыбко-тревожным, как будто его плоть медленно превращалась во что-то нематериальное.

Какая невероятная громоздилась вокруг тишина!

Лишь немного позднее он понял всю безмерность той тишины, идеальной и какой-то немыслимой. Нигде не было ни единого, даже самого слабого звука. Или он оглох? Но нет, зажав ухо ладонью, он услышал шум собственной крови. Она была чудовищна, эта тишина, она нарушала трехмерность окружающего пространства. Но она не прибавляла четвертого измерения, а разрушала даже и первые три. Какие-то абстрактные образы возникали и исчезали. Они являлись то при помощи бесконечных цветовых параллельных линий, то какого-то грандиозного необъятного шара; потом в хаосе и безбрежном мраке рождались волны огня, двигались, поглощали сами себя, сменялись какими-то геометрическими представлениями, расширяющимися сферами, конусами, спиралями. Все это исчезало и не повторяло само себя.

Ночной его дом был совершенно пуст и безмолвен. За окном бесшумно шарахнулась зарница. Далекий, очень далекий гром разрушил, казалось, совсем незыблемый монолит тишины, и Прозоров подумал об относительности всего и вся, ведь еще минуту назад ему казалось, что тишина эта всеобъемлюща и что ей не будет конца. Дальний и скорбно-могучий гром вернул Прозорову ощущение реальности, и от смятенной тревоги, от предисловия еще не пришедшей мысли у Прозорова заныло в груди. Это была физическая боль в сердце, никогда им не испытанная, боль, о которой пишут в книгах и в которую он никогда не верил. Оказывается, она существует,

боль здорового сердца, вызываемая душевным страданием.

Спазма длилась очень недолго. Она озарила мозг четким представлением, конкретным и ясным образом.

Образ этот был образом женщины.

Он ощутил страдание от ускользающей нежности к ней, от ревности ко всему миру и от жажды видеть ее сейчас, немедленно. Это страдание выдавило из горла короткий, почти животный стон. Прозоров вскочил на ноги. Он вышел из пустого, хитро молчавшего флигеля.

Странная, непонятная плыла ночь, вернее, висела над безмолвными деревнями. Она была статична, недвижима, и в то же время она словно проникала из всех вещей и предметов, весь мир был этой белой ночью. Она рождала самое себя. Деревня и тихие избы, неопределенное небо и цветы в неопределенно-зыбком поле и сам он, Прозоров,— все было самой этой белой северной ночью.

Он вышел в еще не остывшее поле, оно дохнуло на него цветочным теплом. Два сонных чибиса с неприятным криком вылетели из трав. В ту же минуту он увидел широкую спину какого-то человека, сидевшего на придорожном камне. Прозоров не успел ни исчезнуть, ни удивиться: Данило Пачин крякнул, вставая на свои кривые толстые ноги.

— Вот, еще полуношник. Владимиру да Сергеевичу...

Прозоров молчал, глядя сквозь мужика. Ему не хотелось даже отгонять комаров. Вороная, с провисшим брюхом пачинская кобыла звякала неподалеку уздой, торопливо выстригала в ложке траву. В борозде, темнеющей свежим земляным отвалом, стоял плуг, из-за жары и гнуса Данило пахал паренину в ночь.

— Эх, кабы дождика-то! — Данило потеснился на камне, давая место пришельцу.— Все засохло, вконец.

Прозоров продолжал стоять не двигаясь. Бесцветная кисея белой ночи пеленала поля и деревни, комары звенели с бесконечным терпением. Данило, не удивляясь странному поведению Прозорова, мерно и добродушно роняя спокойно-умиротворяющие слова, говорил что-то о назьме и о плуге, рассказывал, что вступил на днях в колхоз, как назвали в Ольховице товарищество по общественной обработке земли. Спрашивал, хорошо ли сделал, ладно ли, но спрашивал просто так, давно зная, что сделал правильно. Прозоров как будто не мог постичь то, что говорил Данило, вернее, не хотел постигать.

Какое ему дело, что Пачин вступил в колхоз? Все это смешно и ненужно... Да, но что нужно и не смешно? Слушая неторопливый разговор мужика, Прозоров тщетно ловил какую-то ускользающую и так необходимую ему мысль.

— А я, Владимир Сергеевич, вот что скажу, сообща-то мужикам и раньше бывало легче. А когда земли у всех теперече, так и сам бог велел сообча. Обзаводиться-то. Один-то я рази купил бы железной-то плуг? А мы вон ишшо и веялку завели. А в маслоартель породистой бык куплен, тоже ведь коллектив. Все чин чином идет-то. Лишь бы здоровье...

— Да, да... Что ж, Данила Семенович... Я, пожалуй, пойду...

— С богом.— Данило пошел за лошадью, привел и стал запрягать. Уходя, Прозоров слышал, как он, ласково и настойчиво понукая, повел борозду, приговаривая: «Но, милая! Давай-ко... Но, но, деушка, давай волоки. Ташши, милая, ташши...»

«Зачем? — вяло подумал Владимир Сергеевич.— Не понимаю... Почему Пачин все это делает? Он знает что-то. Да, разумеется. Данило знает что-то такое, чего я не знаю. Он вступил в колхоз, то есть в товарищество, он будет пахать всю ночь, до утра... Ему известно нечто важное, что-то такое, что непонятно мне и что, может быть, никогда не будет понятно».

Мысль эта назойливым комаром всю ночь вилась около, и на восходе Владимир Сергеевич забылся с ощущением какой-то незаконченности и новизны.

* * *

Утром равнодушие и тоска вернулись к нему, но он усилием воли заставил себя побриться и смазать дегтем засохшие сапоги. Затем нашел свежую сорочку, которая оказалась последней. Оделся. Сапоги, быстро впитавшие деготь, были готовы, и Владимир Сергеевич решил вымыть руки. Воды не было ни в умывальнике, ни в ведрах, пришлось идти за водой, и он, злясь сам на себя, взял ведра и, усмехнувшись, пошел на речку. Ему казалось смешным и никчемным то, что он сейчас делал. Жизнь как бы издевалась над ним, заставляя делать всю эту ерунду и нелепую, никому не нужную чушь.

Ах, боже мой! Кому и зачем все это нужно? Глупо, так невыразимо глупо все на земле.

Но лето было все в цветении и ветре. Синее, почти безоблачное небо открывалось так глубоко, так сильно пахло диким белым клевером, с такой жизнерадостной пронзительностью свистели на всем лету стрижи и касатки, что Прозоров на миг забыл про себя. А когда вспомнил, то ужаснулся еще больше, еще страшнее показалась ему своя и чужая нелепость. Почему-то вспомнился сейчас благочинный Сулоев, и в душе пробудилось что-то похожее на сожаление. Прозоров нехотя решил навестить священника, не закрывая ворот флигеля, вышел на улицу.

Солнце заливало золотым, ослепительным светом чуть ли не половину неба. Жаворонки пели над лугами, их голоса со всех сторон струились в деревню. Пух от раскрывшихся одуванчиков веялся между домами и палисадниками, в речке орали и брызгались купающиеся ребятишки.

Прозоров нетвердо ступил на крыльцо церковного домика, прошел в прохладные сени и постучал. Однако никто не ответил на этот стук. Прозоров открыл двери, переступил невысокий порог.

Отец Ириней лежал на деревянной резной кровати, держа иссохшие руки поверх одеяла. Прозоров поздоровался и слегка склонился к изголовью. Старик, преодолевая глубокую дрему, открыл глаза. Щепотка восковых пальцев метнулась, осеняя пришельца крестным знамением, и рука упала на одеяло безжизненно.

В небольшой, прохладной, неоклеенной комнате медленно, тихо постукивали настенные часы, на оконном стекле жужжал одинокий овод. Пахло свежей богородской травой, подвешенной к образам, это окрестные богомолки не забывали священника.

— Простите великодушно, Владимир Сергеевич. Не могу принять, как подобает счастливому случаю.

Прозоров был удивлен обычным, ровным и каким-то глубинным спокойствием, сквозившим в твердом голосе благочинного.

— Да, да, курите, сделайте одолжение! Тем паче, можно открыть окно.

Прозоров поблагодарил, и отец Ириней сказал, как бы извиняясь:

— Вот, лежу. Целыми днями... Готовлюсь к величайшей тайне человеческой.— Он замолк, словно бы спохва-

тившись.— А вы? Как ваше здоровье? Бледен, гляжу, и глаза глубоко весьма. Простите, Владимир Сергеевич, мою старческую назойливость.

— Благодарю вас, Ириней Константинович, я здоров.

Прозоров подошел к окну, чтобы не дымить в комнате. Слушая тихий, реденький стук часов, он глядел на Ольховицу. С поля, спускаясь под горку к реке, шел молебен. Отец Николай, облаченный в стихарь, из стороны в сторону мотал вероятно давно потухшим кадилом. Другую руку, с крестом, он то и дело кидал справа налево. За ним шло несколько стариков, Данило Пачин нес икону. Следом гуртом ступало десятка полтора старушек и баб. Молебен уже дошел до середины спуска, и тут Прозоров увидел странную, однако совершенно в духе отца Николая, картину. Священник остановился и сказал что-то Даниле Пачину. И вдруг бросил кадило и крест на траву, побежал вниз к омуту, на ходу скидывая стихарь и подрясник. На берегу Ольховицы он разделся окончательно и, оставшись в одних кальсонах, сиганул головой в омут. Вынырнул, отфыркался, замотал рыжей своей головой. Данило Пачин прибрал крест и кадило, пошел в деревню, не дожидаясь отца Николая. Толпа расходилась.

— Что вы там увидели, Владимир Сергеевич? — спросил отец Ириней.

Прозоров молчал. Поп выскочил тем временем из воды, сел в траву и, стыдясь, выжал кальсоны. После этого закурил, оделся и не спеша перешел мостик. Он уже поднимался вверх, направляясь явно к дому Сулоева.

— Не знаю, как жить, Ириней Константинович,— сказал Прозоров и отвернулся от окна.— Не знаю... Да и стоит ли жить, тоже не знаю.

Отец Ириней не ответил ни единым движением. Он лежал на спине, до бороды укрытый кудельным стеганым одеялом. Лежал почти не мигая и глядя куда-то сквозь розовую занавеску и сквозь бревенчатую неоклеенную стену. Даже дыхание старика было совсем незаметным.

— Скажите же...— Прозоров, задыхаясь, подошел и встал над изголовьем Сулоева.— Ириней Константинович...

— Что я могу сказать? — тихо, но явственно заговорил наконец отец Ириней.— Я ничего не могу сказать, Влади-

мир Сергеевич... Вы атеист, вы не верите в бога. Слова мои ничего не значат для вас. Вы сомневаетесь уже и в смысле жизни, в этом великом благе, данном нам свыше... Вы попираете свою душу жестоким и гордым рассудком. Грех, великий грех перед богом... Вы искусили себя...

— Но я не могу не думать, Ириней Константинович! Мысли свои никому не удавалось остановить.

— А много ли может наш слабый рассудок? — спокойно возразил отец Ириней.— Рассудок, попирающий душу, руководимую свыше. Предоставленный сам себе, он обречен на бесплодие и приходит к отрицанию самое себя. Сказано: «Рече безумец в сердце своем — несть бог... Растлеша и омерзиша в беззакониях, несть творяй благое». А в гордых своих поисках истины вы уходите от нее все дальше.

— Да, но где и в чем эта истина, в какой стороне? — хватаясь за сердце, выкрикнул Прозоров.— Скажите, и я пойду в ту сторону. Скажите мне, что делать и как жить.

— Ах, Владимир Сергеевич, Владимир Сергеевич...— отец Ириней попытался подняться на изголовье и не мог. Он отдохнул и продолжал говорить: — Никто не может сказать человеку, как ему жить. Одни глупцы. На крыльях гордости своея парящие, ослепившие сами себе духовное свое око! Но многое ль им дано, сим людям помыкающим высоким человеческим духом. Им, раздвигающим пределы злобы и ярости? Минуют годы, уделом их будет тлен и забвение.

— От всего этого не легче, Ириней Константинович,— сказал Прозоров чуть спокойнее.— И если есть какой-то смысл в жизни и в вере... я все равно не знаю... как жить...

— Каждый человек обязан и должен найти себе способ жизни. В соответствии со своей совестью и нравственным идеалом. Нельзя осуждать людей за низкий нравственный идеал. Поднимется ли у вас рука на дитя, которое разбило дорогую хрупкую вазу? Прежде всего надо простить человека... А после этого помочь ему воздвигнуть высокий нравственный идеал. Только такое право у каждого из мыслящих христиан.

— Как помочь?

— С помощью бога.

— В ольховском храме еще с весны выбиты стекла...

— Разум покидает безбожников! — Отец Ириней переложил подушку и, отстраняя помощь, с трудом поднялся повыше. Теперь он полулежал на кровати, и было видно, что говорить ему стало легче.

— Господь оставляет тех, кто не хочет верить в него. Души многих людей смущены диаволом, сердца охвачены огнем сатанинского мятежа. А кто виноват в бедах, не сами ли мы? Ответьте и вы на мой вопрос, Владимир Сергеевич. Насколько мне известно, вы материалист, и, следовательно...

— Я не скрывал этого, Ириней Константинович.

— И вы не отрицаете, что христианство и православие в частности явились прогрессом и благом, относительно временам языческим?

— Да, конечно...

— А не находите ль вы, что, лишая народ веры христовой, вы возвращаете его вспять, к вакханалиям языческим?

— Вы же знаете, Ириней Константинович,— поморщился Прозоров,— вы знаете, что я лично никогда не отрицал церкви как таковой, ее значения...

— Вы не отрицали ее прикладного значения. Но вы отрицали веру. То есть самую церковную суть и дух православия. А это чем лучше разбитых стекол?

Отец Ириней замолчал, тяжело дыша и скапливая новые силы для необычного, изматывающего разговора. Прозоров вспыхнул, хотел что-то возразить, но тут в комнату без предупреждения вошел Николай Иванович. Он размашисто перекрестился, скрипя половицами, подвинулся ближе, поздоровался с Прозоровым и склонил перед Сулоевым нечесаную мокрую голову:

— Благослови, отец Ириней! К милости твоей прибегаю и прошу... Не искупления грехов великих своих ради, ради взаимодушия.

— У меня нет с вами взаимодушия! — твердо произнес отец Ириней.— От вас разит вином, идите и выспитесь.

— Приял и греха в этом не вижу, плоть пастыря та же, что и у прочих...

— И это вы пастырь? Истинно, заблуждение ума. Идите, Христос с вами.

— А кто же я, по вашему преосвещенному мнению? — повысил голос отец Николай.

—Ириней Константинович...— Прозоров встал.— Я, пожалуй, пойду. Не буду мешать вам...

Чувствуя, что последнее замечание может быть понято как издевательство, он оглянулся:

— Простите...

На улице Владимир Сергеевич в изнеможении прислонился к одной из подоконных берез. Не зная, сколько времени он стоял так, открыл глаза: по березовому, в белой пыльце стволу бежали вверх и вниз хлопотливые муравьи. Из окна слышался медвежий бас отца Николая:

— Ха-ха-ха-ха-ха! На чем стояла православная Русь! Реформы... Ваши богословы только и знали, что говорить! Сии профессоры неделями рассуждали о грузинской автокефалии! Либо разводили руками: откуда пошел раскол? А кто виноват, что церковь обюрократилась? Народ давно отошел от вас. Да грош цена такой церкви, которая яко сухая смоковница, истинно!

Все вокруг было тихо и неопределенно, только голос Николая Ивановича гудел в ушах. Сердце щемило от какой-то бесконечной неосознанной боли. Прозорову стало вдруг невыразимо стыдно. Он покраснел и, словно от ядовитого дерева, оттолкнулся от березы.

VIII

Николай Николаевич Микулин сидел в волисполкоме за своим столом на венском стуле будто на шильях. Он раздваивался у себя на глазах. «Что за жизнь? — рассуждал председатель сам с собой.— Опять праздник. Давно ли отгуляли петров день, а казанская как тут и была. Нет, это не дело, такая жизнь».

Казанская в Ольховице — пивной годовой праздник. Микулина позвали в гости сразу в четыре дома, и вот он сидел в исполкоме и маялся. Идти нельзя, и не ходить тоже нехорошо. С тех пор как Лузина перевели в уезд, а в Шибанихе ликвидировали сельсовет и поставили Микулина председателем волисполкома в Ольховице, от приглашений и вовсе не стало отбою.

Ни живой души во всех четырех отделах. Все трое подчиненных уже сидят, наверное, по застольям и про-

буют пиво, а ты вот один, как филин, да еще и с пустым брюхом.

Микулин вздохнул, ему стало жаль самого себя. Он поглядел в окно, втайне надеясь на какое-то чудо.

Нет, что ни говори, а есть бог на земле! И справедливость имеется. Чудо совершалось в образе Палашки в новеньком голубом платье и с узелком в руке. Микулин еще вчера как бы шуткой попросил ее принести пирогов, он и сам не надеялся, что Палашка придет.

— Ах, молодчина девка! — вслух произнес председатель. Но ему сразу же опять стало невесело... Еще на масленице, после ночлега у Пачиных, они с Палашкой договорились жениться. И вот председатель дотянул до казанской. Все отговаривался делами, и Палашка уже начинала искоса поглядывать на него. Чуялось председателю: не надо пока жениться. Будто кто-то подсказывал подождать, перевалить через ненадежное время. А с другой стороны, и ждать было Микулину невмоготу, двадцать пять годиков не шутка. Бабы пальцем показывают, мужики подначивают. Тот же Данило Пачин заявил: «Тот еще не мужик, который с бабой не спал». Будто нарочно для Микулина такие слова — вот кривоногий! Как в воду глядит, все чувствует.

Тощие исполкомовские мухи кусались, видно, к дождю; в кабинете пахло мышами и просыхающими после мытья половицами. Председатель скоро убрал со стола бумаги, печать и штамп сунул во внутренний карман пиджака и побежал в коридор.

Палашка бесшумно, стараясь не стукать своими новыми, зашнурованными на все дырочки полусапожками, вбежала на рундучок. Оглянулась, шмыгнула в коридор и охнула: Микулин стоял в двери, по-разбойничьи размахнувшись засовом.

— Ой, дурак! Напугал-то! Леший стамоногой!

Председатель, довольный, засмеялся. Он как бы мимоходом закрыл двери опять на засов. Палашка сделала вид, что так и надо. Она одернула свое новомодное платье, затараторила что-то насчет сенокоса, мол, дождь собирается, а лога почти высохли и стог в заполье не сметан.

— Ладно. Какой бог вымочит, тот и высушит,— сказал Микулин.

Пошли в кабинет.

Но, распахивая дверь в кабинет, он мысленно обругал себя: «Дурак, круглый дурак. Не надо бы в кабинет, надо бы в мезонин. Ну, да авось и туда завлеку».

— Чево поисть принесла?

— А чего дают, то и ешь, не спрашивай! — Палашка оглядывала кабинет.— Тилифон-то звонит?

Она сняла трубку, сдвинула на плечо толстую, словно соломенный жгут, косу и приставила трубку к своему маленькому загорелому на сенокосе ушку. Микулин следил за каждым ее движением, лихорадочно прикидывая, что делать дальше.

— Так. Полрыбника, полналитушки. Пойдем-ко наверх, у меня тут и ножика нет.

— Ничего не слыхать.— Палашка повесила трубку.— Только вроде водичка капает.

— Ножика, говорю, нет.

— Ломай,— сказала Палашка.— Кто пироги ножиком-то режет?

— Нельзя тут. Мыши будут копиться. Рабочее место.— Он решительно звякнул ключами:

— Надо наверх. Бери у́колочей, да пошли.

Он нарочно не глядел на нее, но лопатками, всею спиной чувствовал ее мимолетную настороженность и покраснел. Она же неожиданно и быстро собрала пироги и, стуча каблуками, побежала наверх, по коридору и лестнице. Добравшись до двери бывшего сопроновского мезонина, Микулин, тайно торжествуя, отпер висячий замок. Все шло пока, как было задумано.

Мезонин оставался таким же, каким был в тот день, когда Сопронова снимали с ячейки. Тот же стол и те же стулья, только на чистом, промытом полу лежал дубленый сельсоветский тулуп да полмешка запасного овса, служившего подушкой. Микулин частенько тут ночевал, особенно после собраний. В сопроновском столе бумаг уже никаких не было, Микулин складывал туда ребячьи самодельные ножики и гирьки на ремешках, отобранные на гулянках и деревенских праздниках.

В мезонине Палашка неожиданно переменилась и, притихшая, встала к окну. Микулин, за обе щеки наворачивая кусок пирога, ходил по полу с фальшиво-простецким видом.

— Чьи пироги-то?

— Да божаткины.— Палашка не обернулась к нему.

— От Пачиных, что ли? А меня Данило тоже в гости зовет.

Чем проще старался быть Микулин, тем хуже у него получалось. На душе было неловко. Стыд маял председателя. «Сейчас бы выпить для смелости,— подумал он мельком.— Сразу другое дело бы».

— Ты чего отвернулась-то?

Палашка молча водила по стеклу пальцем. Микулин отодвинул пирог, подошел к ней.

Сколько раз сидели они по осенним ночным сеновалам, по баням либо на зимних игрищах у столбушек, сколько раз целовались и обнимались! И все было просто, все получалось раньше как-то само собой, а тут почему-то вдруг стало Микулину стыдно и как-то не по себе. Рука не подымается обнять Палашку за плечи. Микулин не узнавал ни себя, ни сударушку... Он все же набрался смелости — обнял ее, но она отодвинулась от него. Он обиделся, и от этого всю неловкость сняло с него как рукой.

— Ты чево?

— А ничево,— отпихнулась Палашка.— Чево жмесся ко мне? Ты ко мне лучше не жмись.

— Женись, тогда и жмись,— невесело догадался Микулин.

Палашка вдруг заплакала, завытирала глаза платочком. Микулину стало жалко ее, но он тут же вспомнил слова Данила Пачина, сел на сопроновский стол и, чувствуя, как копится в нем какая-то буйная безудержная и сладкая сила, закурил. Он глядел на мягкие Палашкины плечи, на расстоянии ощущая тяжесть ее толстых и длинных кос, зная их запах. Потом глаза Микулина сами окинули широкие девичьи бедра и ноги в новых черных без чулок полусапожках. Он тихо позвал ее, но она не подошла и только утиралась у окна платочком, он подошел к ней сзади и, просунув руки под мышки, обхватил ее.

— Отстань к водяному! — Палашка вырвалась.— Нечего. Кобель — дак кобель и есть.

— Да какой я кобель? Чего мелешь? — Микулину снова стало обидно.— Ну, Палага...

Она вытерла слезы, улыбнулась. Он неприкаянно сидел на столе, и теперь уже ей самой стало жалко его.

Она присела к нему и своей гребенкой расчесала ему волосы.

— Ой, Коля... Коля, Коля, Миколай, наших девок не пугай.

— Напужаешь... вашего брата.

— Я ведь вижу... как маешься.

— Не могу, Палаша... Нету больше никакого терпенья.

— Я, может, тоже не могу.— Палашка опустила ресницы...— А ты бы не разжигал сам-то себя.

— Кто кого разжигает? — крикнул Микулин. Он лег вниз лицом, упал на тулуп, скрипя зубами, и зарылся в овчину, затих.

Палашка присела около него.

— Миленькой...

Он повернул голову, взглянул на девку одним красным бешеным глазом:

— Иди-ко... Хошь, сейчас распишем сами себя? Вот, печать в кармане... Чуешь? — Он притянул ее к себе.— Я... верное слово. Ну? Палаша...

И зажал ее голову в сгибе своей левой руки. Он притянул ее к себе, его другая рука, без его ведома, нежно, но сильно давила, металась от плеч к бедрам и обратно, а Палашка, как тогда, в масленицу, вдруг сразу обмякла и сцепила свои руки у него на плечах. У Микулина все поплыло куда-то перед глазами, он был сейчас на седьмом небе.

— Ладно...— шептала сама не своя Палашка.— Погоди ужо...

Она уже отстегнула на спине под платьем какую-то пуговку, как вдруг внизу, словно с другого света, послышались голоса и сильный стук.

Микулин похолодел, Палашка затихла. Стук повторился...

Микулин, собирая в одно место всех богов, спрыгнул с тулупа на ноги. Он с края окна поглядел на улицу и обомлел: ерохинский под седлом жеребец стоял уже у коновязи привязанный. Другую лошадь, тоже под седлом, привязывал замнач ОГПУ Скачков.

— В попа мать... в три попадьи...— Микулин схватил со стола замок.— Стой, сиди, Палагия, тут! Я сичас...

Он выскочил из мезонина, замкнул дверь на замок и побежал было вниз к двери, но на середине лестницы оду-

мался. Побежал обратно, открыл. Палашка стояла на коленках, поджимая живот от неудержимого смеха.

— Стой! Чего скалишься? Беги сразу, когда я их в кабинет проведу.

— Ой, маменьки...— смеялась Палашка.— Ой, не могу, держите меня...

— Чего смешного дуре? — Микулин бросился открывать.

Двери внизу, казалось, вот-вот вышибут. Председатель вынул из скоб засов и, подавляя желание исколотить этим засовом всех, кто попадет под руку, распахнул исполкомовские двери.

— Ты, Микулин, что, спишь? — крикнул Ерохин и ступил вперед.

— Так точно, товарищ Ерохин,— сказал Микулин.— Сморило маленько, видать, перед дождиком.

— Я тебе покажу дождик! — закричал Ерохин.— А где Веричев? Усов? Немедленно собрать ячейку! Двадцать минут сроку.

«Пусть покричит,— подумал Микулин, опомнившись.— Первая брань лучше последней».

— Двадцать минут, понятно?

— Не успеть, товарищ Ерохин.

— Веричева сюда. Сейчас же, где нарочный?

— Нету. То есть тут, в сельсовете.— Микулин и сам не ждал от себя такой смекалки. — Сичас пошлю...

— И вот по этому списочку,— добавил вошедший замнач ОГПУ Скачков.— Прошу. Немедленно, и всех сразу.

— Понятно, товарищ Скачков.

Микулин взял список и не глядя вышел в коридор. Палашка, подобрав платье, как раз в это время на цыпочках пробиралась к выходу, и они вместе выскочили на улицу.

— Стой, погоди! — остановил девку Микулин.— Ну-ко сбегай за Митькой Усовым! Заодно к учительше забеги и к Веричеву. Скажи, чтобы срочно шли в исполком!

Палашка побежала, не долго думая, а Микулин только перевел дух, как из проулка, прямо к сельсовету, выкатила пыльная бричка уисполкома. Возница — молодой парень в фуражке — осадил потную лошадь, и с брички спрыгнул зав АПО Меерсон. Он стряхнул тужурку и близоруко взглянул на Микулина.

— Товарищ Ерохин здесь?

— Здесь, приехал только что.

Меерсон поправил кобуру и, прихрамывая, прошел в помещение. «Видно, отсидел ногу-то,— подумалось Микулину.— Вишь, хромает. Ну, теперь будет казанская! Попразднуем!»

Он поглядел в список, поданный ему Скачковым. В списке стояли фамилии всех шибановских стариков, которые на второй день праздника выпороли Сельку Сопронова.

* * *

Слух о приезде уездной чрезвычайной тройки полетел вместе с нарочными от деревни к деревне навстречу идущим в Ольховицу гостям и стаям одетых по-праздничному ребят и девок. Казанская была самым веселым и многолюдным праздником в волости. Каждый год в этот день собиралось в Ольховице несколько сот молодняку, приходили шатии из самых далеких мест, со своими девками и гармошками, плясали, ходили по деревне, заводили знакомства, дрались, гоняли партиями друг дружку за реку камнями, кольями и железными тростками. После драки рассеянные шеренги чужаков опять скапливались где-нибудь в поле и неожиданно наступали обратно, разгоняли потерявших бдительность местных гуляк. Потом вдруг мирились и устраивали братанье... Местные уводили в гости дальних пришельцев, угощали и, если покойников не было, а были одни синяки и головные проломы, то забывались все обиды. Девки завязывали платками головы пострадавших парней, и гулянье кипело в Ольховице всю еще нетемную ночь, до зоревого тумана. И дергачи стихали в осоке, слушая гармонные вздохи и всплески девичьих песен. Такое было в Ольховице испокон веку, такое намечалось и в этот раз. Ничто не могло ни остановить, ни поколебать веселую праздничную стихию... Народ, до кровавых мозолей наработавшийся в сенокос и на пахоте паренины, отдыхал, гостил и пил солодовое пиво, это был самый желанный летний праздник.

В то самое время, когда десятки ольховских гостей, уверяясь и отнекиваясь, усаживались за первое угощение, когда в ендовах закипало первое пиво, Митька Усов, член

Ольховской ячейки, запрягший исполкомовскую лошадь, галопом въехал в Шибаниху. Он сразу же завернул в знакомый проулок. Сопронов, сидя у ворот на обрубке, отбивал молотком косу. Он встал и привязал Митькину лошадь к изгороди.

— Игнатью Павловичу,— поздоровался Митька, выкидывая из двуколки больную, изуродованную на гражданской, словно бы не свою ногу.

— Здорово, Митя, здорово.

— Чего худой-то такой? Аль баба изъездила? Вот не будешь жить по чужим сторонкам.

— Какое там...— Сопронов закашлялся.

Митька сел на крыльцо и рассказал о приезде уездной тройки:

— Наскочили как снег на голову...

— Я сейчас! — Сопронов встал. В глазах у него зажглись и сверкнули зеленые искры.— Сейчас...

— А я не за тобой, Игнатей Павлович,— просто заявил Митька.— Мне тебя и не надо, подавай отца...

— Почему это... отца? — удивился Сопронов и вдруг начал разглаживать сразу затвердевшее горло.— Почему?

— А я, парень, не знаю. Про тебя речи не было, велено привезти отца. Еще Жука, да дедка Клюшина, да Никиту Рогова с Новожилом. Всех пятерых у меня и кобыла не увезет. Ну, да оне все сухие как выскыри. Много ли в их грузу?

Сопронов хлопнул воротами. Усов постоял, подумал. «Хм... Какой был, такой и есть. Самовар не поставит, не то что косушку, не научила жить и чужая сторонушка». Митька был недоволен Сопроновым.

Надо было собрать стариков и доставить в сельсовет. Усов узнал, что Никита Рогов ушел в гости в Ольховицу, а Новожил в лес и неизвестно, когда придет. Оставалось найти старого хитрюгу Жука и дедка Клюшина. Митька послал за Жуком ребятишек, игравших на улице в рюхи, потом достал из колодца два ведра воды, напоил лошадь и напился сам. В окне летней сопроновской избы появилась нечесаная голова старика Павла, обезноженного отца Игнахи.

— Здорово, Митрей! Ты куды правишься?

— Да вот за тобой.— Митька вылил остаток воды из ведра себе за шиворот.

— Кому я нужен, безногий-то?

— Нужен, Павло, нужен. А насчет ног, у меня одна есть, еще хорошая. Нам на двоих хватит.

Павло недоверчиво покачал головой:

— Дак ты всурьез?

— Всурьез, всурьез. Давай сбирайся. Начальство из уезда приехало, просили и тебя привезти.

— У меня и рубахи нет. Хорошей-то,— сказал Павло в задумчивости.

Из проулка к телеге подошел шибановский бобыль Носопырь, поглядел слезящимся глазом, поздоровался. Он сопел носом, в горле что-то журчало. Босые ноги в синих портках были черны, как сковородка. Сума со снадобьями висела через плечо, он сел на камень, завернул громадную, в палец, цигарку и попросил прикурить.

— Что, дедко,— ухмыльнулся Усов,— все коновалишь?

— Хожу.

— Ходи, да гляди.

— Ось?

— Ходи, да гляди, говорю! Под ноги-то.

Старый Жук в длинной рядной, в красную клетку рубахе, кривоногий, в стоптанных сапогах, подошел совсем незаметно. Точь-в-точь похожий на своего сына Жучка, с такой же, только совсем сивой бородкой, он всегда злил Митьку зорким, непростым взглядом маленьких, обманчиво-простодушных глазок. Митька все же кивнул на его «здравствуйте».

— Чего вызывают-то, Митрей? — спросил Жук, не замечая дымящего Носопыря.

Митька, не отвечая, подтянул чересседельник. Однако тот же вопрос послышался с другой стороны. Быстрый, непоседливый дедко Петруша Клюшин скороговоркой поздоровался со всеми. Этого дедка Митька Усов почему-то уважал и слегка побаивался. Петруша Клюшин с белой, как льняное повесо, бородой и с такими же волосами, причесанный, чистенький, никогда не сидел на одном месте.

— Дак чево надо от стариков?

— Нужны, Петр Григорьевич, нужны.

— А коли нужны, дак надо ехать! И тянуть нечего.

— Садись. А где у нас Павло-то?

Пошли в дом, но Павло сидел отвернувшись.

— Ну? — Митька пощупал рубаху.— Рубаха как рубаха, чего худого?

— Нет, и не уговаривайте.

— А у Сельки есть? Где Селька-то?

— Ушел в Ольховицу.

Митька задумался.

— Петр Григорьевич, это, значит, давай-ко выручи.

— Да ведь ежели такое дело... Олёшка! — он крикнул в окно какого-то мальчишку.— Сбегай-ко к нам, скажи Анютке, чтобы рубаху послала. Кубовая! На гвоздике у лежанки.

Олёшку ждали недолго, он быстро притащил кубовую рубаху.

Павло Сопронов, обнажая сухую белую спину, через голову снял старую грязную рубаху...

Его все сообща вынесли из летней избы, усадили в двуколку. Жук не хотел было ехать и попросил Носопыря, чтобы тот ехал вместо него. Носопырь был рад-радехонек такому случаю.

— Я что, я пожалуста.

— Слезай, не заслужил еще,— засмеялся Митька.— А ты садись, садись.

Жук сел. Носопырь все еще не слезал с двуколки.

— Гужи-то надежные? — Петруша оглядел упряжь.

«А, ладно,— подумал Митька про Носопыря,— пусть сидит. Не помешает, ежели лишнего привезу». И хлопнул вожжиной по лошади. Колеса завертелись, повозка, груженная шибановскими стариками, покатилась вдоль улицы.

Сопронов так больше и не показывался.

* * *

— Ох, робятушки, гли-ко, какая нам почесть-то,— крикнул Павло, оборачиваясь,— поехали чуть не на тарантасе. А я вон из Питера, из роботы, ден пятнадцать шел. Подхожу к Ольховице, гляжу, народушку коло управы густо. Торги, значит, казаков наехало. Пристав ходит в белом мундире, коров за недоимки продают...

Все давно знали эту историю, но с интересом слушали Павла. Опять — в который уже раз! — рассказывал он, как

шел из бурлаков и как наткнулся на торги, где продавали отцову корову. Он выкупил свою же корову, и отец плюхнулся ему в ноги, когда Павло на ремешке привел ее домой из Ольховицы.

— Малолетку-то! — шумел Павло.— Прямо так лобом в землю и сунулся! Тятька-то! Ох, говорит, Пашка, спасибо, голубчик! Во! А нонче што за детки пошли? Не детки — разбойники! А, Григорьевич?

— Истинно,— кивал дедко Петруша Клюшин и одергивал гороховую рубаху под черной жилеткой.— Не надев штанов, сапоги обувают. Митрей, а Митрей? Об чем будут слова-то, не насчет коллектива?

— Нет, наверно, не это... Насчет машинного либо кредитного дела,— сказал Павло.— Я так мекаю своим умом.

— Это дело хорошее,— сказал дедко Клюшин и спрыгнул с двуколки. Лошадь шла от моста в гору. Жук с Носопырем, сидевшие сзади, то ли не догадались слезть, то ли не захотели, а худоногий Павел и хромой Усов остались в телеге на законных правах.

За поскотиной догнали большую стаю усташинской молодежи. Человек сорок ребят с двумя застегнутыми гармошками шли гулять в Ольховицу. Девки ушли то ли вперед, то ли еще правились идти. На выходе к пригорку лошадь Митьки остановилась: усташинцы деловито и бесшумно стали ломать колья. Трещала крепкая еловая изгородь. Парни обрезали ножами концы и сучки, прикидывая колы в руке. Колы были легкие, крепкие.

— Ребята, не дело! — закричал им дедко Клюшин.— Остепенитесь, не дело делаете!

— Вам что за дело! — Парни были уже готовы броситься хоть на рога черту.— А вы чьи?

— Шибановские.

— Шибановских не тронем! Проезжайте!

— Что делают, музурики! — качал головой дедко Клюшин.— Опять драка у ирудов. А ведь вроде крещеные...

— Пазготни будет,— сказал Жук. Он был усташинский родом.— Не миновать никак пазготни.

За разговорами быстро приближалась Ольховица.

Ребятишки открыли отвод, Митька крутнул вожжами:

— Эх, мать честная, хоть прокачу стариков! Ольховицей-то!

Дорога тут была под уклон, и Митька, через всю деревню, рысью подъехал к исполкому. На рундук выбежал председатель Микулин. Он соскочил на лужок, хотел что-то сказать, но осекся: у амбара, стоявшего саженях в сорока за исполкомом, кричал и махал рукой Скачков:

— Всех сюда! Живо!

Митька недоуменно поглядел на Микулина:

— Куда?

— Вези...— сказал Микулин и тут же исчез в исполкоме.

— Давай, давай, подъезжай! Живо! — махал от амбара Скачков.

Митька подъехал к амбару...

— Аль хлеб перевешивать? — сказал дедко Клюшин и первым спрыгнул на землю.

IX

Никита Рогов был в гостях у свата Данила Пачина, сидел в красном углу, между Евграфом и внучкой Верой, когда из волисполкома прибежала уборщица Степанида. Она и объявила, что его требуют. Никита сказал:

— Не пойду. Это с каких рыжиков?

Он гостил у Данила вдвоем с Верой. Павел с Иваном Никитичем не пошли в Ольховицу, оба плотничали на мельнице. Данило потчевал гостей пивом, все разговоры крутились сперва около приезжей тройки, но когда Данило налил и все мужики выпили по рюмке, за столом стало живее и тревога рассеялась.

То, что случилось потом, дедко Никита не хотел вспоминать. Сухощавый военный, пришедший за ним в дом свата, велел дедку Никите выйти из-за стола и ступать за ним. Дедко Никита сказал, что никуда не пойдет, что праздник не для того, чтобы куда-то ходить. Тогда военный через стол схватил его за рукав новой сатиновой рубахи... Никогда за всю длинную жизнь никто не трогал дедка Никиту даже пальцем, он не бывал ни разу ни в одной драке, а тут его схватили за рукав при хозяине и при всех гостях. Дедко Никита взял со стола большую расписную деревянную ложку, которой черпали бараний студень.

Он взял эту самую ложку и в тишине сильно стукнул военного по голове. Тот даже открыл рот и выпустил Никитин рукав. Дедко Никита спокойно вышел из-за стола, сказал:

— До чего дожили! Прости, Данило Семенович. И вы, гости хозяйские.

Он повернулся к Скачкову:

— Ну, тилигрим, ступай! Показывай, куды надо.

От страшной обиды и от стыда старик даже не помнил, как шел деревней...

И вот он сидел сейчас на замке в темном, пустом амбаре, вытирая глаза разорванным рукавом рубахи, сидел и старался понять, вдуматься в то, что случилось. И ни во что не мог вдуматься. За что? Сроду не бывал не только под судом, даже в свидетелях. Во всем роду испокон веку ни воров, ни колодников. Господи, владыко, за какие грехи посылаешь кару? Или испытываешь крепость раба твоего перед великой бедой?

Никита не заметил, как затихла обида стыда, сменяясь горечью невеселых мыслей.

Почуялся на улице шум, забрякал замок, и двери открылись. У амбара стояла двуколка с напуганными стариками, и давешний начальник торопил их слезать:

— Всех! Живо, живо! Так. Первый! Второй... Третий.

Носопырь тоже ступил через амбарный порог.

— А тебе что, особое приглашенье? — сказал Скачков Павлу Сопронову.

— Пошто особое.— Павло попробовал опустить ноги.— У меня, вишь, ноги-то... Не слушаются.

— Держись! — Скачков подставил свое плечо.— Вот так, так, помаленьку.

Митька, оторопевший еще до этого, так и сидел на двуколке... Окованные железом двери захлопнулись, и в темноте амбара Жук первым подал испуганный голос:

— Робятушки, а робятушки?

— Это ты, Кузьма?

— Я-то не Кузьма! — пошевелил ногой Носопырь.— Кузьма-то дальше вон.

— А тут-то кто? Вроде бы ты, Петр Григорьевич.

— Свят, свят... Был Петр Григорьевич, был,— заскулил дедко Клюшин совсем в другом месте.

— Старики, это чево нас сюда, в тюрьму, что ли?

— Как татей нощных!

— Никита Иванович, а ведь и ты тут!

— Тут!

— Я думал, ты пиво у свата пьешь, а ты раньше нашего.

— Сподобился, Петр Григорьевич,— Никита плюнул.— Вот тебе и Казанская божья матерь. Эко стыдобушка! Эко добро-то как, Петро Григорьевич, до чего дожили, а?

— И не говори! Павло, может, ты знаешь, за что нас устосали? В казанскую-то...

— Откуда мне-то знать? Я бы знал, разве поехал? Приезжает, значит, Усов, так и так, требуют в сельсовет, приехала особая троица. Я вон еще Кузьме, значит, говорю: «Гли-ко, нам почесть-то вышла?» Говорю...

— Чего делать будем?

Образовалось молчание. В темноте светилась небольшая дыра, сделанная для кошек внизу двери. Где-то, за другою околицей играла гармонь, слышались угрожающие частушки:

Как в деревенку заходим,
Сразу голос подаем,
Мы отчаянны гловушки
Нигде не пропадем!

— Усташинские идут,— вздохнул Жук.— Ольховских собираются колотить.

— Дурацкое дело не хитрое.

— Не жнем, не молотим, друг дружку колотим.

— А мы? Так и будем маяться? Сторожа вроде нет.

— Сторожа-то нету.

— Жаловаться! Бумагу в губернию писать, так и так. Это какой такой закон, чтобы стариков садить? А ежели мне, примерно, до ветру надобность?

— Не ты один. Все одинакие.

— Ни за что ни про что сидим.

— Давай, стукай во двери!

— Здря!

— Робятушки, ну-ко надо пошарить. Чего в амбаре-то?

— Пустой.

— А не убежишь! Кто рубил-то? Не ты ли, Никита Иванович? Вы с Клюшиным и рубили, как сейчас вижу, ишшо до солдатов.

— На совесть рублено-то, для земской управы.

— Не на совесть, а на свою голову.

Опять поднялся кое-какой шум: Жук бил сапогом в двери, крича добрых людей на выручку. Носопырь начал чихать, дедко Клюшин шарил в пустых засеках, а Павло Сопронов подавал всем советы. Один дед Никита, не шевелясь, сидел на старом месте.

— Вот! — закричал вдруг дедко Клюшин.— Старики, есть чего-то, вроде бы свички, видно, еще от староприжимного время. Ну-ко, гляди...

— Огонь-то есть у кого?

— Свички, мать-перемать! Оне! — обрадовался Жук.

Спички оказались только у Павла, никто, кроме него и Носопыря, не курил. Зажгли огонь, и все затихло. Амбар осветился, но от этого стало как будто еще хуже прежнего. Было стыдно глядеть друг на друга, один Носопырь, не стесняясь, глядел по всем сторонам своим единственным глазом.

— Робятушки, а ведь я спомнил! — вдруг хлопнул по голенищу Павло.— Знаю, за что нас упекли.

— За что?

— А за нашего Сельку! Это Игнаха мой, прохвост, написал бумагу, как мы Сельку пороли.

— Неуж бумагу послал?

— Это, знамо, это! Нет никакой другой притчины! За это нас. А тебя-то за что, а, Олексей?

— Ну, дьяволенки! Я им покажу обоим,— шумел Павло.— Народил сынков, ужотко я им покажу...

— Чего, мужики, делать будем?

— Сельку надо! Через ево попали, через ево надо и выбираться.

— Какой замок-то у их?

— Замок как у меня на гумне, точь-в-точь,— сказал дедко Клюшин.— Я заприметил.

— Дак ведь у меня-то тоже такой! — обрадовался Жук.— А у меня и ключи с собой.

— Дак иди отпирай!

Старики невесело посмеялись.

— Ужо, робятушки, выберемся...— Павло Сопронов подполз к дверям, поглядел в кошачью дыру.

— Видно чего? — за всех спросил Носопырь.

— Видно маленько,— повернулся Павло.— Вон девки бегут. Корову гонит старуха.

— Чья?

— Кабы моя, разговору не было. Ребятишки вон... Вроде в орлянку дуют. Эй! Робята! — Павло закричал в дыру. — Ну-к бегите сюды. Далеконько, не чуют. Шабаш...

* * *

Далеко в поле затихли крики последнего чибиса, по земле прокатился тяжкий утробный топот. Это обиженный судьбою пастух, от праздника, гнал конский табун в ночную поскотину. Запахло у дворов молоком, мокрым навозом и коровьим потом. Принаряженные большухи наскоро, кое-как обрядили скотину. В заулках блеяли последние телята и овцы, даже собаки притихли.

Деревня быстро копила праздничный человеческий гомон. С поля еще тянуло запахами полуденной жары и сена, тут и там в огородах ковали кузнечики, в домах зажигались лампы, отчего на улицах сразу стало темнее.

До этого только три-четыре ватаги подростков хозяйничали на улицах, играли в орлянку и в рюхи, да стайки мелких девчонок с визгом перебегали дорогу. Девчушки, держа каждая свой платочек, по очереди качались на круговых качелях, пели, подражая большим:

Ягодиночка, не стой
У сталого у делева,
Не иссы любови той,
Котолая утеляна.

Ребятишки кидали в них липучками от лопухов. Изредка какой-нибудь подвыпивший гость проходил из дома в дом, от родни к родне, разговаривая сам с собою, разводя руками, сокрушался: «Все милашки как милашки, а моя что узолок...»

Но вот вместе с душными сумерками в деревню проникло откуда-то и, пронизывая все вокруг, развеялось нетерпеливо-тревожное возбуждение. Первая стая — шибановские ребята и девки — чинно прошла с песнями вдоль улицы. Парни, во главе с Володей Зыриным, шеренгой во всю ширину улицы, шли быстро, и девки, шедшие позади,

едва успевали, но тоже пели, а уже совсем позади прискакивали подростки, объединенные Селькой Сопроновым. Все прошли по деревне из конца в конец и остановились плясать. У самого высокого дома Володя Зырин сел на лавочке. Двое девок, Палашка с Агнейкой, встали по бокам с рябиновыми веничками, чтобы оборонять гармониста от комаров. Пляска открылась. Ольховские ребята и девки образовали один общий круг с шибановскими, он раздвинулся чуть не до середины улицы. В деревню одна за другой входили ребячьи партии из других волостей; малочисленные, человек по десять, незаметно дополняли толпу, а больше с шумом и песнями шли из конца в конец, потом останавливались плясать под свои гармони.

Ночь была парна́я, удушливая. За лесом сказывалась далекая воркотня сердитого, словно раздраженного чем-то грома. Отблески дальних молний стелились по мутному бесцветному горизонту. С востока медленно наплывала завеса какой-то угрожающе-неопределенной тьмы, но в деревне никто не думал о непогоде.

Гулянье ширилось и росло, в проулках и улицах стоял сплошной стонущий гул, и уже нельзя было разобрать отдельные голоса.

Десяток гармошек, русских и хроматических, разнотонных, то звонких, то простуженно-хриплых, игриво вздыхали и жаловались; сотни девичьих голосов, отдельно и артелями, пели, звенели и плыли во все стороны. Везде чуялись крики подростков, женское аханье, визг мелких девчонок и мужской хохот, но все это сливалось в один сплошной, словно всесветный гул.

Ольховский холостяк Акимко Дымов в большом кругу плясал, когда в самом дальнем конце деревни взревела вдруг сильная усташинская гармонь. Громадная черная усташинская артель пошла по деревне, не вмещаясь на улице, не признавая других гуляющих. Народ хлынул от них в стороны, по проулкам, в деревне сразу стало тише. Только две или три гармошки пиликало на другом посаде. Усташинцы тучей прошли по улице, завернулись, и вот гармонь их заиграла пронзительно, часто. Многоголосо и дружно усташинцы со свистом рванули разбойную песню, потом другую, беспрестанно, еще и еще. Их широченный чернеющий и ровный ряд стремительно приближался, девки, подростки и бабы ринулись с круга.

— Играй, чего стал? — крикнул Акимко Володе Зырину. Володя заиграл. Акимко, опоясывая большую дугу, косо, с густым топотом опять пошел по кругу, но усташинский гармонист, забивая Зырина, остановился, и двое парней вышли на круг, намереваясь плясать.

— Что, разве места мало в деревне? — Дымов шагнул вплотную к парням.— А ну не мешай! Играй, Зырин...— И снова пошел плясать.

Резкий хлопок по гармошке оборвал зыринскую игру. Акимко сунул в рот два пальца, свистнул, заорал:

— Робята, сюда!

Народ, скопившийся было опять, шарахнулся в сторону, взвизгнула и заревела в толпе какая-то девка, затрещали выламываемые из огорода колья, поднялся бабий крик. Дымов полетел на траву, сбитый с ног кулаком. Ольховская артель, вместе с шибановской, быстро сбежалась к месту, и усташинские вдруг побежали.

— Робя! Забегай с той стороны.

— К отводу.

— Пали каменьями их!

— Ррых...

Усташинцы позорно бежали в свою сторону, прыгая через изгороди, заворачивали за темные палисады. Они вскрое исчезли из деревни...

Акимко Дымов пощупал голову. Крови не было, но перед глазами плыли зеленые полосы. Он махнул рукой Зырину:

— Играй, Володя. Гуляйте, девки...

Мало-помалу гулянье снова вошло в свое русло. Вскоре Акимко увел Володю к себе в гости, многие шибановские холостяки тоже ушли по гостям, но все равно народу на улице прибывало и прибывало.

Усташинцы между тем и не думали уступать... Они один по одному собрались группами в условленном месте. Отдохнув и оправившись, они уговорились, как быть дальше и что кому делать, тихо подошли к отводу и вдруг бросились на деревню. Они не разбирали теперь ни девок, ни баб, крушили направо и налево... В деревне зазвенели стекла, во многих домах сразу затихли долгие песни. Хозяйки, крестясь, потушили лампы. Камни загрохотали в обшивку домов, огороды затрещали, завизжали девки, заревели повсюду бабы:

— Ой, уйди!

— Голубчик, послушай меня-то, меня послушай, андели...

— Ой, что будет-то-о-о...

Как раз в этот момент поп Рыжко вышел на воздух. Выгостив за день в трех домах, он вышел на улицу, помочился на дровяную поленницу, раздумывая, к кому бы еще сходить, услышал шум драки и утробные крики. Чей-то пронзительный женский визг подкинул Николая Ивановича над землей... Он схватил с поленницы березовое полено, выбежал на улицу и бросился в самую гущу:

— Ух! А кто ныне басурман? Опять усташинцы? Ух! Пакостники, такие-сякие, нехристи. Стой, голову оторву! Стой!

Полено у него из рук выбили. Камень шмякнулся в широкую поповскую спину. И тут отец Николай по-бычьи взревел, окончательно выходя из себя. Схватил какого-то усташинского парня с колом. Парень задрыгал ногами и выронил уразину. Николай Иванович мял и кружил его в воздухе, не опуская на землю. Откинул, как шубу, сграбастал второго, третьего. Он бросался влево и вправо, хватал кого попало и тряс на весу, спрашивая:

— Чей?

Пуговицы трещали и сыпались с каждого, кто попадал в объятья попа. Драка сразу пошла на убыль, но отец Николай вошел в раж. Расчистив середину деревни, он уже не смог остановиться, начал бросаться то в один конец, то в другой. С жутким возгласом он хватал мужской пол:

— Чей, бусурман? Ольховский или усташинец?

— Шибановский,— догадывались иные усташинцы, спасаясь от медвежьей хватки отца Николая.

— Пляши, антихрист! — поп ставил парня на ноги и бежал за другим, хватал и поднимал на воздух.

— А ты чей?

И со всего маху кидал в крапиву, если жертва не отзывалась либо подозрительно сучила ногами. Наконец отец Николай устал, выдохся и, запнувшись за что-то, растянулся в траве...

Он очнулся в глухом и безлюдном месте, тяжело дыша, огляделся. «Ох, вроде опять с пупа сорвал,— мелькнуло в хмельной голове.— Где это я?»

Пахло головешкой, крапивой да испаренным веником, видимо, чья-то баня чернела в двух шагах. Отец Николай

потряс головой, соображая, куда его занесло. Гром, ворочаясь с боку на бок, грозно приближался к деревне. Синие и желтые молнии шарахались совсем близко, они слепили отца Николая.

В деревне все еще гуляли.

Отец Николай поднялся на четвереньки, пощупал около брюха. С левой стороны, в кармане что-то тяжелило, и отец Николай вспомнил про бутылку вина, взятую еще днем про запас. Он никогда не ходил в гости пустой. Бутылка каким-то чудом устояла в кармане подрясника. «Пойду! — твердо решил отец Николай.— Надо подночевать где-нибудь».

Гроза широко и жутко грохотала над полем, дождевой шум приближался к деревне. Ветвистые молнии беспрестанно вздымались в небе, гром уже не гремел, а жутко трещал, чиркая, казалось, у самого уха. Свежий ветер вдруг вздохнул в крышах ольховских бань. Он рванул, затрепал в темноте тесовые кровли, срывая все, что было плохо прибито. Но дождь все еще не спешил, словно дразнясь и сберегая свою силу.

Во время очередной вспышки отец Николай разглядел чье-то гумно, побежал, увидел другое громоздкое строение из толстых бревен.

«Амбар,— догадался отец Николай.— Кажись, бывший земской. Ну, теперь дорогу найду...» Ему показалось, что небольшая дыра в амбарных дверях слегка светилась. Он высморкался, зажмурился и поглядел, но яркая широкая молния надолго залила все вокруг зеленым неземным светом.

«Что за штука такая?» — вслух сказал отец Николай, бодря сам себя. Окошечко в амбарных дверях и впрямь светилось. Он не был робким, подполз к амбару, заглянул и отшатнулся в ужасе. «Или блазнит мне? Дьяволы не то разбойники. Вот до чего допился, рыжая голова!» — мысленно произнес он и, набравшись духу, глянул опять.

Посреди амбара, на полу, по-сиротски тускло горела свеча. Она освещала снизу три какие-то страшные рожи и три бороды, которые выявлялись в слабом свете колеблемого воздухом огня. Николай Иванович решил, что он спит, что все это наверняка ему снится. Но один дьявол при вспышке молнии перекрестился, а другой голосом шибановского Жука произнес:

— Ишь, опять хрястнуло!

— Пазгает,— добавил третий. В темноте заворочались еще двое.

— А много ли вас, не надо ли нас? — крикнул в дыру отец Николай. Он узнал еще двоих.— Вы, товарищи, почему тут?

В амбаре зашевелились, обрадовались живому голосу с воли.

— Это ты, Николай Иванович?

— Да вы под замком, значит! — удивился отец Николай.

— Ох, слава те господи!

— Сидим!

— Достукались, вот...

— Выручи, батюшка! До ветру страсть как охота.

— Да как вас выручить?

— Да вон у Кузьмы ключ есть!

— Отопри, пожалуйста!

Жук сквозь кошачью дыру подал попу связку ключей:

— Этот вроде! С маленькой-то бородкой...

Отец Николай отомкнул замок, распахнул двери.

— Ох, вовремя! Ох, спасибо...— Дедко Клюшин побежал в темноту, за ним торопливо выбежал Носопырь. Жук не спешил, сперва взял у попа ключи.

— А я вот...— оправдывался Павло.— Нехорошо вроде бы... В дыру-то.

— Куды? — отец Николай поглядел на порог, который только что обмел бородой с той стороны.

— Да ведь... давненько уж,— застыдился Павло.— Должно высохнуть.

— Ладно! — махнул рукой отец Николай.— Ну? Так за что это вас? В темницу-то...

— Это ты, батюшка, у их спроси,— ответил дедко Никита Рогов.— Они скажут тебе, за что.

— А, не тужи, робятушки! Вот и скляница есть...— отец Николай хлопнул бутылкой по полу.

— Домой бы, да куды в экую непогодь?

— А ежели к Данилу идти?

— Нет уж, лучше тут ночевать,— сказал Павло, косясь на бутылку.— Только народ тревожить.

— Истинно,— засмеялся отец Николай.— Погодушка-то... Ишь что делается, Никита Иванович?

Никита не отозвался.

В амбар один за другим возвращались остальные узники. Двери прикрыли, зажгли погасшую от ветра свечу.

— Пойду луку грозд выдерну. Пока дожжина-то не припер,— сказал поп.— Тут чья загорода? Скажите после, ежели заругают. Дескать, на общее дело.

Отец Николай вернулся из темноты с гроздом свежего луку, ободрал с головок верхнюю кожуру.

— Ну-с? Применительно к печальным сим обстоятельствам придется прямо из горлушка. Алексей, божий человек, не с тебя ли начнем?

— Нет уж, я после всех ежели,— произнес Носопырь с достоинством.

— Ну, тогда не осудите, почну сам!

Отец Николай сделал три мощных глотка, подал бутылку Жуку. Тот после двух голотков отдал Павлу, Павло — Носопырю.

Никита Рогов и дедко Клюшин вина не пили. Они, кряхтя, ворча и шепча молитвы, устраивались на полу.

— А ну зажигай все, сколько есть! Веселей будет.— Отец Николай сгреб свечи.

Павло зажег три свечи, установил их на пол.

— Никита Иванович,— шепнул дедко Клюшин,— пойдем-ко ночевать, парень. К Данилу.

— Истинно, тут не уснуть. Пойдем, в утре придем пораньше.

Рр-ревела буря, дождь шумел,
Во мррраке молнии блистали...

Отец Николай зычно запел. Могучий его голос был заглушен раскатом грома.

Буря и впрямь ревела вокруг. Дождь падал сплошной водяной стеной: он топил амбар, Ольховицу, весь мир, все и повсюду, казалось, было огнем, водою и грохотом.

— А вы куда, распротак твою так? Сидеть!

— Остепенись, Николай Иванович.

Дедко Никита и дедко Клюшин незаметно, по одному, выбрались на волю и по дождю направились к Данилу Пачину.

— Ушли! — зашумел отец Николай. В дверях появились чьи-то широкие плечи и черная мокрая голова. Отец Николай обрадовался:

— Свято место да пусто не будет. Ты ли, Дмитрий? Явился яко из преисподней самой. Садись, компании для!

В дверях стоял и в самом деле Митька Усов. Он шагнул, не мог перекинуть хромую ногу через амбарный порог и полетел на улицу, в темноту.

* * *

Ночью, еще до грозы, Митька Усов был послан сторожить шибановских арестованных. Он пошел, мысленно матерясь. Не больно-то и приятно всю ночь сидеть у амбара, да еще в свой законный ольховский праздник — в казанскую! Ко всему прочему Митьке с самого начала не нравилась эта история. «Для чего эдаким нечередником прижимать стариков? — думал он.— Велика беда, соплюна выпороли. Бить стекла, хоть бы и в церкви, последнее дело. Подростков пороли за это испокон веку».

На крыльце исполкома, от злости за испорченный праздник, Усов даже сплюнул. «А куды они денутся?» — решил он и захромал не к амбару, а к Гривеннику. Выпил у Гривенника он стопку вина и два стакана кислого пива. Гривенник сроду не варивал хорошего пива. К Митьке сразу привязалась изжога с отрыжкой.

В это время и поднялась на улице драка. Митька забыл сам про себя и про то, что он караульщик. Он вылетел от Гривенника пулей. Даже простреленная нога как будто перестала хромать, он, как бывало в молодости, ринулся в самое пекло. Усташинских быстро прогнали, потом Усов нечаянно оказался в гостях у Акима Дымова, а тут пришла вторая волна, и Усов опять устремился на улицу. Он худо помнил, что было дальше. Кто-то из усташинцев огрел-таки его батогом по лопаткам. Митька тоже кого-то стукнул и очутился опять у Гривенника, потом опять на улице, а тут началась гроза, и он, пересилив себя, очнулся и только теперь, с натугой, вспомнил, что он амбарный патруль. Весь мокрый, с трудом приковылял к месту своего назначения.

...Двери амбара были настежь, внутри светло, как в церкви, и поп Рыжко хлопал по плечам то Носопыря, то Павла Сопронова. Усова заволокли внутрь, усадили на амбарном полу.

— Хо! Дмитрий, воин христов! Откуда? И аз грешный, препоясан весельем! Одно прискорбно: мал сосуд

сей! — Отец Николай поднял почти пустую бутылку.— Причастись, одному тебе достаточно.

Митька глотнул, повел глазом и поперхнулся:

— А где Никита? И Клюшина нету, мать-перемать!

— Да придут,— сказал Носопырь.— Куды деваются?

— К утру, сказали, явятся, все три.

— Как коров станут выпускать, так и придем, сказали.

— Не подведут, Митрей, не подведут, ей-бо!

— Хо-хо-хо-хо, едрить твою...— гудел бас отца Николая.— А крепки ли заклепы темниц? И что значат железы сии, егда и не такие оплоты рушатся в прах?

— Ладно, коли...— Митька махнул рукой, у него смежались веки, перед глазами троились свечные огни. Он прислонился к сусеку и под гул поповского голоса уснул, попытка будить его закончилась для отца Николая неудачей.

— Зело тяжел! А што, братцы? Не пора ли и нам? Пойдем ночлегу поищем.

— Оно так,— сипло сказал Носопырь.

— Буди Жука да пойдем.

— Дак спит, батюшка, уставши...

— А я уж тут...— отмахнулся Павло Сопронов.

— Пошто тут? — Поп присел на корточки.— Садись на закукорки, донесу хоть бы и до Шибанихи.

Старик было заотказывался, но отец Николай поглядел на него, и Павло зашевелился.

— Садись! А ты, Жук, дуй на огонь, паникадило гаси! Да замок сунь в пробой, чтобы как было. Димитрия беспокоить нежелательно.

Павло обхватил руками могучую шею, и отец Николай встал, крякнул:

— Куда везти?

— Да уж... давай ко Гривеннику.

Носопырь погасил свечи, закрыл двери, сунул замок в пробой. Все отправились ночевать. Подворье у Гривенника никогда не запиралось. Отец Николай заволок Павла в избу, опустил на лавку. Не успев перекреститься, пал на пол и захрапел так, что разбудил спавшего на печи нетрезвого Гривенника. Ночлежники уснули кто где.

X

Днем в казанскую Прозоров с ружьем решил через поскотину уйти к дальним лесным покосам, потому что никого не хотел видеть. Тоска, затихая, опять завершилась странным равнодушием, бесконечно тягостным отвращением к самому себе.

Над рекой он долго стоял у берега. Облака и небо отражались в омуте с удивительной точностью, без единого, нарушающего иллюзию, искажения. Еще в детстве, бывая у тетки, он подолгу стоял у реки и смотрел в это бездонное перевернутое небо. Ему казалось тогда, что травяной берег под ним обрывается синей бездонной пропастью. И так страшно было прыгать в эту небесную пропасть, а потом так приятно было вернуться в реальность, ощущая под пятками песчаное дно и разбивая ладонями эту отраженную водой беспредельность! Но это было в омуте, а там, вверху, беспредельность никогда не исчезала, она существовала, и от нее некуда было деться...

Около небольшого клона ржи он положил ружье и лег рядом на спину на скошенный луг. В зените небо синело той же непознаваемо-страшной безбрежностью. Владимир Сергеевич Прозоров отвернулся, отыскивая опору для глаз, но крупные клубящиеся облака лишь оттеняли эту безбрежность. Тогда он закрыл глаза и отвернулся совсем.

Земля была суха и тепла, словно нагретая не сверху, а изнутри. Запахи корней и пересохшей травяной зелени вернули ему ощущение самого себя, он снова взглянул вокруг.

Рожь, склоненная вся в одну сторону, была совершенно недвижима. Внизу, словно под золотым пологом, осененные колосьями, стояли густым подсадом сорные травы. Синими радугами ярко горели многие васильки, белели неувядающие ромашки. И — Прозоров знал, чувствовал это — везде по земле лежали голубые, серые, красноватые камни. Каждый год, сколько ни собирай их, они выпахиваются из земли, как будто роятся. В юности, во время приездов к тетке в имение, Прозорову хотелось думать, что камни рождаются от чего-то, растут, но растут не днем, а лишь по ночам. Странное и отрадное воспоминание...

Летающие парами белые и желтые бабочки трепетали крыльями в ржаных колосьях. Отрешенно гудели шмели.

Ковали неутомимые молоточки кузнечиков. В травяной стерне, раскрыв от жары клюв, переваливаясь, бесшумно ходила крупная самоуверенная ворона. Она прыгнула на нижний сучок сосенки, поглядела черным колдовским глазом, бесшумно же улетела. И только закачалась сосновая ветка.

Прозоров сосчитал мутовки сосны, их было около двадцати. Значит, сосне двадцать лет. Он, Прозоров, старше ее почти вдвое, но он уже прожил половину своей жизни. А сосна только начала свою жизнь. Она увидит здешнюю рожь, и реку, и эти камни через шестьдесят лет, а его, Прозорова, уже не будет... Но куда же он исчезнет? Не будет ни его, ни тех людей, которые живут сейчас, а камни и речка, и небо останутся в мире. Так же как сейчас будут вокруг конусы пахучих стогов и рожь, хранящая тишину, и обросшие мхом горячие валуны, и древние дома деревень, и неясные, красноватые облака, и многоголосая зелень лесов, кустов, мхов и лугов...

Но что дальше? Уже сколько раз мысль его заходила в тупик, натыкаясь на собственное бессилие. Он застонал, повернул голову, и его взгляд вдруг остановился, застыл: круглое отверстие ружейного ствола упиралось прямо в глаза.

«Надо остановить, надо скорее прекратить это...— сказал он себе как бы со стороны.— Все это нелепо... Все глупо и ничего не нужно, надо закончить... Ведь это так просто остановить. Надо разуться, взвести курок... нажать вон на ту железку. И все. Все сразу же прекратится».

Но небытие, коснувшись его, родило в душе холодный страх и неизбывный ужас. Владимир Сергеевич Прозоров вскочил. Пот выступил на лбу, руки дрожали. Он с омерзением подумал о смерти: «Наверное, у людей есть предел абстрагирования. Это он не позволяет сходить с ума. Но что же такое смерть? И почему люди не боятся ее?»

Овечья тропа в прогоне вывела его на неширокое, окруженное соснами взгорье. Здесь, на поляне, два мальчика-пастушка с натугой дули на потухшие головешки. Дым слезил им глаза, а ребята смеялись от этого. В сосновых космах затухал, шумел душный ветер, чуялись призрачно-нездешние звуки коровьего колокола. Из кустов шумно вздохнула корова, она долго, до нового вздоха, глядела на Прозорова.

Он помог ребятишкам развестит пóжог, успокоился и пошел в лес, пересек поскотину и перелез осек, потом вышел на тропу, ведущую на дальние сенокосные пустоши. Он хотел обычной усталостью заглушить свои размышления, продирался через чащу, ломал ветки, оборонивался от комаров. Шум сосен, далекий голос колокола и медленно пробуждающийся первобытный зов к добыче наконец растворили его в лесу, он снова не ощущал самого себя, сливаясь с окружающим миром.

Большая птица снялась недалеко от него. По хлопкам крыльев он ощутил то место, где она затихла, напряженно оглядел крону сосны, увидел серый птичий силуэт, сдерживая дыхание, прицелился. Выстрел грохнул раскатисто и торжественно, словно разрядилась не гильза, а прозоровская душа, и он подбежал к сосне. На иглах, распластав полусаженные крылья, лежал матерый лесной ястреб. Его серповидный клюв то открывался, то закрывался, издавая крякающие звуки. Рябая шея изгибалась, и желтая лапа угрожающе распускала когти.

«Значит, здесь есть рябчики»,— подумалось Прозорову. Он добил хищника стволом ружья и осторожно пошел дальше, хотел закурить, но спичек не оказалось. «Видать, выронил их, когда возился с ястребом»,— подумал он и вернулся к сосне. Спички лежали на земле, а ястреба не было: заряда дроби и двух ударов стволом оказалось мало, чтобы укокошить хищника.

Теперь он, слегка разозленный, ступая более спокойно, пошел к осеку. Снова над ним прошумел по вершинам душный ветер. Пробарабанил дятел, под подошвой треснула ветка, и вот в двух саженях от Прозорова поднялся рябчик. Он слетел не очень далеко, сел на двойную березу и еле слышно дважды тоненько свистнул. Прозоров прицелился и выстрелил. Он знал, что не мог промахнуться, вывел дымящуюся гильзу и, стараясь быть неторопливым, приблизился к берегу, раздвинул ружьем вересковые ветки.

В траве, не двигаясь, сидел тихий небольшой рябчик-подранок. Он клонил головку, и его круглый коричневый глазок смотрел не на охотника, а куда-то сквозь, равнодушно и отрешенно. Пониже глаза, на хохлатой головке, выступила крохотная розовая капелька крови. А рябчик все смотрел и не двигался, словно сидя в гнезде, наивен и как будто доверчив.

Прозоров, зажмурившись, выстрелил в этот маленький беззащитный комочек жизни... И бросил ружье в сторону.

Потом он долго стоял над мертвым рябчиком. Все прежние мысли начинались сначала. Лес шумел вокруг. Комары гнусили над ухом нудно и мерзко, голова кружилась от запаха лесных папоротников. Прозоров присел на колодину, раздавленный, уничтоженный, охваченный еще бо́льшим равнодушием и тоской. Ему ничего не хотелось, желаний не было. Он зажал виски ладонями и заплакал, заплакал без слез, изнутри, как плачут животные...

Ничего не было в нем, было лишь равнодушие, пустота и еще цинизм к самому себе, к своему рождению, к своей и ко всякой жизни. «Что такое? — думал он про себя.— Зачем ты? Что? Для чего природа осознала себя в лице твоем? С чего началось все ЭТО и чем кончится?»

Тут он вновь припомнил свое ружье, но сарказм и цинизм сделали нелепой и эту последнюю мысль, казавшуюся до этого благородной и не лишенной смысла. И он уже не плакал теперь, а хохотал над собой и над всем, что есть, хохотал и над тем, что хохочет, издевался и над тем, что издевался: «Вот... Выходит, что ты дерьмо... Ты говоришь о бессмысленности, а сам боишься нажать на этот дурацкий крючок. Боишься».

— Но неужели я боюсь ЭТОГО? — сказал он, встал, взял ружье и проверил патрон. Железо слегка холодило ладони. Он раглядывал засиженный мухами ствол: «Боишься... Но ведь если кто-то боится чего-то, значит, есть и эти кто-то и что-то... и, значит, есть во всем этом какой-то хоть самый маленький смысл... Но в чем же он, этот смысл?»

День, истекая зноем, медленно таял над лесом. Косое солнце светило сквозь медные просветы в листве и хвое. Сумерки уже таились в чаще.

Прозоров машинально встал, машинально же и неосмысленно пошел. Ему хотелось заблудиться в лесу, исчезнуть и сгинуть навек среди этих коряг и деревьев. Ноги, однако, ступали и сами несли его в сторону деревень. Он вышел на знакомое место.

Сеновал, набитый свежим сеном, стоял на скошенной пустоши. Прозоров почувствовал вдруг невероятную усталость. Поясница ныла, словно после тяжелой работы, в голове и в ногах застыла тяжесть. Он зашел в сеновал,

бросил ружье, лег на сено и в ту же минуту уснул, словно провалился в небытие.

Сон его был долгим и без всяких видений. Но вот какая-то искра мелькнула в затемненном сознании, и оно раздвоилось, потом одна половина как бы исчезла, и Прозоров сам себя увидел во сне. Ему снилось, что он умер. Он так четко, определенно ощутил свое небытие, свое исчезновение. Жалость к себе, умершему, исчезнувшему, ужаснула его, вокруг разлилась щемящая необъятная скорбь. Что-то бесконечное, неопределенное и всесильное окружало и поглощало его, он не знал, что это, он только чувствовал, что это и есть смерть. Его отсутствие, его исчезновение. Да, он умер, его нет больше в мире. «Меня нет, я умер,— думал он.— Но почему я думаю? Ведь если бы я был мертв, я бы не знал, что я умер, я бы ничего уж не думал». Эта простая и ясная мысль свалила с него страшную тяжесть, он проснулся. Дожидаясь, пока кончится сердечная спазма, он еще лежал на спине. Но вот сердце по-птичьи встрепенулось и сильно забилось. Он вскочил.

Была уже ночь, может быть, поздний вечер. Он шел к Ольховице по сумеречным тропам и ощущал какое-то страшное облегчение. Какое-то еще не осознанное чувство освобождения радовало его. Боясь, что оно исчезнет, он даже и не хотел осознавать это чувство, шел и шел по травяным тропам, все ускоряя шаг.

Где-то впереди или сбоку наигрывала гармонь: запоздалые гуляки правились в Ольховицу. Воздух был попрежнему душным, с востока следом надвигалась гроза, гром быстро приближался.

Ольховица гудела как улей. Чтобы не попадаться никому на глаза, Прозоров обошел шумную гуляющую деревню и ступил на речные лавы, намереваясь зайти к отцу Иринею. В это же время в деревне образовалась странная пауза. Гармошки стихли, раздался пронзительный женский визг, крики и звон стекол, но гроза заглушила эту новую вспышку драки. Молния осветила белую пыль дороги и траву, когда хлопнули о дорогу первые капли. Ветряной шум в крышах затих, уступая место раскатам картавого грома. Темнота стала как в осеннюю ночь, дома растворились в ней.

Прозоров быстро, почти бегом, достиг деревни. Будто вгоняя в пыль гвозди, бухнули сверху первые капли, хлы-

нул дождь. Речной омуток у мостика в свете молний ходил как на дрожжах. В Прозорове вдруг проснулось что-то, вспыхнуло и загорелось, мускулы напряглись и сердце застукало быстро и четко, словно разбуженное. Он вскочил под навес первого попавшегося взъезда, вдохнул запах дождя, приправленный кремнево-искровым запашком грозовых разрядов. Он смотрел, как гуляющие бежали по улице. Ломаные линии молний из золотых стали не то голубыми, не то дымно-зелеными, они подолгу чертили тепень, и гром шарахался во все стороны и затихал, стушеванный шумом воды. Вновь треснула широкая сильная молния, и в ее нездешнем освещении Прозоров увидел вдруг женскую фигуру. Тонкая, как тростинка, держа в руке башмаки, стояла у канавы на голубой траве какая-то девчонка, он видел ее всего секунду. И так ясно, остро запечатлелось в памяти чуть испуганное лицо, короткое движение перед прыжком и босые, рельефно утолщенные к бедрам, облепленные до ниточки промокшим платьем ноги и каплевидная грудь! Грохот и мрак поглотили ее тотчас, она исчезла, словно видение, и при следующей вспышке он уже не увидел ее, только голубая трава дымилась под струями.

— Ой... кто это? — услышал Прозоров и не успел ответить. Новый громовой треск взорвался над ними и долго стелился, шарахался по улице из стороны в сторону.

— Не бойся,— Прозоров не узнал своего голоса.— Тоня?!

— Ой... Владимир Сергеевич...

Свет от молний был слишком призрачным, каждый раз неожиданным. Прозоров зажег спичку. Они глядели друг на друга, он чуть ли не испуганно, а она, как ему показалось, насмешливо и с озорным интересом. Огонь погас, и Прозоров, боясь, что она уйдет, исчезнет, шагнул к ней. Неожиданно для себя поймал в темноте горячую, мокрую от дождя девичью руку:

— Тоня...

Она не вырвала и даже не попыталась убрать свою руку.

— А чей это дом? — спросил Прозоров, ликуя и задыхаясь.

— Я в гостях тут... У крестной. Заходите, Владимир Сергеевич.

Теперь он вспомнил, чей это был дом. Незапертые ворота звякнули железной защелкой, из сенника послышался сонный старушечий голос:

— Это ты, Тонюшка? Ворота-то не забудь, запри.

— Запру, крестная.

Однако Тоня не заперла ворот. Она открыла дверь в летнюю избу, пропустила за порог Прозорова.

Здесь было тепло и сумрачно, в увернутой лампе горел огонь, пахло квашонкой. Кошка хотела потереться о мокрое голенище, но раздумала и уселась на лавку. На столе, прикрытом чистой скатертью, стояли видимо, пироги, а в большой, точенной из дерева, крашеной чашке пиво или же сусло.

— Ой, я вся, вся мокрая! — Тоня укрылась за печью.— Я сичас... огонь можно вывернуть...

Очередной громовой раскат, словно выручая Прозорова, так ударил над крышею, что даже лампа мигнула. Прозоров вывернул в лампе фитиль. Осветились тесаные желтые стены, зеркало на простенке, завешенное от грозы полотенцами, дорожки половиков на чистом белом полу. Тоня, переодетая в сарафан и в сатиновую с воланами кофту, босиком вышла на середину избы, метнулась за самоваром к шкафу.

— Не надо самовар, Тоня! — остановил Прозоров, и она послушно закрыла шкаф.

— Садитесь... за стол, сичас студеню принесу.

Она быстро сходила куда-то в сени, принесла чашку крепкого бараньего холодца и раскрыла скатерку.

Прозоров глядел на нее словно во сне, не веря себе.

— Тоня, почему ты не пришла? На берег, в иванов день...

— Мне не сказали тогда...— она вспыхнула и опустила темнокосую голову. Но он сквозь густые ресницы заметил благодарный блеск в ее карих глазах.

— А если бы сказали, пришла бы?

— Да...— просто и очень тихо сказала она.

За окном в темноте широко и раздольно шумел, хлестал сплошной ливень, но гром гремел все глуше, гроза уходила.

— Тоня, мне надо поговорить с тобой,— глухо сказал Прозоров.— Ты знаешь о чем...

— Да,— ее голос был теперь еще тише, она перебирала пальцами голубую ленту правой косы.

— Но ведь...— Прозоров встал, подошел к ней.— Я старше тебя... лет на пятнадцать, не меньше.

Она молчала, не двигалась, только слегка вздрагивали ее длинные темные ресницы.

— И все равно ты согласна?

— Да...

Она вдруг всхлипнула, и сразу задрожали ее узкие плечи, ладони зажали все лицо, и Прозоров, счастливый, не зная что делать, заходил по избе.

— Тоня...— Он остановился.— Я приду к вам в Шибаниху!.. Послезавтра. А ты поговори с братьями.

Она кивнула, соглашаясь, но не прекращая рыданий и не отнимая рук от лица. Ему хотелось обнять, сжать эти узкие плечи, сказать что-то хорошее, благодарное. Но ничего этого он не сделал, он лишь быстро вышел в сени, нашел скобу ворот и вышел на улицу.

«Странно...— думал он, быстро ступая по дождевым лужам.— Так хорошо и странно все. Оказывается, никогда нельзя доверять себе. Жизнь, мир, они богаче того, что ты знаешь или чувствуешь, все намного богаче и шире...»

Гроза выдыхалась и уходила все дальше к поскотине. Половина неба очистилась, обнажая зеленоватые звезды. В тишине выкатывалась крупная оранжевая луна. Впереди по дороге мерцали редкие изумрудные светлячки, гром ворочался вдалеке все тише и добродушней.

Деревня спала с открытыми окнами. Где-то за домами еще чуялись запоздалые голоса, бас отца Николая. Первый петух встрепенулся и пропел на чьем-то дворе, размеренно и не спеша скрипел у реки дергач. И такая полнота жизни, такая радость ее чистоты увиделась Прозорову во всем этом, что он улыбнулся своим вчерашним мучениям. Его равнодушие исчезало, словно озонный грозовой дым.

Он вышел на берег речки, как раз напротив домика отца Иринея, сел на камни, удивляясь тому, что до сих пор не хочется ни есть, ни спать, что голова свежа и во всех мускулах странная неожиданная легкость, что хотелось двигаться и делать что-то тяжелое.

Он дождался тихого, светлого и спокойного восхода, встал и пошел домой к своему флигелю.

От угла дома отделилась чья-то фигура. Прозоров остановился, навстречу ему, не здороваясь, шагнул военный:

— Гражданин Прозоров? Владимир Сергеевич?

— Да,— удивился Прозоров.— А с кем, собственно, имею честь...

— Являюсь зам начальника уездного ОГПУ.

— Чем могу служить?

— Я обязан вас задержать.

— Позвольте...

— Идите вперед меня!

И Скачков положил руку на расстегнутую кобуру.

XI

— Яшк! А Яков Наумыч? — Ерохин осторожно потряс за хрупкое плечо спящего на скамье Меерсона.— Вставай, будем чаевничать. Вставай, вставай, дела много. Счас буржуя станем глядеть.

Меерсон вскочил со скамейки.

Ерохин энергично ходил по скрипучему полу. Вся чрезвычайная тройка ночевала в холодной комнате ККОВ [1]. Легли поздно, после заседания ячейки, утром Ерохин тоже не дал поспать. Меерсон сонливо щурился, шарил в карманах, искал очки. Его большое смугловато-мертвенное лицо было помято и казалось растерянным, большая серебристо-рыжая голова никак не поворачивалась на затекшей во время сна шее. Ему пришлось повернуться к Ерохину всем туловищем:

— Где мылись, Нил Афанасьевич?

— В речке.

«Опять врет,— подумал Меерсон, беря из портфеля мыло и полотенце.— Не мылся же, видно по физиономии».

— Там прихвати мыло мое! — крикнул Ерохин.— На лавах оставил. Мыльницу жаль, казеиновая.

Меерсон ничего не ответил.

Ерохин раскрыл командирскую сумку, вынул трофейную английскую кружку, колбасу, хлеб и сахар. Большой круглый кофейник с кипятком, приготовленный уборщицей Степанидой, уже стоял на столе. Микулин звал всех троих к Веричеву, пить чай, но Ерохин отказался и попросил только достать кипятку.

---

[1] ККОВ — крестьянский комитет общественной взаимопомощи.

Было около шести часов утра.

Ерохин, не дожидаясь Меерсона, быстро позавтракал. Он выпил из кружки вприкуску с сахаром ничем не заваренный кипяток, полистал блокнот, на каждом листке которого стоял типографский заголовок «секретно».

Последняя запись, сделанная перед отъездом сюда, гласила:

№ 1. Допросить лично, кто выпорол селькора Сильверста Сопронова. Арест виновных (поручено ОГПУ Скачкову)
№ 2. Бывш. помещик Прозоров. Антисоветская агитация. (Заняться лично)
№ 3. Благочинный Сулоев. Контр. рев. пропаганда. Религиозные действ. Материалы по выселению. Арест. (Поручено зав. АПО Меерсону)
№ 4. Положение в колхозах. (Кредитка, ТОЗ, маслоартель и коммуна им. Клары Цеткин)
№ 5. Сельхозналог и самообложение.
№ 6. Чистка в кооперации.
№ 7. Выполнение разверстки по крестьянскому займу.
№ 8. Гр. бедноты.
№ 9. Батрачество.
№ 10. Контрактация и договора.

Ерохин поставил жирную птичку напротив трех первых пунктов и, смахнув со стола хлебные крошки, задумался. Какие же результаты за сутки работы? Организовать чрезвычайную комиссию в Ольховскую волость губком потребовал специальным письмом. К письму прилагались машинописные копии двух анонимных писем, сообщавших о порке селькора и контрреволюционной деятельности бывшего дворянина Прозорова и благочинного Сулоева. Предлагалось подготовить материал по выселению. Ерохин, не медля ни дня, возглавил комиссию и выехал на место. Но он приписал к трем основным пунктам в блокноте еще семь. Так или иначе, семь этих вопросов настойчиво упоминались во всех последних директивах губкома и губисполкома и по ним надо было тоже немедленно отчитываться перед губернией.

Итак, четвертый пункт: три здешних колхоза. Один из них — кредитное товарищество — объединял около двух десятков деревень с охватом тридцати пяти процентов

населения. Все кредиты, отпущенные сельхозбанком, были распределены и использованы по назначению, товарищество росло. Члены кредитки сами организовали прокатный пункт по сельхозинвентарю, а некоторые уже написали заявления о том, чтобы объединить по паям часть надельных земель для совместной обработки. И все это вполне отвечало требованиям губернских директив о развитии производственной кооперации. Правда, тут Ерохин каждый раз слегка спотыкался. Последнее время губерния с одной стороны хвалила его за рост кредитно-машинных колхозов, а с другой — ругалась и требовала какого-то особого подхода в распределении кредитов и машин.

Он как-то замял, незаметно для себя выпроводил из головы это недоразумение и перешел ко второму колхозу.

Ольховская маслоартель была гордостью всего окружного союза молочной кооперации, а потому, само собой, его, Ерохина, гордостью. Недавняя покупка нового сепаратора и быка-производителя закрепила успех этого колхоза, и теперь артель объединяла более восьмидесяти процентов здешнего населения. Иными словами, почти все хозяйства волости, имеющие коров, оказались кооперированы, и это была не просто сбытовая кооперация, но в какой-то степени и производственная.

Ерохин встал, скрипя сапогами и половицами, прошелся. На очереди оказалась Ольховская коммуна имени Клары Цеткин. Но об этом колхозе ему даже не хотелось думать. Практически колхоз развалился, члены его разъехались, земля не обрабатывалась, а во всех отчетах и сводках коммуна по-прежнему числилась.

Он взглянул на пятый пункт, но дело с сельхозналогом и самообложением оказалось у Микулина как раз на высоте. А вот шестой пункт — о чистке в кооперации — опять же был не то чтобы неприятным, но каким-то неопределенным и потому тягостным.

Седьмой пункт — крестьянский заем, тоже все хорошо, вопрос с регистрацией батраков и организацией группы бедноты решен положительно. Ну, а контрактация посевов и договора — это лузинская епархия. Пусть занимается, прямая обязанность заведующего финотделом уисполкома. Тем более Лузин бывший председатель здешнего ВИКа.

Ерохин потянулся, зевнул. Сказывалась бессонная ночь. В комнате появился Микулин, он с напряженною расторопностью прикрыл дверь:

— Товарищ Ерохин! Прозоров приведен. Товарищ Скачков велел сказать.

— Так. Иду.— Ерохин заправил гимнастерку.— А ты, Микулин, немедленно собери группу бедноты.

— Быстро не собрать, товарищ Ерохин, праздник, вишь, казанская...

— Что значит не собрать? Что значит праздник?

Микулина словно ветром сдуло.

Секретерь прошел в соседнюю комнату.

Скачков сидел за столом, Прозоров стоял, дожидаясь приглашения садиться. Ерохин сел за другой стол. Прозоров, обращаясь к Скачкову, заговорил:

— Все-таки я бы хотел знать, чем объяснить это... эдакое...— он не мог подобрать слова и тоже сел.— Почему, собственно, я вам понадобился?

— Спрашивать, гражданин Прозоров, будем мы вас, а не вы нас! — перебил Ерохин.

— Позвольте, а кто это вы? — обернулся Прозоров.

— Я секретарь укома.

— Товарищ Ерохин?

— Так точно,— глаза Ерохина смеялись.— Я Ерохин, а вы Прозоров, дворянин, если не ошибаюсь?

— Чем могу быть полезен? — резко спросил Прозоров.

— Опять вы задаете вопрос! Но я же предупреждал, что спрашивать будем мы.

— Очень странная форма общения!

— Ну, это уж не вам выбирать,— засмеялся Ерохин.— Так вот, Прозоров...

— Я что, арестован?

— Считайте как хотите. Скажите...

— Я не буду отвечать на ваши вопросы! — сказал Прозоров.

— Скачков, пиши протокол. Первый вопрос. Что говорил в лесу? Середняку Климову, о земле, о ликвидации нэпа?

— Я не понимаю вас. Что я мог говорить? Не помню, что я мог говорить, тем более о нэпе.

— Значит, не помните. Тогда, может быть, вы вспомните момент у кооперативной лавки... с продажей зерна?

Середняком Роговым Павлом Данилычем? И ваши подстрекательские действия в отношении Рогова...

— Какие действия? Я показал газету с постановлением об отмене чрезвычайных мер, только и всего.

— Вот, вот.

— Я ознакомил Сопронова с постановлением правительства, подписанным председателем эСэНКа.

— А кто вас просил? Вы что, агитпроп? Или, может, зав избой-читальней?

— Не понимаю...— с мучительной гримасой произнес Прозоров.— С каких пор читать центральные газеты считается уголовным делом? Не понимаю я вас, товарищ Ерохин.

— Поймешь, время придет.

Ерохин резко встал, шибанул ногой табурет и направился к двери.

— Скачков, продолжай допрос!

Дверь сильно хлопнула и распахнулась. «Чертов барин...— ругался секретарь в уме.— Вишь, говорить научен, грамотный. Ну, я ему покажу грамоту».

— Меерсон! Где Меерсон?

— Одну минутку, Нил Афанасьевич,— Меерсон спешил по коридору с полотенцем и мыльницей.

— Ты долго будешь красоту наводить? Немедленно займись благочинным! А где этот парень, которого выпороли? Вызван?

Селька был вызван. Он перетаптывался в коридоре, не знал что делать. Услышав голос Ерохина, он поглядел на свои рыжие, давно не мазанные сапоги, одернул синюю сатиновую рубаху и подошел к секретарю.

— Ты? — Ерохин окинул парня острым оценивающим взглядом.— Заходи.

Они исчезли в «колхозной» комнате. Между тем как Меерсон в комнате ККОВ торопливо жевал хлеб с колбасой, в кабинете Микулина Скачков продолжал допрос. Прозоров сидел нога на ногу, сцепив на колене длинные пальцы и глядя в окно, мимо Скачкова. Рассеянно, односложно он отвечал на вопросы. После того что произошло за последние сутки, ему казалось смешным и жалким все то, что происходило сейчас. «Какая чушь! — думал он, словно не веря в то, что происходит.— Нелепость... глупо и мерзко... Кто-то написал в уезд о разговоре у осека с шибановскими мужиками. Сообщил и о покупке хлеба

у Павла Рогова. Но что в этом предосудительного? Бывший помещик, лесовладелец, социально опасный субъект. Что может быть смешнее? И в чем же он виноват? Неужели только в том, что мыслит о будущем не совсем так, как бывший председатель ВИКа Степан Иванович Лузин, работающий теперь в уезде? Но с Лузиным можно было хотя бы говорить...»

Скачков встал и прикрыл распахнутую дверь. Но Прозоров, оглянувшись, все же увидел, как по коридору прошел третий член чрезвычайной тройки, Яков Меерсон. Разумеется, это был он. Тот самый близорукий и рыжий, красневший без всякого повода гимназист. Брат черноглазой веселой Жени, с которой он, Прозоров, лежал когда-то в траве, за околицей уездного городка. «Какие странные метаморфозы...— думал Прозоров.— Впрочем, чего же тут странного? Прошло около двенадцати лет...»

— Так. Купил у Рогова хлеб. Почем?

— Что?

— Хлеб, говорю, почем? — повысил голос Скачков.

— Не помню, кажется, по два рубля пуд.

За окном разгоралось спокойное и свежее, светлое и зеленое послегрозовое утро. Слышались овечьи бубенцы, коровы трубили, подгоняемые пастухом. Ласточки чиликали над окнами Ольховского исполкома.

— Подойди подписать протокол,— сказал Скачков, по-домашнему достал вышитый крестиками платочек и высморкался.

Прозоров встал и, не читая, подписал:

— Я могу идти?

— Нет. Поедешь в уезд. А покамест придется тебе одному посумерничать. Только вот куда тебя поместить?

Прозоров побледнел. Не находя слов от возмущения, стыда и особенно от этого оскорбительного «ты», он сжал кулаки. Но, ступая впереди Скачкова, опять растегнувшего кобуру, Владимир Сергеевич фыркнул, ему почему-то стало смешно.

* * *

Еще по росе, к амбару первым пришел дедко Клюшин. Он вынул замок, аккуратно повесил на скобу, открыл двери. Увидев Митьку, подивился:

— Хватит дремать-то, хватит! Вон люди скотину выпустили, самовары ставят.

Митька мотал черной спутанной головой. Не просыпался. Вскоре появился Никита Рогов. Старики сидели на приступке, нюхали табак, не чихая.

Митька же зачихал во сне и проснулся. Сел, продрал глаза:

— Драка-то большая была?

— Дурацкое дело не хитрое,— обернулся дедко.— Долго ли будут, Митрей, держать-то нас?

— Не знаю.

— А вот што! Надо, видно, жаловаться. Прошение в уезд послать, больше и делать нечего.

Пришел Жук, ночевавший у Гривенника, а из Шибанихи — Новожил, вставший до свету.

— А ты, Новожилов, глупо и сделал,— объявил Жук.— Сидел бы дома, нос не высовывал.

— Да как? Ежели вытребовали.

— Старики, а это чево? Кого волокут?

Из проулка, верхом на отце Николае, ехал Павло Сопронов.

— Паша едет, Гривенник погоняет,— сказал Жук.— Вицу, вицу-то выломи!

Следом действительно торопился Гривенник, а чуть дальше вышагивал Носопырь. Отец Николай, топая могучими, в полупудовых сапогах лапами, поднес Павла к амбару и посадил на порог:

— Баста! Обратно пусть сельсовет везет.

— Николай Иванович, за много ли подрядился? — не унимался Жук.— Вот, паренину бы на тебе пахать. Заместо Ундера.

Отец Николай порылся в подряснике, достал денежку и подал Гривеннику:

— Ишши! Кровь из носу...

— Спит прикащик-то.

— Займи!

Гривенник отказался искать вино, вернул деньги. Отец Николай схватил его за порточину, подтянул поближе, и неизвестно, что было бы с Гривенником, если бы за него не вступились:

— Да что ты, Николай Иванович?

— Гляди, фулиганство припишут. Начальство наехало, ступить некуда.

Мало-помалу около амбара скопились кое-какие бабы и гости. Ребятишки затеяли на лужке игру «в галу». Акимко Дымов с шибановскими гостями — Иваном Нечаевым и Володей Зыриным, не проспавшись как следует, с гармошкой проходили по улице. Увидели народ, привернули к амбару. Пришли ребята-холостяки, ночевавшие по овинам и гумнам, объявились девки, и веселье получилось само собой. Народ со всей деревни потянулся на пляску. К полудню около амбара образовалась порядочная толпа. Все как-то забыли про арестованных стариков: казанскую в Ольховице всегда праздновали и на второй день.

Старики судили чего-то свое насчет сенокоса, девки под зыринскую игру плясали кружком и на перепляс, вокруг стояли бабы, обсуждая, кто во что одет; ребята, во главе с Митькой Усовым, окружили попа, тащили его сплясать:

— Ну? Николай Иванович!

— Слабо, слабо, где ему.

— Мне слабо? — отец Николай топнул уже было сапожищем о приступок крыльца, но к амбару босиком, без корзины, подошла шибановская нищая, бабка Таня:

— Батюшко, чево скажу-то...

— Что, матушка?

— Надобен.

Отец Николай наклонился, подставил рыжую голову:

— Говори!

Таня что-то прошептала ему на ухо. Отец Николай сразу отрезвел, выпрямился и исчез за амбаром. Таня пошла за ним, опираясь на березовый батожок.

— Чего это он?

— В гости, видать, ударился, не знаю только к кому.

Ребятам хотелось поплясать, они пошли на круг. Гулянка начиналась взаправду, народ все подходил. Уже не однажды сменялись игроки, давая отдых друг другу, трава на кругу была до черноты выбита сапогами и башмаками, девичьи пары плясали без остановки, одна за другой. И тут кто-то из баб углядел идущее от исполкома начальство.

— Идут, ведь сюды идут-то.

— Трое! Все, и с револьверами!

— Яко дождь на руно.

— Нет, двое, третий Микулин.
— Четверо!
Старики всполошились:
— Митрей, а Митрей! — засуетился дедко Клюшин.— Чево заводить-то будем?
— Нам бы тебя-то не подвести.
— Давай, робятушки, залезай!
— Кузьма, где у тебя ключ? Подай мужику! Потарапливайся!
Дедко Никита Рогов проворно заволок в амбар Павла Сопронова, туда же быстро перебрались дедко Петруша Клюшин, Носопырь, Кузьма, по прозвищу Жук, а заодно и старик Новожил. Митька быстро захлопнул двери, сунул в пробой замок и сел на пороге. Даже не все и заметили, как старики исчезли в амбаре. Зырин играл, ольховские и шибановские девки плясали, не обращая внимания на баб, обсуждающих девичьи наряды и все остальное.

Говорят, что не работаю
Роботы полевой,
Размолоденькая девушка
Сохой и бороной.

Навеку я не училася
И в школе не была,
Меня так родима маменька
Учену родила.

Задушевная подруга,
При разлуке тут и будь,
Ты лени воды холодныя
На белую на грудь.

— Здравствуйте, товарищи! — громко за всех четверых поздоровался высокий молодцеватый Ерохин.
— Поди-тко, здравствуй!
— Проходи ближе-то, проходи.
— Вот добро, мужик незаносливый.
— А чего заноситься? — сказал Ерохин и подтянул сапоги.
— Дак давай попляши-ко, ну-ко.
— Ой бы, уж поглядели бы!
Ерохин неожиданно вышел на круг. Девки остановились и смешались с толпой, а Зырин заиграл чаще, все сгрудились.

— Давай! — крикнул Ерохин кому-то, может быть, самому себе. Он топнул не одной ногой, а сразу обеими, как делают самые залихватские плясуны. Потом ловко пошел по выбитому до черноты дерну, выкидывая ноги в стороны и хлопая по голенищам ладонями.

«Асса! Асса!» — с придыхом выкрикивал он, прошел круг, пустился вприсядку и вдруг остановился напротив неодобрительно глядевшего Меерсона и топнул, что означало, что теперь плясать должен он.

— Выручай, агитпроп!

Вокруг одобрительно зашумели:

— Давай! Давай!

— Надо выручить.

— Это как так?

Меерсон сконфузился, снял очки и начал их протирать, а секретарь отошел, видимо, довольный. Уж кто-кто, а он-то знал, какой из Меерсона плясун...

Гармонь стихла.

— Вот так! — Ерохин снял фуражку и вытер платком белый вспотевший лоб.

— Добро, ой добро! — хвалили секретаря женщины. К нему совсем близко подошла древняя бабушка, восхищенная, поцокала языком:

— Дак ты, золотой, у кого гостишь-то?

В ту же секунду в амбаре началась возня и раздался сильный стук. Ерохин зорко оглядел притихший народ.

— В гостях-то надо бы как люди, а дома как хошь! — послышался чей-то голос.

— Пошто старики в амбаре? По какому закону? — зашевелилась толпа.

— Кто это тут законник? — Ерохин переменился в лице.— Кто бросает эти кулацкие реплики?

— У вас чуть немножко — и кулак.

— Отпусти, андели, стариков-то,— бабы тоже заговорили.— Эко дело — соплюна выпороли.

— Да его отец и хлестал-то.

— А вот мы сейчас узнаем, кто хлестал,— сказал Ерохин.— Товарищ Микулин! А ну, освободить арестованных!

Микулин взял у Скачкова ключ. Он как будто не заметил незамкнутого замка, поотпирал для виду и распахнул двери амбара. Оттуда один за другим начали выбираться довольные пленники.

Откашливались, смущенные, поправляли рубахи и опояски.

— Слава те господи! — перекрестился дедко Клюшин, а Жук сразу же тайком завернул за угол и бегом ударился от амбара. Никита Рогов и старик Новожилов вынесли на лужок Павла Сопронова, последним выбрался Носопырь и тоже перекрестился.

— Дедко, а тебя-то за что?

— Наверно, за Таню. Изобижает, вишь.

— Отстань! Не греши.— Носопырь отмахивался.

— Ну? — Ерохин вплотную подошел к старикам.— Вот ты, дед. Што скажешь насчет активиста Сопронова? Порол?

Дедко Клюшин смутился:

— Да вить нихто и не знал, что активист. Селька и Селька.

— А ты? — спросил Ерохин старика Новожила.

— Держал маленько.

— Я порол! — не дожидаясь очереди, крикнул Павло.— И буду пороть, пока он, дьяволенок, не накопит ума. Это что, товарищ начальник? Аль уж родной отец ни при чем? Мой парень! Я ему, прохвосту, еще и не так! Я ему покажу, как стекла бить, позорить отцову голову!

— А ежели он тебя? — засмеялся Ерохин.

— Тогда кунды-мунды складывай. Да прямиком на погост! Аминь!

— И делать тут больше нечего! — подтвердил Новожил.

— Ну вот что, граждане-старики. Думаю, что вы извлекли урок. Отпускаю всех по домам, но предупреждаю впредь!

— Вот те раз!

— Выходит, мы же и виноваты?

— В чем гвоздь вопроса на данном этапе, товарищи? В том, что враги пролетарского дела мешают нам всякими мерами. Вот взять хотя бы и вашу данную местность. Я как член чрезвычайной тройки предлагаю осудить бывшего благочинного и бывшего помещика Прозорова.

— Товарищ Ерохин, это чево севодни у нас, собраньё аль сход?

— Митинга.

— Слушай, коли говорят.

— А ежели усташинцы налетят?

— Да неужто усташинцев испугалися? С такими-то командерами...

— Тише, товарищи! — Микулин остановил возгласы.

Ерохин продолжал:

— Товарищи! Благодаря наличию бывшего помещика и бывшего благочинного в вашей волости усиливается деятельность по вредительству в мероприятиях Советской власти! Мы не можем и не должны терпеть данную обстановку, необходимо ликвидировать последние очаги буржуазной опасности.

— А чего оне сделали?

— Один еле жив, а другой — кому он мешает?

— А чего жалеть-то его? Хватит, побарствовал! — крикнул Гривенник.

— Ти-хо! Слушаем.

— Вы спрашиваете, что они сделали,— продолжал Ерохин.— Так я вам скажу, что они сделали! Гражданин Сулоев, товарищи, постоянно сеет вокруг себя религиозный дурман. Это он забивает верующим нестойкие головы. Мы не потерпим в своих рядах чуждую пропаганду.

Толпа опять зашевелилась, бабы завздыхали, послышались новые голоса:

— Здря!

— Сколько годов нужен был, теперь не нужен.

— Да и церква-то на замке!

Второй член тройки, Меерсон, поднял руку:

— Предлагаю, товарищи, через губисполком ходатайствовать перед ВЦИК о выселении бывшего благочинного Сулоева...— Он достал из сумки заготовленную бумагу. Никто не перебил его, все сразу притихли. Только сзади толпы сдержанно отбояривалась от ребят какая-то девка да в воздухе на лету свистели стрижи. Меерсон развернул бумагу:

— Принимая во внимание, что бывший благочинныйИриней Сулоев ведет злостную религиозную пропаганду, к мероприятиям Соввласти относится отрицательно, ходатайствовать через губисполком перед ВЦИК о его выселении с данной местности. Принимая во внимание, что гражданин Прозоров В. С. в прошлом дворянин, лишен избирательных прав, до революции имел крупную дачу

леса, к мероприятиям относится враждебно, проживает на нетрудовые доходы, по наведенным справкам, в прошлом никаких революционных заслуг за ним не имеется, просить ВЦИК о лишении его земли и имущества и выселении за пределы губернии.

Бабий шепот прошелестел по толпе. Мало кто слышал приглушенное короткое рыданье в девичьем ряду. Девки подхватили Тоню и увели, а к Ерохину проворно подскочил дед Никита:

— И не стыдно тебе? Тьфу, прости меня, господи!

— Как фамилия? — Скачков наклонился к Микулину.

— Фамиль-та? — дедко Никита подскочил ближе.— Да моя-то Рогов, а твоя как?

Маленький дед Никита, выставив белую бороду, наступал теперь на Скачкова, и тот пятился от него. Этот старик в синей рубахе то семенил на своего неприятеля, то опять поворачивался к народу, тряс кулачишком.

Вера в слезах выбежала из толпы:

— Дедушко, дедушко...

Она отгородила его, стараясь увести подальше, но Ерохин с Микулиным уже уходили, быстро шагали в сторону исполкома.

Скачков оглянулся на расходившегося деда Никиту:

— Этого бы надо... А, Яков Наумыч? Что делает!

Меерсон ничего не сказал.

— У меня вот к тебе вопрос, Яков...— продолжал Скачков.

— Что?

— Вопрос, говорю, есть. Тели... Тили.. Как его? Да, значит, телигрим... Телигрим, есть ли такое слово?

— Телигрим? Не знаю. Пилигрим есть.

— Оно чего означает?

— Странник. А что?

Скачков хмыкнул. Оба заторопились вслед за Ерохиным. Толпа у амбара тоже быстро таяла. Гармонь взыграла было опять, но тут же затихла, словно бы захлебнулась.

* * *

Ольховский священник и бывший благочинный Ириней Константинович Сулоев умирал в своем небольшом чистеньком доме над речкой по-за деревней. В двух пустых

не оклеенных шпалерами комнатах было прохладно, тихо, пахло травами и легкой свечной гарью.

Теплый полевой ветер ласково шумел листьями подоконных берез, шевелил занавески на окнах.

Кровать была передвинута ближе к окну. ОтецИриней умирал, не теряя речи и памяти. Правда, от удушья и слабости он говорил редко и едва слышно, да головокружение часто и незаметно переходило в забытное неопределенное состояние, отчего память покрывалась какой-то зыбкой завесой. Уже несколько суток он ничего не ел и не спал. Две нищенки, горбатая, маленькая Маряша и дородная шибановская Таня, которые приглядывали за умирающим, ночевали на кухне и пили чай. Они пробовали кормить отца Иринея с ложки, но он лишь слабо улыбался:

— Не надобно, нет. Христос с вами.

Вчера, в казанскую, ольховские женщины наносили отцу Иринею пирогов, студню и ендову хлебного сусла. Все стояло нетронутым в кухне, прикрытое холщовой скатертью: отец Ириней не знал, что нищенки пили чай «со своим сахарком» и «со своими сухариками».

Ночью перед грозой ему стало особенно тяжко, подступало удушье, руки и ноги похолодели и потеряли чувствительность. Он смутно слушал гул большого гулянья, и страх, какая-то неумолимая горечь все время не покидала его, хотя он не мог осознать этого. Он знал только, ясно чувствовал, что эта горечь была не от того, что он умирал, а от чего-то совсем другого, непосильного для его теперешнего сознания. Когда началась ночная гроза, отцу Иринею стало легче.

Он долго лежал так, с ясным умом и почти не ощущая себя.

— И ныне, владыко, да покроет меня рука твоя,— шептал он.— Да придет на меня милость твоя, яко смятеся душа моя и болезненна есть во исхождении своем от окаянного моего и скверного тела сего да не когда лукавый супостат совет срящет и препнет во тьме... За неведомые и ведомые в житии сем грехи мои милостив будь, да не узрит душа моя мрачного взора лукавых демонов, но да примут ее ангелы твои светлые и пресветлые...

Так шептал он, не замечая того, что шепот переходит в голос, а голос постепенно крепнет.

Горбатая Маряша, дремавшая на скамейке в кути, очнулась от этого голоса, устыдилась своей дремы и стала молиться. За ней потянулась и шибановская Таня, обе усердно клали поклоны перед образом Николы Зарайского.

Так пришло утро. Богатый теплом, светом, зеленью и птичьими кликами восход обозначился за стеной.

ОтецИриней, вновь ослабевший, шевельнул рукою, подозвал Маряшу. Нищенка по движениям его бескровного рта и по взгляду поняла, что он хочет ближе к окну. Старушки посоветовались, перетащили кровать, неохотно открыли окно и сдвинули занавеску.

Теперь умирающий лежал совсем близко от березовой зелени. Комната потеряла свою замкнутость, свежий, пахнущий росой, но все же сухой воздух веял вокруг.

Восходящее солнышко с ласковым ликующим безмолвием затопило подушку, пронизало бесплотные детские пряди седых волос, осветило выпуклый лоб отца Иринея.

Он уже не ощущал солнечного тепла, но глаза и слух были еще ясны. И он так остро увидел перемещающуюся солнечную листву, оттеняемую синей бесконечностью неба! Воздух шевелил эти первородно-свежие, будто масленые листья. Все еще не обретшие летней грубости и пепельно-бледной изнанки, они лоснились и словно на глазах напрягались клейким соком.

Так много их было рядом, в виду, а сколько их, бесчисленных, шумело еще дальше, вверху...

В деревне зычно и деловито трубили коровы, тут и там блеяли овцы. Отдельное блеяние порой замыкалось на половине от жадно схваченного травяного пучка. Над окном неутомимо хлопотали касатки.

«Господи! — отец Ириней хотел протянуть рукою в окно, но рука упала на подоконник.— Благодаря тебя, господи...» Это минутное сближение с бесчисленною листвою и безбрежностью синевы, это краткое общение с проникающим солнцем, с воздухом обновили его и совсем обессилили, и он ощутил смерть. Сейчас он ненадолго познал свое полное слияние с миром, он знал, что это слияние и есть смерть; знал, что исчезнет легко, без упреков к богу и людям. Когда-то в дни своей молодости он тоже грешил и порочил окружающий мир, задавая себе вопросы: «Что есть бог?» Да, да, он помнит, как, исходя злобой бессилия,

покушался на великую тайну, искал оправдания и смысла всего сущего. «Велик грех! Нелеп и страшен...» Отец Ириней шевельнул губами. Горбатая Маряша ласково, как на дитя, глядела на умирающего.

— Что, батюшка? Чего надо-то?

Он улыбнулся и еле заметно покивал гловой, как бы говоря, что ему хорошо и ничего не надо. Маряша отошла, и отец Ириней опять поглядел на березовую листву вблизи, на сквозную небесную синеву. Она, эта синева, была еще яснее и бесконечней. И чем дальше он глядел сквозь листву, в эту безбрежность, тем меньше ощущал себя и тем равнодушнее становился к болям в своем дотлевающем теле. Он закрыл глаза, но небесная безбрежная даль все равно не исчезала. Сейчас она переливалась в такое же безбрежное отчаяние, в безмолвный вопль, во что-то темное, страшное и всепоглощающее. Отец Ириней задвигался, руки конвульсивно запеременщались на одеяле, дыхание стало прерывистым и коротким.

Маряша и Таня засуетились:

— Господи, царица небесная, матушка...

— Харчит вроде бы, трудится.

— А ведь и не соборован, Татьянушка! Ой, беги за народом, ради Христа! Да отца Николая-то поищи, может, и тут.

Таня проворно пошла искать шибановского священника, чтобы успеть отсоборовать умирающего. Она нашла его в праздничном хороводе около исполкомовского амбара. Подначиваемый ребятами, он собирался плясать. Она шепнула ему несколько слов, и он враз отрезвел, покорно пошел за нею.

Странно, что отец Ириней сквозь черноту и отчаяние, сквозь что-то необъяснимо-важное, окутывающее его, ясно слышал все, что говорили нищенки и шибановский священник отец Николай Перовский.

И если б он смог сопоставить то, что они говорили и делали, с тем, что происходило с ним, он понял бы несоизмеримость того и другого. Но ни сопоставить, ни осознать окружающее он уже не мог и, как ему казалось, не хотел, он переживал что-то свое, ничему не подвластное и единственное. Но что это было? Он уже не мог ни объяснить, ни оформить в слова даже этот вопрос. Его сознание и вся его память сужались, ограничивались и скапливались в пучок, направленные в одну точку, и это непо-

нятная, но невыразимо важная для него точка казалась теперь самой главной и единственной. Ему хотелось понять ее и открыть тайну ее важности, а все остальное ощущалось таким ненужным, чужим и мизерно-неуместным.

Он слышал, как люди двигались рядом, как на столе было поставлено блюдо с ржаным зерном. Отец Николай положил рядом крест и Евангелие, а Маряша зажгла и поставила в блюдо свечи.

Уже читалась молитва на освящение елея. Народ прибывал, многие стояли со свечами в руках. Умирающий ощутил свое последнее удивление: это ведь он умирает и это его соборуют, а не он, который творил этот обряд сотни раз. Что же такое он?

И отец Ириней впервые в жизни ощутил себя в третьем лице.

Это было так нелепо, так мучительно-неуместно, что он снова очнулся и открыл глаза.

Перовский стоял над ним и, мигая красными глазами, произносил молитву. Сознание отца Иринея прояснилось, он на минуту вернулся вспять, к самому себе, ко всему окружающему и зашептал. Отец Николай наклонился ниже.

— Простите...— разобрал он скорее по движению губ умирающего, чем по его голосу.— Простите меня, отец Николай... что не дал благословения... чтс...

Больной, теряя сознание, замолк, провалившиеся глаза потухли и скрылись. Отец Николай продолжал читать, беря после каждого чтения лучинку с намотанной на нее белой тряпочкой и помазывая елеем лицо, руки и грудь умирающего. Мутные редкие слезы скатывались по лицу в рыжую бороду. Николай Иванович глотал окончания молитвенных слов. Не дождавшись седьмого помазания, не раскрыв Евангелия над головой соборуемого, он приложил крест к остывшим губам отца Иринея. И отошел — сутулый, громадный, встал в угол, потом прошел в прихожую-кухню...

В комнате набралось много людей, все тихо молились. Отец Ириней еще минут десять неподвижно лежал, потом вдруг шевельнул левой, после правой рукой, выгнул шею, тихо всхрапнул и вытянулся.

Все было кончено, кто-то из женщин запричитал. Горбатая Маряша сложила руки умершего.

Таня уже щепала лучину, чтобы согреть самовар для обмывания. Люди расходились, крестясь и вздыхая.

Отец Николай окаменело сидел в кухне-прихожей, когда в раскрытых дверях встали двое. Беспомощно и близоруко моргая, Меерсон платком протирал очки, за ним, вытягивая шею, стоял Скачков.

— Квартира Сулоева?

— Да.— Отец Николай медленно повернулся к ним.— Что вам угодно?

— Где он?

Отец Николай молчал.

— Есть решение схода о выселении благочинного Сулоева из пределов волости.

— Решение? Решение ваше не действительно...— сказал отец Николай.— Вы опоздали, молодой человек!

Голос сорвался было, но отец Николай переселил себя:

— Да... опоздали... ибо уже переселен отец Ириней...

Он хотел еще что-то сказать, но раздумал, махнул рукой и прямо по грядкам пошел к дому Данила Пачина.

* * *

Под вечер отца Николая на укомовской лошади увезли в уезд. Незадолго до этого Митька Усов на двуколой коммунарской телеге, охраняемый Скачковым, увез Владимира Сергеевича Прозорова. Зав АПО Яков Меерсон и секретарь укома Ерохин поехали из деревни верхом.

XII

В начале сентября 1928 года заведующего уездным финотделом Степана Ивановича Лузина письмом вызвали в Вологду.

Дождливым и темным вечером Лузин на уисполкомовской бричке добрался до станции.

У переезда Степан Иванович отпустил ездового и пошел к станции пешком. Все время моросило, лузинский макинтош спасал только от проливного дождя. Было зябко.

Степан Иванович с портфелем в руке торопился вдоль линии, когда его окликнули:

— Степан Иванович?

Лузин оглянулся. Человек пять мужиков грузили лесом платформу. Они закатывали веревками еловые бревна. Большая громоздкая фигура приблизилась к Лузину, и он узнал шибановского попа. Встреча была неприятной для Лузина.

— Вы, что ли, Перовский?

— Мы! — отец Николай подошел, но у него хватило такта не здороваться за руку.— Закурить нет ли?

Лузин уже два месяца не курил, но папиросы в кармане носил.

— Вот благодарствую! — обрадовался отец Николай, раздирая пачку большими замерзшими пальцами.— Замерз яко пес.

— Вы что тут? — Лузину хотелось уйти, но он не мог уйти.— Где охрана?

— А мы без охраны! — сказал отец Николай, прикуривая.— Нам бежать некуда...

— Ну, ну.

— Не бывали в Ольховской волости? В Шибанихе! Наверно, моя матушка-попадья уже замуж вышла...— Поп засмеялся, закашлял.— Вы за что, Степан Иванович, меня упекли?

— Заслужил, видать.

— Хм... заслужил,— отец Николай горестно покачал головой и твердо, глядя в упор, проговорил: — Помяните меня на этом месте, Степан Иванович, Игнатий Сопронов и вам покажет где раки зимуют. Не минует и вас чаша сия!

Отец Николай двинулся к платформе, откуда с любопытством глядели его новые сопричастники.

Степан Иванович, разозленный, ругая себя за то, что остановился, пошел к станции. Надо было тотчас забыть эту широкую, в мокром ватнике спину, эти громадные, замерзшие и оттого неповоротливые пальцы. И он сразу выкинул бы из головы эту нелепую встречу, если б опять не вспомнился Владимир Сергеевич. Прозоров был самым больным местом в душе Лузина. Он сознавал это с полной ясностью. Он хорошо помнил все разговоры и споры с ним, и то, что случилось, косвенно как бы доказывало правоту Прозорова в этих спорах и его, Лузина, неправоту. И это

особенно ущемляло Лузина. Придерживая портфель, он открыл вокзальные двери.

Поезд вот-вот должен был прийти, у кассы кипела давка. Лузин по командировочному удостоверению, через дежурного, взял билет, вышел опять на перрон, где по-прежнему моросил дождь. Поезд наконец пришел, и Лузин кое-как пролез в вагон. Сесть было негде. Степану Ивановичу уступил место какой-то любезный бородатый мужик, который поставил на полку свою сплетенную в виде сундучка корзину и улез наверх.

Уже смеркалось взаправду, а поезд все еще почему-то стоял.

Люди недоумевали и делали предположения, обращались к проводнику, но тот ничего не знал. Прошло минут двадцать. Степан Иванович вышел к подножке, чтобы выяснить, в чем дело. Дождь, теперь уже в темноте, попрежнему моросил, в двери вагона дуло холодом. Лузин услышал шум в темноте у вокзала, какое-то движение, но тут поезд пошел. Мокрый железнодорожник на ходу вскочил на подножку. Он занял место Степана Ивановича. Лузин долго стоял в тамбуре, потом прошел в вагон и вдавился между железнодорожником и какой-то ядреной женщиной.

— Дак чево сделалось-то? — спрашивал железнодорожника мужичок со второй полки.

Железнодорожник рассказал, почему задержали поезд. Оказывается, кто-то угнал со станции маневровый паровоз, застопорил путь.

Пока догоняли паровоз на дрезине и разбирались, что и как, поезд не мог следовать дальше.

— Ох, хой, хой! — дивился с полки мужик.—Дак это кто такой фулиган?

— Говорят, поп.

— Да ну?

— Из арестованных,— объяснил железнодорожник.— Лес грузят на станции. Он, значит, поп-то, видать, замерз, промок на дожде. Ну, и вздумал погреться, полез в паровоз.

— Ишь, нашел место.

— Неужто совладал с паровозом?

— А долго ли? — железнодорожник закурил.— Реверс там, пар пустить. Он, видно, ручку-то покрутил, ну, паровоз и пошел. Ладно хоть недалёко уехал.

— Так машинисты-ти где были?

Железнодорожник не ответил, может, он и был машинистом. Но мужика со второй полки очень заинтересовало все это, он не унимался:

— Дак он чего, и остановил сам?

— Сам. Наверно, обратно крутнул, ручку-то. На дрезине подъехали, он вылезает, весь вымазался, хохочет. Что, говорит, испугалися? Я, грит, хотел вперед, к светлому будущему.

— Вот будет ему вперед.

Степан Иванович слушал с любопытством. Стало както веселее, когда он представил попа Рыжка командующим на паровозе. «Ну и верзило! — подумал Лузин.— Кто бы еще додумался?»

Вагон качало из стороны в сторону. В его душной утробе, освещенной свечным фонарем, колыхались неспокойно спящие люди.

К ночи сморило всех, настигло, угомонило... Спали кому как повезло: кто лежа на полках, кто сидя вплотную на лавках, а кто и на полу, ничком, либо на корточках. Поезд шел нехотя, словно не желая мокнуть под дождем в темноте осенних полей. На каждой паре рельсовых стыков вагон клевал носом, дважды сотрясался, и колесный стук мешался с храпением спящих. Пахло просыхающей парной одеждой, сапожным дегтем, воздух был несвежим. Степан Иванович сидел между все еще мокрым железнодорожником и обширной бабой, которая, перемогая сон, никла большой головой, задремывала, но тут же, спохватившись, пробуждалась опять.

Лузин тоже хотел было поспать хотя бы и сидя, но мысли, цепляясь одна за другую, не пускали дремоту. Он не знал, зачем его вызвали в губком, чувствовал, что вызов не сулит ничего хорошего.

Перебирая в уме последние месяцы, он делал предположения, вспоминал. Что бы это могло значить? Он припомнил последнюю стычку с Меерсоном, который обвинил его, Лузина, в потворстве середняку и в недостаточной жесткости в деле выявления скрытых доходов. Однако Лузин не мог обвинить себя в этом. Уезд был на лучшем счету в губернии не только по налогу и самообложению, но и по займу. Отношения с Меерсоном особенно обострились после того, когда Лузин, узнав об аресте в Ольховице, пытался помочь Прозорову.

Прозоров в письме из уездной камеры обратился к Лузину за помощью, объяснил, что произошло, недоумевал и возмущался. Он не упоминал в письме о своей прошлой, известной Лузину революционной деятельности, и это Лузина особенно зацепило, заставило обратиться к Меерсону. Но Меерсон лишь обвинил Лузина в потворстве бывшим буржуям. Прозоров был отправлен в Вологду. И вот теперь Степан Иванович ощущал не то чтобы угрызения совести, но какую-то неловкость, недоговоренность. Сейчас он ничуть не жалел шибановского попа, который ездит на паровозе. Но арест и высылка Прозорова как-то раздражали его. Он все время пытался забыть об этом случае.

И никак не мог забыть... То ли от постоянных недосыпаний и усталости, то ли от монотонного стука и укачивания Степан Иванович наконец заснул, все отодвинулось куда-то и размылось.

Он не знал, сколько времени длилось это состояние. Проснулся от странной устойчивой тишины. Поезд безмолвно стоял на какой-то станции, только далеко впереди слышалось редкое отчихивание паровоза, даже храп спящих пассажиров был теперь редким.

В тишине, совсем рядом, негромко и не спеша разговаривали. Мужской голос, по-домашнему хрипловатый, слышался в тишине.

Кто-то другой поддакивал, слушал.

— А вот один раз дело было...

— Да.

— Под Кадниковом...

— Да, да.

— Мужик-то, значит, пил. Так пил, что никогда не просыхал. С чего уж он, право, не знаю. Все пропил.

— Это оно так.

— Начал из дому таскать...

— Последнее дело.

— До чего допился, ни снять, ни оболочи. Ничего нету. Сидит, эх, говорит, за рюмку бы душу черту отдал. А черт, он ведь что? Как тут и был. Рыло выставил: «Давай!» — «Больно, парень, дешево, мужик-то говорит, за рюмку-то».— «А дешево, дак и говорить нечего, у меня делов хватает».— «Ладно, не убегай, больно уж заносчив, мужик черта остановил. Вот месяц будешь вином

поить, душу отдам». Сговорилися. Дело пошло. Мужик пьет, черт вино припасает. Подходит, значит, срок, мужик затужил...

— Знамо дело.

— Оно так, хоть кого возьми,— слушатели выражали сочувствие.

— Женка спрашивает: «Чего невеселой?» — «Да вот, душу пропил, не знаю чего и делать. Идут остатние дни».

— А та чего?

— Да, да, чего баба-то?

— Баба заругалась сперва: «Леший тебя дернул! Головы-то нет. Давай, грит, душу-то мне». Мужик радехонек. Подал. Баба душу на сохранение взяла, под замок заперла.

Лузин совсем проснулся, слушая рассказчика.

— Тридцатого числа черт бежит к мужику, копытами стукает:

— «Подавай, про что говорили!» — «Нету.— «Куды девал?»— «А вон с женки спрашивай». Черт к бабе: «Где мужикова душа?» Баба говорит: «А три задачи исполни, не скажу слова, отдам».— «Какая первая?» Она блоху изловила: «Вот, научи пешком ходить». Черт и давай блоху учить. За ноги-то ее дергает, блоху-то, ноги у ее переставливает. Как отпустит, блоха фырк! И нет. Фырк — и нет. До чего доучил — сдохла. «Ну, какой сухорукой, баба говорит, пичкался, пичкался, а толку нет».— «Какая другая задача?» Баба волосину с лобка выдернула: «Сделай прямую!» Черт давай стараться. Так и сяк волосину прямит, утюгом-то гладит. А волосина все колечком...

Послышался придушенный сдержанный смех, рассказчик притих на время. Третья задача была совсем неприлична. Но все было так всерьез обрисовано, что Лузин тоже едва не расхохотался. Мужики негромко в меру посмеялись, притихли, видать стыдясь.

— Вот. А ты говоришь.

— Чево?

— Да это...

— Чево это-то?

— А, ладно. Проехало.

Поезд и впрямь пошел. Оказалось, что про три задачи слушали не только соседи, потому что заговорили сразу

не в одном месте. Степан Иванович заметил про себя, что разговор завязался и с другой стороны. Из-за стука колес он не мог разобрать все точно, но было ясно, что эти соседи обсуждали что-то серьезное. Один доказывал, что нынче можно жить и рук не мозолить, другой не соглашался, а третий поддакивал и тому и другому.

— Пошто мне на земле работать? Маяться-то? Уйду на лесозаготовки, там хоть знаешь, за что робишь.

— А и примут. Ведь то и требуется.

— Всех бы переводили на жалованье, и дело с концом! По справедливости.

— Вон все про колхоз твердят,— включился другой голос.— Да мы сами колхоз-то учредили. И быка сообща завели и кредит. Ан нет, это не тот колхоз. Вы, говорят, дикий колхоз, вступайте в другой, у вас коллектив не тот.

По вагону с того конца шел проводник, легонько стукал футляром для флажка по ногам и по спинам спящих:

— Вологда, граждане, скоро Вологда.

Люди окончательно запросыпались, зашевелились, вагон оживился от зевков и от кашля.

— Сенокос видел во сне,— объяснил мужичок, спавший на средней полке. Он хотел, видимо, перекреститься, но раздумал, слез, расчесал бороду адамовым гребнем. Снял с полки скрипучую корзину, сплетенную в виде сундучка.

Поезд остановился. Лузин с портфелем под мышкой спрыгнул на скрипучую, посыпанную шлаком бровку. Дождя здесь не было. На Вологде-I мерцали редкие электрические огни. Но напротив вокзала было еще светлее.

На перроне стояло десятка два рабочих, видимо из ТМВ, как сокращенно именовались Вологодские мастерские тяги. «Что это? — с недоумением размышлял Степан Иванович.— Кажется, митингуют среди ночи». Вдоль перрона стояло по стойке «вольно» подразделение 10-й расквартированной в Вологде дивизии. За редким милицейским оцеплением виднелась группа губернского руководства.

В длинной шинели ходил подив 10-й Степанов. Сутуловатый, низкорослый секретарь губкома Иван Михайлович Шумилов разговаривал с Фоминым — заведующим отделом по работе в деревне. Лузин хорошо знал Шумилова еще по совместной работе в Устюге. Они считали себя друзья-

ми. Кругленький, словно мальчишка, Фомин, в светлой, окладистой, но редкой бородке тоже был низкоросл. Рядом с Фоминым стояла толстенькая симпатичная зав женотделом Нижник — всеобщая любимица губкомовцев.

Степан Иванович подошел поближе, гадая, что бы это могло значить. Милиционер остановил его:

— Товарищ, сюда нельзя! Стойте здесь.

Лузин улыбнулся и неожиданно для себя сказал:

— Я к Ивану Михайловичу.

Милиционер пропустил, козыряя коротким броском руки.

Шумилов оглянулся, несмотря на близорукость, узнал Лузина. И быстро пошел навстречу.

— Это я тебя вызвал. Как с ночлегом? — Шумилов поздоровался за руку. Он говорил и спрашивал, не дожидаясь ответов.— Ну, у меня ночуешь, коль не побрезгуешь.

— Что ты, Иван Михайлович.

— А что? Очень хорошо заночуешь.

Лузин не успел ничего ответить. К платформе, тяжко отфыркиваясь, подходил паровоз, за паровозом виднелись вагоны. Раздалась зычная команда «смирно». Все замерли.

— А кого же встречают? — спросил Лузин, здороваясь с Фоминым.

— Ты что, не знаешь?

— Не знаю.

— Нет, кроме шуток? Ну, Степан Иваныч...

— Кроме шуток...

— Лашевич. Тело Лашевича,— Фомин неопределенно кашлянул.— Везут с Дальнего Востока, в Москву.

— Что... Того самого Лашевича?

— Тело Лашевича,— повторил Фомин.— Была телеграмма наркома путей сообщения.

Подив Степанов вскинул руку под козырек, траурный поезд остановился. Лузин повернулся, миновал оцепление и пошел к выходу на привокзальную площадь.

...Не желая беспокоить дежурного в губкоме, Степан Иванович пришел ночевать в Дом крестьянина. Он как-то любил это занятное заведение и частенько ночевал именно тут, среди мужиков, приезжающих в город из самых глухих деревень губернии. Обычно, сделав свои дела, набро-

дившись по учреждениям, ночлежники собирались сюда вечером. Они перебирали перстами журналы «Безбожник», судили, рядили. Усердно слушали по радио беседы агронома Зубрилина, бережно передавали друг другу наушники.

Сейчас все они давно спали. Степан Иванович прошел через коридор, где висел новый плакат, написанный на обойной бумаге: «Только через машинизацию мы достигнем коллективизации и избежим бесхлебицы!»

Дежурная отвела Степана Ивановича в угловую комнату и указала свободную койку. Лузин разделся и лег. «Да, но зачем я понадобился Ивану Михайловичу?» — подумал он под конец. И заснул с ощущением интереса ко всему завтрашнему.

XIII

Секретарь Вологодского губкома Иван Михайлович Шумилов, потомственный речник из Великого Устюга, один из немногих губернских большевиков с дореволюционным партийным стажем, был по натуре своей мягок и терпелив. Обстоятельство это совсем не противоречило его активной практической деятельности. Еще в 1905 году Иван Михайлович возглавлял выступления великоустюгских речников против самодержавия, за что и отсидел срок в Усть-Сысольской тюрьме. Октябрь 17-го застал Шумилова тоже в Устюге. Иван Михайлович несколько лет работал председателем Северо-Двинского губисполкома и секретарем губкома. Он все время ощущал недостаток образования. Потому с таким воодушевлением и поехал учиться в Москву. Марксистские курсы, где он учился, пролетели стремительно, он не успел оглянуться, как вновь оказался на практической работе, теперь уже секретарем Вологодского губкома.

И вот совсем недавно, тридцать первого августа, на бюро губкома была зачтена выписка из протокола № 57 оргбюро ЦК от 13 августа 1928 года. Для многих членов

бюро Вологодского губкома показалось несколько странным то, что Шумилов работал секретарем уже второй год, а утверждение состоялось только теперь. Сам же Иван Михайлович не придавал этому обстоятельству никакого значения. (Его мягкая терпимость и доброта вызывали у окружающих стойкое, с оттенком легкой иронии уважение. Он даже не знал, что над ним подсмеивались. Впрочем, у большинства окружающих это подсмеивание, опять же, не переходило границ товарищеского добродушия.) Но реплики членов бюро по поводу запоздалого решения оргбюро ЦК были на этот раз не только многочисленны, но и серьезны. Шумилов не мог этого не заметить. Как всегда, особенно определенно выразился член бюро Василий Аксенов, верный своим матросским замашкам: «Не знали мы, что ли, что Шумилов у нас секретарь?» И зав АПО губкома Игнатов, и зав орготделом Чичеров, а также предгубисполкома Низовцев тоже, хотя и в частном порядке, выражали недоумение. Таким образом, количество переходило в качество, и Иван Михайлович впервые задумался насчет некоторых непонятных шагов сверху.

Так, зав губпланом Михаил Бек, подписавший в числе других телеграмму в ЦК с требованием о возвращении Троцкого в Москву, дважды исключался из партии. И вот контрольная комиссия восстановила этого закоренелого троцкиста в партии, и он снова шумит в Вологде и мутит воду где только может.

Странным было то, что Бек не противоречил в принципе большинству, всегда оставлял это большинство как бы в хвосте и сам всегда оказывался в авангарде, сталкивал работников лбами, заваривая кашу там, где все уже было ясно как божий день.

Районирование и борьба вокруг вопроса о центре будущей Северной области проходят явно не в пользу Вологды. И вот Михаил Бек активно выступает в поддержку бюро, за то, чтобы центром была Вологда, и делает конкретное предложение в пользу такого решения. На практике же его предложение оборачивается почему-то против такого решения. Теперь Бек сам же винит губисполком и бюро.

Иван Михайлович невольно сопоставлял все это с общей тенденцией, с общей атмосферой тех директив, которые поступали из центра за последнее время. Тенденция

же была явно с уклоном влево. Постоянно подчеркивается важность работы с беднотой, требования дифференцированного отношения к крестьянину становятся все радикальней.

После ночного митинга и встречи вагона с телом Лашевича Иван Михайлович позволил себе прийти на работу не к девяти, как обычно, а после обеда. Дом партии размещался в здании бывшего страхового общества на углу Козлены и Афанасьевской. Иван Михайлович миновал деревянный мост через Золотуху, прошел мимо дома, где размещалась редакция газеты «Красный Север», и открыл массивные двери Дома партии. Он разделся у себя в кабинете и взглянул на памятную записку. На листке шестидневки было записано: I. Лузин, II. Вологдолес, Тенберг расценки на заготовки. III. Почему отзывается Украинцев?

Это были главные, намеченные на сегодняшнее решение дела.

Иван Михайлович вызвал своего секретаря Попова и попросил воздержаться от приема посетителей. Попов, в широкой, подпоясанной ремнем шерстяной блузе, с вечным пером в нагрудном кармане, пообещал никого не принимать.

— А как с Лузиным, Иван Михайлович?

— Да, да... А что, он здесь сейчас?

— Сейчас нет. Ждал до двенадцати, ушел.

— Хорошо, скажи сразу, как только придет...

Попов удалился. Иван Михайлович достал папку с делами секретариата. Он долго искал что-то, нашел и начал читать. Эта была рукописная копия письма из Москвы, датированного еще первым октября прошлого года. Письмо было адресовано одной из работниц Вологодского то ли горкома, то ли горисполкома. Оно долго лежало в столе, но сегодня Иван Михайлович вспомнил о нем.

«Здорово, Эйдля! — читал Шумилов.— Твое письмо получил с большим опозданием, за что, конечно, мог отплатить той же монетой, но от тебя примера не хочу взять и, как свойственно мне, буду аккуратен. Эйдлик, это письмо я посвящаю исключительно для того, чтобы ввести тебя в курс дела нашей партжизни. Как тебе известно, политика ЦК партии привела фактически к факту существования двух партий, т. е. Сталинская фракция с аппаратом

партийным и государственным, и так называемая троцкистская фракция... Почему оппозиция стала оппозицией? Отвечаю...»

— Ишь ты,— хмыкнул Иван Михайлович,— «марксист», все знает.

Письмо было очень длинным.

«Рабочий своей кровью отстаивал завоевания Октября, терпел голод, и холод, и нищету, при переходе к нэпу — рабочий жертвовал, рационализация — рабочий жертвуй, до каких пор?»

«Однако, демагогия высшего класса»,— подумал Шумилов и с раздражением продолжал чтение:

«А по Сталину все благополучно, идем маршированным темпом к социализму. А когда об этом говоришь, то тебя наз. паникером, не верующим в социалистическое построение... Оппозиция против освобождения взяточников, растратчиков и всяких иных преступников из тюрем. Их освободить, а честных партийцев из оппозиции сажают в тюрьмах, как это сделали с тов. Фишелевым, который вместе с Бухариным эмигрировал в Нью-Йорке, работал подпольно, а теперь он в ГПУ за то, что растратил 600 р., печатая платформу оппозиции и которых он хотел вернуть? Это наз. что или как это называется, не знаю».

— Это называется — правильно сделали,— произнес про себя Шумилов, продолжая читать. «Троцкому и Зиновьеву, когда они приехали в Ленинград, всем членам сессии ВЦИКа подали автомобили, ну а они не заслужили и им не подали, зато их провожали обратно с музыкой и встречали здесь в Москве с музыкой, двумя оркестрами. Эйдлик, на днях завтра или послезавтра я буду вместе с группой товарищей у Троцкого и Зиновьева, там услышим их веское слово, как они себя будут держать во время съезда, где они будут в это время и что они думают предпринять. Что будет нового, сообщу. Эйдлик, подробности я мог бы тебе писать и писать, но, поверь, рука заболела, ибо я закатил целую платформу, что является в последнее время очень можно. Кроме того уже час ночи, а завтра нужно рано вставать. Был вчера у Риве и Васи; Вася колеблющийся, более примыкает к оппозиции, а Рива за линию ЦК, она теперь работает в УН-те Сун-Ят-Сена. С утра не кушал, утром тоже не кушал, т. к. до 4-х часов ночи в субботу читал платформу 15, речи на-

ших вождей из оппозиции. Литературы у меня хватает, все отпечатано на шапирографе. Мог бы тебе послать, если бы был верный человек. Манную крупу я тебе вышлю, не смотря на то, что денег у меня нет, 35 рублей мне так и не дали и я в долгах на эту же сумму. Напиши подробно все, только все быстро и быстро письмо мое спрячь, до моего приезда не порви. Кончаю, все не перескажешь, у меня бы хватало материалу на целую книгу, до свидания, напиши тут же, немедля все подробно.

Целую Надюшку».

— Ну, писатель! — Иван Михайлович Шумилов с облегчением встал.— Расписался, негодяй...

В это время в кабинет вошел Лузин. Иван Михайлович радушно поздоровался и усадил его на старинный стул, поближе к столу.

— Чаю хочешь? Ты смотри-ка, уже темно.

И зажег массивную настольную лампу. Высокие окна темнели еще негустыми сумерками. И без того короткий сентябрьский день был урезан осенним ненастьем. Низко над Вологдой, заполняя редкие голубые просветы, летели лохматые, изжелта-серые тучи.

XIV

Что бы там ни думал Шумилов наедине с собою, какие б ни донимали его сомнения и мысли, но он был секретарь губкома. Он был прежде всего член партии. Никогда и нигде не сомневался он ни в правоте партийного дела, ни в необходимости демократического централизма — этого основного партийного принципа. Он не только уважал, но и исполнял в точности все директивы центра. И до недавних пор у него не было противоречия между тем, что надо, и тем, что хочется. Но вот, особенно нынешним летом, он стал глухо ощущать это противоречие. Не желая осмыслить его до конца, он все чаще раздражался и расстраивался в самых неожиданных и безобидных случаях. Он ошибочно приписывал это раздражение возрасту, а также срывам физического здоровья. Между тем раздражение рождалось от того, что последние

директивы и впрямь зачастую противоречили друг другу. Противоречили не только по форме, но и по существу. Шумилов не хотел, не желал признавать этого. Уважая простоту и определенность, он не любил неясность, недосказанность. Но в такой обстановке избегать недосказанностей было трудно, а добиваться определенности еще труднее. Товарищи же, окружавшие его, несправедливо объясняли эту неопределенность его либерализмом и мягкостью. Он чувствовал это и ничем не мог доказать то, что они несправедливы. Он просто не имел права доказывать. И вот он все чаще прибегал к формальной строгости и к формальной логике. Все, особенно члены бюро, тотчас увидели нелепость формализма в нем, в Шумилове, и, не понимая причины, тут же, пусть про себя, но дружно обвинили его в бюрократизме. Товарищеская обстановка исчезла. И многие винили в этом именно его, Ивана Шумилова. Привыкший к ясности и доброжелательству, он, сам того не осознавая, жаждал откровенного разговора, ему было необходимо разрядиться, опять, хотя б ненадолго, ощутить понимание и ясность. И он вызвал в губком старого друга Степана Лузина. Благо того же требовали и интересы дела: из-за перемещений и отзывов на многих ключевых губернских постах не было руководства. Шумилов хотел предложить Лузину переезд в Вологду, на важную должность в губисполком.

— Куда же ты, Степан Иванович, вчера исчез? — спросил Шумилов.— Чего не дождался?

— Да ушел. Ночевать в Дом крестьянина,— сказал Лузин, с облегчением замечая простоту, с которой заговорил секретарь.— А что, Иван Михайлович? Это тот самый Лашевич? По нему было решение пленума?

— Тот самый,— Шумилов, улыбаясь, барабанил по столу пальцами.

— Не понимаю, с какой стати митинговать...

— Ну, ну почему же? В таких случаях все прошлые ошибки кажутся мелочью.

— Ошибка? Собирает подпольные собрания, говорит провокационные речи. Тайные типографии — мелочь. Ничего себе!

Шумилов начал краснеть, чувствуя стыд. Он знал и раньше, что с Лузиным так нельзя. И не для того он ждал его, чтобы спорить.

— Ты какой-то стал, не понимаю...— Лузин заметил растерянность Ивана Михайловича.

— Какой? Ну говори, говори, сразу чтоб.

— Да скользкий.

Шумилов невесело рассмеялся. Потом замолчал и вздохнул.

— Что делать, Степан? Будешь скользкий! — Он встал и в сердцах бросил на стол пачку исписанных листов:

— Вот, не поленись, почитай.

— Что такое?

— Откровения троцкиста. Протопоп Аввакум, да и только.

— Не буду, не хочу.— Лузин отодвинул листы, встал и, подойдя к полке с книгами, за корешок вытащил один из томов.— Я и Маркса-то еще не все читал, а ты мне троцкистов суешь.

— Значит, не желаешь читать столичных писателей? — Шумилов достал из стола другую папку.— Ну, у меня и другие есть. Уездные. Вот, целых два сочинения. Почитай, почитай, тебя касается.

Степан Иванович отложил книгу, взял и прочел бумаги. Первая, написанная на двух листах, удивительно знакомым почерком, сообщала о том, как Лузин, будучи председателем Ольховского ВИКа, потворствовал кулаку Пачину и обижал шибановских бедняков. Вторая бумага касалась проверки кооперативных кадров в лузинском уезде — заключение работника ОГПУ. В ней говорилось о зажиточных и кулаках, сидящих в кооперации на бухгалтерских должностях. К заключению была приложена справка уездного АПО, подписанная Меерсоном. Формально справка ничуть не компрометировала Лузина. Но составлена она была так, что общие выводы напрашивались сами, подтверждая неграмотное и предвзятое заключение работника ОГПУ. Лузин бросил бумаги и вскочил:

— Ты зачем меня вызвал? Кляузы, что ли, читать?

— Ладно, ладно, не ерепенься.

Глаза Шумилова за стеклами очков играли озорно и непринужденно. Однако Лузин был возмущен всерьез, на его лбу, повыше висков, напряглись извилистые голубоватые жилы. Он прошелся по кабинету, двинул ногой стул и снова сел.

— Ты, Иван, меня знаешь давно. И в бирюльки играть нам с тобой не стоит. Вам в губкоме делать стало нечего! Кляузы подшиваете да митингуете по ночам. Ты скажи, что, вообще, происходит?

— А вот давай и поговорим! Что происходит...

Шумилов вызвал дежурную и попросил принести чаю.

— Ты газеты читаешь? Читаешь.— Он с улыбкой разглядывал Лузина.— Так вот скажи, почему вдруг о правых заговорили?

— А я у тебя хотел спросить.

— Да потому и заговорили, что в нэпе-то мы окончательно приувязли. А пятнадцатый съезд...

Но Лузин опять почувствовал неискренность и перебил:

— Брось! Почему это мы увязли в нэпе? Ты, что ли, так считаешь?

— Я тоже не считаю. А вот Троцкий в Алма-Ате думает по-другому. И пакостит по-прежнему.— Шумилов заволновался теперь и сам.— Вероятно, и в нынешнем политбюро нет единого мнения.

— А куда Сталин глядит?

— Сталина, Степан, в Москве считают почему-то правым. И все политбюро вместе с ним.

— Все это троцкистские штучки,— резко сказал Степан Иванович и отхлебнул крепкий, но еле тепленький чай.— Разве не ясно?

— Нет, не ясно. Вот ты мне скажи, как ты понимаешь коллективизацию? — Шумилов задумчиво почесал в затылке.— Мне вон ежедневно пакет. Развернуть работу с беднотой! Усилить внимание к деревне, ударить по кулаку!

— Зуд, левачество.

— А что, разве в стране нет кулака как такового?

— Кулак есть, конечно.— Лузин задумчиво отодвинул стакан.— Никто и не игнорирует наличие кулака. Но, во-первых, ленинский кооперативный план бьет по нему намного верней и надежнее, чем все эти левые лозунги. Мы же обязаны это знать! Во-вторых, нельзя стричь всю страну под одну гребенку. Одно дело Сибирь, например, другое дело наша губерния. У нас если у крестьянина три коровы да лошадь, мы его прямиком в кулаки. А там?

Там с тремя коровами он самый натуральный бедняк. Выходит, что тебе велят бить не кулака, а самую что ни на есть бедноту. Я приукрашиваю, но разве не так?

— Допустим. А как быть с производственной кооперацией? То бишь с обобществленьем земли?

— Да она же сама явится как миленькая! Стоит нам дать крестьянину трактор. А вот ты скажи, много ли получила губерния тракторов?

— Двадцать,— Шумилов почесал поясницу, потом опять затылок.

— Ну вот, двадцать фордзонов на всю губернию. А губерния-то — две Бельгии уместится, да еще и Дания. Согласись, что не больно-то лишка.

— Но нам нельзя ждать, пока машин будет достаточно. Время, Степан, не ждет.

— А поспешим — людей насмешим. Да лет на десяток рабочих оставим голодными... Какую ты хочешь новую коллективизацию? Как в Тигине? Знаю я вашу Тигину. Такую коллективизацию сделать полдела. Конечно, в такой колхоз все побегут, поголовно.

— Почему?

— Да потому что землю нарезали самую лучшую! Кредитами завалили. Помощь по всем линиям. А ежели сплошь, везде так, хватит у тебя кредитов? Не терпится кой-кому при социализме пожить.

— Чаянова начитался?

— Не приклеивай мне ярлык.— Лузин с раздражением вскочил.— Чаянова... У тебя за какие годы подшивки?

Он быстро подошел к столику, где лежала груда газетных подшивок, вытащил одну, долго листал.

— Вот, послушай. «Собственно говоря, нам осталось только одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. Только это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму. Поэтому нашим правилом должно быть: как можно меньше мудрствования, как можно меньше выкрутас...»

Шумилов хмуро слушал, нервно пересовывал на столе бумаги. Он хотел что-то сказать, видимо, возразить, но в дверь постучали. Вошел высокий военный, в мокрой на-

кидке. Круглолицый, со светлыми, под Котовского, усами, он козырнул:

— Разрешите, товарищ Шумилов? Штырев, послан товарищем Прокофьевым. Вам пакет. Распишитесь.

Военный мельком взглянул на Лузина, сложил расписку, четко, по-военному, козырнул, повернулся и вышел.

«Я где-то его видел,— подумал Лузин.— Наверняка видел. Штырев. Петр... Фамилия тоже чем-то знакома».

Шумилов распечатал конверт. Свежая, еще не просохшая телеграфная лента была наклеена на трех телеграфных бланках. Шумилов прочитал текст и подал телеграмму Степану Ивановичу:

— Вот, пожалуйста. Это по твоей линии.

Лузин взял бланки:

«Всем парткомам тчк Цека подверг специальному обсуждению вопрос о мероприятиях, связанных со взиманием единого сельхозналога и констатировал крайнюю слабость работы по проведению налоговой кампании тчк Принятое по этому вопросу Постановление союзного СНК от одиннадцатого сентября полностью совпадает с постановлением Цека тчк Цека предлагает принять к руководству все конкретные директивы зпт указанные в постановлении и добиться решительного усиления всех партийных зпт профессиональных и советских организаций по энергичному и правильному проведению налоговой кампании тчк Проведение всех мероприятий по исправлению недочетов и извращений ни в коем случае не должно привести к ослаблению темпа взимания сельхозналога тчк Необходимо шире развернуть среди бедняцко-середняцкой массы политическую агитационную и организационную работу зпт особенно по разъяснению классового характера налога тчк Ввиду увеличения суммы налога известные трудности неизбежны зпт особенно в связи со злостным сопротивлением зпт которое оказывают кулацкие элементы тчк. Тем более необходимо усилить политическую работу на селе и особенно органам бедноты тчк Постановление СНК получите в исполкоме тчк Секретарь Цека Каганович».

К телеграмме ЦК была приложена служебная записка с типографским заголовком «секретно», подписанная начальником губернского ОГПУ:

«т. Шумилову. Принято в 2 часа ночи при моем присутствии».

— Что скажешь?

Лузин пожал плечами, вернул бланки и встал, собираясь идти.

— Будет опять делов...

— Подожди, Степан Иванович,— Шумилов сунул бумаги в стол, закрыл сейф.

Они вышли на улицу вместе. Оба молчали, чувствуя, что разговора так и не получилось. Было около трех часов ночи, дождь перестал. Через мост в жиденьком электрическом свете прогромыхал обоз из трех повозок: золотари, нахохленные, сидели впереди своех бочек. Кони глухо стукали копытами по камням мостовой, ветер шумел в тополях на темной Козлёне.

— Ну, а как семья? — спросил Шумилов, поднимая воротник пальто.— С квартирой, жена как?

— Все хорошо, Иван Михайлович,— отозвался Лузин, чувствуя необязательность и формальность такого вопроса.

Сегодня Шумилов уже не приглашал Лузина ночевать. На мосту они сухо распрощались. Степан Иванович так и не узнал, зачем был вызван в губком.

* * *

Через несколько недель, 23 октября 1928 года, бюро Вологодского губкома обсуждало «Обращение ЦК и Московской организации». Текст обращения ко всем укомам по вопросу о правой опасности был принят единогласно и разослан незамедлительно. Иван Михайлович Шумилов был в отпуске. 18 ноября в Вологде состоялся пленум губкома с докладом «О правом уклоне в партии и примиренчестве». Шумилов вернулся из отпуска как раз к пленуму. В резолюции, принятой также единогласно, говорилось:

«Трудности нашего строительства, условия капиталистического окружения и частного мелкого товарного крестьянского хозяйства порождали и будут порождать сомнения и шатания в среде отдельных прослоек рабочего класса и некоторых звеньях нашей партии.

Пленум губкома призывает парторганизацию губернии к идейному вооружению и решительной борьбе в повседневной практической работе всех членов партии против правого уклона и примиренчества, в то же время нисколько не ослабляя борьбы с осколками троцкизма.

Пленум выдвигает перед всеми парторганизациями губернии следующие задачи:

а) Добиться полного понимания всеми членами парторганизации корней и содержания правого уклона и решительной борьбы с ним, неуклонно разоблачая настроения примиренчества, стремление смазать острую постановку вопроса в борьбе с шатаниями.

б) Поставить более широкое разъяснение среди рабочих и крестьянских масс задач партии в области хозяйственного, политического и культурного строительства, добиваясь ясного и четкого понимания и выполнения решений XV съезда партии и пленумов ЦК.

в) На основе самокритики и самопроверки своей работы проводить последовательную внутрипартийную демократию, добиваясь активизации партийных масс и большего участия их в работе парторганов.

г) Во всей сети массовой политико-просветительной работы провести более решительную идеологическую борьбу против шатаний и колебаний от линии партии.

д) Обеспечить своевременное освещение в печати вопросов правой опасности, обратив особое внимание на четкую и ясную постановку этого вопроса.

За решительную борьбу против правого уклона и примиренчества!

За упорное преодоление трудностей социалистического строительства!

За неуклонное выполнение решений XV съезда ВКП(б) и пленумов ЦК!»

XV

И ходила осень по русской земле... Как ходит странная баба непонятного возраста: по золотым перелескам, промеж деревьев, собирая в подол хрусткие рыжики. За спи-

ною кошель с невиданной поклажей, на голове темный платок. Она осторожно и властно разводит в стороны сонливые хвойные лапы, тычет посохом влево и вправо. И древняя песня вплетается в крик журавлей. Курлыканье этих жилистых птиц остывает в пронзительном бело-синем небе, и они исчезают вдали, словно нанизанные на тонкую бечеву. А женский голос все тянет и тянет, вот он чуется уже в другой стороне, то затухнет в лесах, то щемяще нависнет над заокольным жнивьем. Он редко долетает до самой деревни. О чем же так отрешенно поет беззаботная странница, где ее новый ночлег?

В просторных полях плавает над росой синяя паутина, медленно остывает натруженная земля. В прозрачных глубинах речных омутов усыпают, ленивеют рыбы, едва шевелят перьями. И с берега подолгу смотрит на них задумчивая скотина. Соломенные зароды вокруг все еще желты и свежи, но стога, окруженные поздней зеленой отавой, давно поблекли и вылиняли от сентябрьских дождей. Зато как ослепительны изумрудно-сизые озимые полосы, как безмолвно и ярко пылают на опушке рубиновые всплески рябин!

На каменистой меже бурчит и пыжится от неразделенной любви молодой тетерев. Тоскует один, как дурачок. Крутится вокруг себя, пушит хвост и с шелестом раздвигает широкое радужное крыло. И такая кругом тишина, кроме него...

Дальше в лесу тоже необычайно тихо, словно только что разбился неведомый драгоценный сосуд. Все замерло, все затаило дыхание и словно ждет какую-то неизбежную кару, а может, прощения и отдыха.

На лесной дороге пропыхтит и протопает конь, везущий телегу с дровами, на секунду вкусно запахнет жильем от мужицкой цигарки. А дятел-желна пустит в ответ такую звонкую, такую раскатистую четкую дробь, что тишина после нее станет еще ядреней и бездонней.

Нет конца вологодским, архангельским, заонежским, устюжинским, печорским и мезенским лесам! Порою осень дует на них, обдавая мокрым широким ветром. И тогда глухой недовольный гул валами идет на тысячи верст, неделями катится от Белого моря. Тайга глухо шумит, словно вторит своему собрату — полночному океану. Ветры

сдувают с лона бессчетных озер заповедную синеву, рябят, морщат и осыпают мертвой листвой плесы великих северных рек. Дыхание этих ветров то прохватывает тайгу болотной сединой, то вплетает в нее золотые, оранжевые и серебристо-желтые пряди. Но сосновым и еловым грядам ничто нипочем, они все так же надменно молчат либо грозно и страшно гудят, вздымают свои возмущенные гривы, и тогда могучий всесветный шум снова катится по бескрайней тайге.

Казалось, что нет и не будет предела этим лесам...

Осенью 1928 года тысячи деревень, раскиданных по ушкуйным просторам Севера, спокойно дымили овинами. По утрам далеко за околицы тянуло запахом ржаного свежего хлеба, скот свободно и без летних надзоров ступал в убранные поля, пастухи собирали с дворов свою годовую дань. На заре всюду слышался стук цепов. Люди молотили хлеб, отдавали долги, запасались на зиму капустой, грибами и ягодами, утепляли хлевы и дома, ссыпали в обрубы ям картофель и брюкву. Надеяться крестьянину не на кого и не на что, кроме своих погребов и сусеков. Надо было кормить себя и детей, кормить всю взбудораженную страну.

Свободные ребята и мужики собирались около разбитных и бойких вербовщиков, подмахивали договора. Страна закладывала обширные стройки. Но лес был нужен не только для барачных стропил и для бетонных опалубок, Европа платила за наши елки чистейшим золотом... Насушив сухарей, справив рукавицы и валенки, многие уезжали на лесозаготовки. Сразу во многих местах неоглядного русского Севера впились в древесину хорошо направленные поперечные пилы, захлебнулись во влажных опилках.

Ударили топоры.

Заржали кони в лесах.

И вповалку, друг на друга начали падать вековые деревья.

Первые поезда, груженные свежими древесными тушами, запыхтели на Север, к Архангельску. На широких причалах Норвеголеса запахло зеленой лесной кровью, русская речь смешалась с непонятным заморским говором. Бородатые капитаны в зюйдвестках, стоя на мостиках, невозмутимо пыхали короткими трубками, а чревы океан-

ских судов, ненасытные и бездонные, поглощали и поглощали золотую смолистую плоть.

Леса неоглядного Севера затаенно стихали: после ветров и дождей слетало на землю теплое краткое бабье лето.

* * *

Микулин ходил по своему кабинету, он был весел и счастлив. Много ли надо здоровому человеку в таком возрасте? Он совсем не осознавал, что веселье его и счастье вовсе не от того, что Киря-сапожник сшил ему новые, со скрипом, хромовые сапоги. Не от того оно, это счастье, что налог полностью собран, картошка у матери выкопана, и даже не от того, что в мире существует Палашка Миронова, дочка Евграфа. Счастье было просто от здоровья и молодости.

Но в молодые годы никто не думает о молодости, всем кажется, что счастье скапливается из таких приятных событий, как новые сапоги.

Микулин про себя, как маленький, радовался этим сапогам. На тридцать рублей, которые платили ему за работу в ВИКе, много не нафорсишь. По случаю и по дешевке купил Микулин хромовые заготовки. Подклейки и подпаряды у него были, а подошвы из толстой коровины продал Данило Пачин. Киря за два дня стачал голенища и задники. Он при заказчике вырезал из бересты два языка, подложил их под сапожные стельки. И вот когда сапоги выстоялись, Киря вынул колодки. Микулин обулся и прошелся по избе, сапоги «заговорили». Скрип был точно по моде, не очень громкий и какой-то посвистывающий. И вот теперь Микулин шагал по кабинету и с удовольствием прислушивался к этому скрипу. Намечалось заседание СУК [1], которой заправлял Игнатий Сопронов, выбранный недавно на эту общественную должность. Нужно было обсудить письмо из уезда, от Степана Ивановича Лузина, полученное вчера. Это письмо лежало на столе Микулина.

Пока собирались члены комиссии — Веричев и Усов,

---

[1] СУК — Сельская установочная комиссия.

пока ждали самого Сопронова, председатель снова перечитал письмо:

«Здравствуйте Николай Николаевич! — писал зав финотделом уисполкома.— Хотел позвонить, но решил, что лучше написать. Ты знаешь, что в настоящий момент Партия и Правительство проводят новую налоговую политику. Классовая установка, намеченная XV съездом, требует от всех нас, чтобы мы подходили к этому делу с пролетарских позиций. Курс взят на расширение налога за счет увеличения обложения зажиточных и верхушки особенно. Но ни в коем случае не за счет бедноты. Нами получены директивы губкома и губисполкома на этот счет. Поэтому, очень тебя прошу, срочно собери установочную комиссию. Пересмотрите объекты обложения и выявите скрытые статьи доходов. По нашим наметкам Ольховскому ВИКу следует увеличить объем сельхозналога в среднем на 30 процентов, что вам вполне по плечу. Дело теперь за практической вашей работой.

С приветом. С. Лузин.

Прошу также ускорить сбор страховых платежей и послать списки по самообложению».

— Кого нет? — спросил Сопронов, видимо сам себя, когда в кабинете у Микулина стало сумеречно от табаку.

— Гривенник не придет,— сказал Усов.— Ушел, говорят, по рыжики!

— Будем начинать! — сказал председатель.— Время, так сказать, тянуть нечего. (Микулин совсем недавно подцепил где-то в уезде присловье «так сказать» и теперь приговаривал его там и сям. Но поскольку он был частобай, то и получилось у него «таскать».)

— Открыть! — согласился и секретарь ячейки Веричев.— Только сперва проведем собрание партийцев.

— Да ведь, Александр Андреич, мы его не готовили,— обернулся Микулин.— И кворуму нет. У Дугиной уроки идут.

— Дугину беспокоить не будем. А насчет подготовки... Какая, Николай Николаевич, нужна особая подготовка? Все на виду. Так что предлагаю открыть собрание.

Микулин был приятно удивлен ненавязчивой твердостью секретаря ячейки Веричева. Ячейка и впрямь не со-

биралась давно, все лето Веричев был в отъезде, он отводил порубочные лесные делянки.

Председатель без всякой обиды предложил Веричеву свое место за столом. «Давай, мол, тебе и карты в руки». Но Веричев не стал пересаживаться.

— Я, товарищи, вот что,— сразу же начал он.— Насчет налога и говорить много нечего. Надо собирать. Великовато, конешно. Да ведь невыявленные доходы тоже кой у кого найдутся. Пусть по этому делу выскажется Микулин...

— А чего высказывать? Все высказано.

Микулин, ничего не подозревая, зачитал письмо. И оттого, что оно было адресовано не председателю налоговой комиссии, а председателю ВИКа Микулину, да еще и лично, Сопронов вспыхнул:

— Все это мы и без Лузина знаем!

Микулин пропустил реплику мимо ушей. Он заговорил о налоге. Слушал других, но думал все равно о своем, то есть о Палашке Мироновой, или Евграфовой, как называли ее в волости. После того мезонинного случая Палашка стала хитрее, о чем Микулин по простоте души не догадывался. Он часто встречался с нею, но всегда где-нибудь либо на гуляньях, либо в домах у родственников. Так уж она подстраивала. Микулин ждал удобного случая, у него было одно на уме. О женитьбе он как-то забыл, Палашка же только и ждала этого разговора, поэтому они нередко и ссорились. Впрочем, размолвки все равно кончались целованьем и тисканьем. Сегодня председатель опять хотел увидеть ее и торопился.

Комиссия быстро решила, кому куда ехать с новым налоговым заданием. Микулин взял на себя Ольховицу и ближние к ней деревни, Митьку и Веричева послали в залесные и заозерные места, а Сопронов сам согласился на шибановский «куст».

— Значит, так, Игнатий Павлович, смотри не подведи. Действуй там, гляди по обстановке.

— Сам-то не приедешь в Шибаниху? — спросил Сопронов Микулина.

— Надо бы, да, видишь, некогда.

Веричев перебил:

— Товарищи, есть еще один вопрос.

Все настороженно затихли.

— В части членских взносов и партийной документа-

ции,— продолжал Веричев,— предлагаю проверить партийные билеты сейчас. А задолженность погасить завтра же.

— «Ладно, пожалуй,— подумал Микулин, доставая из внутреннего кармана завернутый в газету партийный билет.— Вроде всурьез секретарство-то начинает Веричев».

Веричев показал собранию свой билет, посмотрел микулинский. Затем показал и спрятал свой билет Усов.

— А ты чего, Игнатий Павлович? — спросил секретарь.

— У меня нет билета,— глухо произнес Сопронов. Чувствуя, как белеет лицо и шея, он встал.

— Как это нет? — спокойно спросил Веричев.— Ты что, потерял?

— Нет, не потерял! И не потеряю! Партбилет я временно сдал в уком. Можете справиться у товарища Ерохина...

Казалось, Веричев с минуту раздумывал, что делать дальше.

— А почему ты его сдал в уком?

Сопронов не ответил. Образовалась опять напряженная тишина.

— Хорошо, выясним...— с угрозой сказал Веричев,— а пока считаю собрание закрытым.

И члены комиссии отправились по своим участкам.

Сопронов пешком пошел в Шибаниху. Он миновал ольховские пожни и выбрался к реке на нижнюю шибановскую дорогу. Река шумела за облетающими кустами крушины. После дождей она прибыла, помутилась и крутила воронки, напоминая весеннюю пору. Игнатий остановился, поднял из-под ног камень и бросил в водоворот. Постоял. Камень, тяжкий камень лежал на Игнахином сердце. Ладони сжались в кулаки, такие же потные, как эти камни, в горле тоже застрял камень. Не проглотить, не выплюнуть...

Уком не вызывал Сопронова, чтобы вернуть партбилет. Ни Ерохин, ни Меерсон не вспомнили про Сопронова, когда приезжали арестовывать Прозорова и попа Рыжка. Председателем СУК поставил Сопронова не уезд, а Микулин, причем не из уважения, а чтобы самому меньше бегать по деревням. Игнатий Сопронов в этом нисколько не сомневался. Проживши два с половиной десятка лет, он успел узнать не только боль унижений. Он уже хватил и

еще кое-чего. И теперь никому он не прощал обид. Он запоминал все, был уязвим в своей гордости как никто другой, прислушивался к каждому слову, сказанному про него. Ему везде мерещились издевка и пересуды: вот, мол, Игнашку-то из партии вышибли.

Мог ли он не верить тому, что о нем действительно так говорили? Или если и впрямь разговоры такие были, то относиться к ним легко и с усмешкой, как Микулин?

Еще в отрочестве его ущемленное прошлыми обидами самолюбие начало неудержимо расти: пришло его, Игнахино, время. Оно, это самолюбие, заполняло всего его, Игнашку Сопронова, когда-то всеми обижаемого и забитого, оно росло, пока он не остался с ним один на один. И теперь жизнь казалась ему несправедливой насмешницей, и он вступил с нею в глухую, все нарастающую вражду. Он ничего не прощал людям, он видел в них только врагов, а это рождало страх, он уже ни на что не надеялся, верил только в свою силу и хитрость. А уверовав в это, он утвердился в том, что и все люди такие же, как он, весь мир живет только под знаком страха и силы. Сила свершает все, но еще большая сила подчиняет ее себе, и люди считаются только с силой. Они боятся ее.

Иногда, при виде чужих страданий, в нем просыпалась боль за других людей. Но стоило вспомнить прошлые унижения либо заподозрить в ком-то что-то, по его мнению, обидное для него, и он опять замыкался и становился безжалостным. Спокойствие в других людях он принимал за выжидательность, трудолюбие — за жадность к наживе. Доброту расценивал как притворство и хитрость...

Уже начинались шибановские покосы. В роговском сеновале, срубленном на горушке, недалеко от дороги и от реки, он решил переобуть сапоги: лодыжку левой ноги терло в заднике. С лета сеновал был втугую набит сеном, но теперь перевалы осели, и под крышей оказалось совсем просторно. Сопронов хотел было посмотреть свой сеновал, стоявший недалеко на другой полянке, но раздумал. Он переобулся и огляделся. Солнце садилось. Стая ожиревших за осень дроздов с шумом обрушилась на рябину, стоявшую у края полянки. Птицы с верещанием возились на ветках, они за несколько минут очистили рябину от ягод. Сопронов, собираясь идти, встал и вдруг словно обрадовался тому, что увидел. В углу, около перевала, стояло

припорошенное сеном ружье. «Так... интересно...— Сопронов оглянулся.— Сеновал-то роговский». Расточенная до двадцать восьмого калибра винтовка оказалась заряженной. Сопронов передернул затвор и тщательно проверил патрон, хотел распыжить, вынуть пулю или высыпать дробь. Но подумал, решил оставить все как было. «У них не было раньше ружья,— лихорадочно вспоминал он.— Это недавно... Оставить или забрать? Нет, лучше оставить, Проследить, что и как...»

Он поставил ружье на прежнее место и пошел было, и уже отошел довольно далеко от покоса, но услышал шаги и бесшумно нырнул в кусты. Сердце билось неровно, часто. Он присел на корточки, затаил дыхание. По дорожке, проложенной в зарослях черемух, берез и ольхи, шумя полами мокрого балахона, прошел Носопырь. Он держал на руке большую корзину с волнухами, а топал так, что грязь летела из-под лаптей во все стороны.

«Тьфу ты, кривой черт! — Сопронов плюнул.— Идет что леший...»

Он подождал, пока Носопырь не исчез. Еще раз оглянулся и осторожно выбрался на дорогу. «Может, перепрятать ружье в свой сеновал? — мелькнуло в мозгу.— Или взять и забрать совсем?»

Голова болела, и какая-то мерзкая тошнота мешала ему сосредоточиться, понять что-то важное и ускользающее.

В поле он остановился у стога, дождался почему-то сумерек и только после этого миновал мост, поднялся в деревню.

* * *

— Эй, есть кто дома? — Сопронов заранее вынул карандаш и тетрадь. В зимней избе Мироновых горела коптилка. На полу лежал обрезанный репчатый лук, на переборке ходили часы. Хозяева, видать, жили вверху и тут сразу. Но здесь, в зимовке, сейчас никого не было. Сопронов прошел в сени и поднялся по лестнице в летнюю верхнюю избу. Открыл бесшумную дверь и услышал сдержанный женский шепот в горнице. Послышалось движение в проходе за печью и грохот опрокинутого чугунка. Палашка выглянула из-за печи:

— Ой, а я и не чула!

Она обула ступни на босу ногу и начала вехтем зати-

рать лужу. Сопронов разглядел даже белые впадины на ее толстых подколенных сгибах.

— Отец дома? — спросил он и оглядел общую часть летней избы.

— Да ясли в хлеву сколачивает.

Сопронов прошел к столу и сел на лавку. Из горницы вышла Палашкина мать Марья и поздоровалась. Она прикрыла за собой расписанную розанами дверку. На филенке этой дверки был нарисован красивый гривастый зверь.

«Лёв, наверно,— подумал Сопронов.— Ишь, человечье лицо-то. И лапу поднял».

Сопронов разглядывал этого льва, а Марья заслонила филенку подолом.

— Дак ты вниз-то, вниз-то иди, Павлович! — вдруг засуетилась она.— У нас и самовар тамо-тка.

— Не требуется,— сказал Сопронов.— Хозяина позови.

— Да ведь... Вниз-то бы... Ой, господи.

Евграф, услыхав шум, уже поднимался снизу.

— Игнатью Павловичу,— чинно поздоровался он.

Сопронов разгладил тетрадь, повертел карандаш и поплотницки сунул его за ухо.

— Чего нового в центрах-то? — пряча тревогу, спросил Евграф.— Вроде сегодня с Ольховицы.

Сопронов не ответил, вынув карандаш из-за уха, кашлянул:

— Так вот, Евграф Анфимович! Я к тебе насчет налога...

— У меня, Игнатей Павлович, первый срок выплачен. А второй сразу отдам, дай с молотьбой управиться.

— Сколько всего?

— Поди, ведь знаешь и сам. Пятьдесят рублей хряснули ноне, будто шуткой. Займу вон сколько выплатил. Да страховка, да самообложение. В кредитку подходит срок.

— Нас, Евграф Анфимович, кредит не касается. Кредит — твое личное дело.— Сопронов чуть-чуть повысил голос.— А вот сельхозналогу ты мало платишь! Есть распоряжение налог изменить. В сторону повышения.

Палашка принесла из кути зажженную лампу и повесила над столом.

— Это чье такое распоряженье? — спросил Евграф.

— Микулина. Председателя ВИКа. Знаешь такого?

Сопронов видел, как Марья перекрестилась, хотела что-то сказать, но не посмела. Евграф побелел, большие, узловатые от ревматизма пальцы задрожали, и руки засуетились на клеенке стола.

— Ну, а сколько вы мне... накинули? На нонешний год...

— Сто двадцать рубликов, гражданин Миронов. Плюс пятьдесят прежняя ставка, итого сто семьдесят.

— Господи, царица небесная, это что будет-то...

Марья запричитала.

Евграф долго не мог осмыслить все сразу, он вытаращил глаза и глядел на Сопронова, который спокойно помечал что-то карандашом в тетради.

— Д-вы... д-вы, с ума, што ли, сошли? — Евграф вскочил с лавки.— Игнатей, да ты што? Што говоришь-то?

— То, что слышишь.

— Поимей совесть, Игнатей Павлович! Мне чево теперече... головой в петлю? А то корзину, Миронов, на руку да по миру! Вы чем думали с твоим Микулиным? Откуды таких цифров-то насчитали?

— А вот давай считать.

— Давай! Уж ты посчитай, Игнатей да Павлович... Посчитай!

— Земля у тебя есть? Есть.— Сопронов загнул один палец.— Теперь скот возьмем! Коровы две? Две. Нетелей две? Две.

— Какие нетели? Одна нетёлка да бык по второму году.

— Не имеет значения.

— Как это не имеет? Это как так не имеет? По-твоему, все одно, что бык, что нетёлка?

Евграф бегал около Сопронова, но тот невозмутимо загибал пальцы:

— Дальше. Овец восемь?

— Да ведь с ягнятами, господи... Ты считай, сколько в зиму пойдет, а не всю мелюзгу!

— Куры, огород! Плюс кружевное плетение.

Евграф в отчаянии всплеснул руками, не зная, что больше говорить.

— Господи, кружева... И кружева приплели...— Марья подскочила к столу.— Да много ли? И всего две косынки, неужто и их на налог?

— А ты как думала? — закричал наконец Сопронов.— И кружева, и отходничество! Все это скрытый доход. Вы вон мельницу строили? Строили. Видать, есть денежки! Вот, распишись, Миронов, и дело с концом.

— Нет, Игнатей, в грабеже я не распишусь!

— Гляди, как бы хуже не было.

— А хуже некуды. Некуды! Сто семьдесят... А с Кеши сколь? Ты скажи-ко мне, сколь на Фотиева-то? Вот! Освобожден! Совсем! Вчистую!

— Кеша тебя не касается! Он освобожден по бедняцкой линии! — Сопронов тоже встал.

— А почему? За какие рыжики? У него и земли не меньше, и сам не урод! Кеша освобожден, а Миронов плати. Так выходит? Да где справедливость-то, а, Игнатей Павлович? Где?

— Ну, вот что, гражданин Миронов! Распишешься или не распишешься, знай одно: платить будешь!

И тут Евграф ударил по столешнице так, что огонь в лампе полыхнул, а в шкафу зазвенела посуда.

— Что делается! — Он оглянулся на жену.— А ну неси! Покажи ему эти кружева, мать-перемать, пусть хоть сейчас берет! Все волоки, в гроб, в душу...

Евграф никогда еще таким не бывал.

— Ой, Анфимович, полно...— заговорила было Марья, но осеклась на полуслове.

— Неси!

Марья стояла в нерешительности. Кружева хранились в горнице, в сундуке.

...Видно, сам черт дернул Микулина, чтобы сшить такие дурацкие сапоги! Председатель, злой, сидел в Палашкиной горнице, старался только, чтобы не закашлять и не чихнуть. Распечатанная четвертинка и сковорода с селянкой стояли под носом, а он, голодный, глядел на все это и злился. Нельзя было ни шевельнуться, ни укусить горбушку.

В Евграфовом передке имелся вокруг печи ход, Микулин давно бы мог выскочить из горницы в сени, если б сапоги не скрипели, как ворота Кеши Фотиева.

Надо же было так получиться!

Он приехал из Ольховицы еще засветло, поставил во двор лошадь и, отказавшись ужинать дома, у матери, через задворки подался к Палашке. Марья — будущая теща — тайком от Евграфа выставила четвертинку, сделала

на шестке селянку. Евграф колотил что-то топором в хлеве и наверх не собирался, Мироновы жили уже в зимней избе. Микулин особо надеялся на предстоящий вечер, вернее ночь, надеялся потому, что Марья — Палашкина мать — была теперь на его стороне. Он видел это и чувствовал... Он только открыл четвертинку, пододвинул хлеб и сковороду, как и объявился в доме Игнаха Сопронов. И вот на протяжении всего разговора Микулин сидел в горнице, боясь шевельнуться, потому что ни Сопронову, ни Евграфу попадаться на глаза было нельзя. Когда Евграф стукнул по столу кулаком, к председателю вернулась наконец смекалка, он решил снять сапоги, тихонько обойти печь и босиком незаметно выскочить в коридор. Он уже снял один сапог, начал снимать второй, как вдруг Евграф оттолкнул жену и распахнул дверку в горницу.

Евграф опешил.

В Палашкиной горнице, в его доме, стояла на столе закуска и выпивка и чужой, об одном сапоге, мужчина глядел на него. Это было уж сверх всякой меры.

— Евграф Анфимович,— не зная что делать, брякнул Микулин.— Здорово, та-скать...

— Хмы!..— Евграф наконец понял, в чем дело.— Так... тот ко мне, а этот к моей девке.

Микулин поскреб голенищем.

— Мазурики! — вдруг закричал Евграф и бросился к печи за кочергой.— Я тебе покажу «здорово»! Я тте...

В кути полетели ухваты и противни, Палашка заревела, а Марья кинулась к Евграфу, но он оттолкнул ее, вылетел из-за печи.

Но Сопронов с Микулиным, натыкаясь в темноте на углы, уже поспешно спускались по лестнице.

— Брысь! Ворона! Старая дура, сводня, я ему покажу «здорово»! — шумел наверху сдерживаемый Марьей Евграф.

На воздухе, отойдя подальше в темный проулок, Микулин кое-как, без портянки обул сапог.

— Ну, Игнатий Павлович...

— А что Игнатий, что Игнатий? — огрызнулся Сопронов.— Ты тут на зятевщине у кулака, а Игнатий...

Они отошли еще дальше от Евграфова дома, откуда все еще слышались крики и женский плач.

— Перегнул ты с налогом-то! — Микулин только теперь перевел дыхание. — Та-скать, лишковато поставил.

— А может, потому и лишковато, что они тебя вином поят? — взъярился Сопронов.— Иди, не мешай! Не сбивай с дела!

И Сопронов прямо по грязи зашагал к дому Клюшиных. «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет! — подумал Микулин.— Натворит делов...»

Он постоял на дороге, подумал еще немного и отправился спать. Домой. Ночь была темная, теплая. Деревенские окна желтели сквозь неподвижный туман. По улицам тянуло с поля сосновым дымом. Это шибановские старики сушили по гумнам овины.

XVI

На земляном рундучке мягко настлано свежей гороховины-лежи да лущи стручки. С краю положены сосновые плахи, чтобы не скатиться во снах. И Сережка лежит на гороховине, у горячей, нагретой печным огнем овчинной стены. Дедушка положил ему под голову старый казакин.

— Спи, Сергий, Христос с тобой. Я не долго...

И дед Никита уходит в деревню проведать дом. Сережка остается один не только в овине, но и на всем жутком к ночи гумне. В непроглядной тьме ярко топится большая, из глины сбитая печь. Ее не видно, и ничего не видно, а видно только пылающие сосновые чурки. Еще виден — изнутри — обширный купол печного свода, о который бьются полотнища пламени. Сережка лежит у горячей освещенной стены, напротив печного чела, думает: «Откуда столько огня в этих дровах? Горит чуть не до полночи, вот диво-то! А потом ничего и не остается, один пепелок».

В овине тепло и уже не дымно. Ровный сплошной жар идет в темноту и через боковые потолочные пазухи вливается наверх. А там на черных колосниках вниз колосьями плотно наставлены ржаные снопы. Овин срублен на два посада, разделен вверху надвое.

Сережка хорошо знает все это, но без дедка ему все равно страшно. А кого винить? Сам напросился. Завтра

воскресенье, в школу не идти. Столбики и умножение все решены, мать отпустила сушить овин. И вот дедко ушел домой. Жуть холодком рождается меж ключиц, катится вниз и замирает около копчика. Страшно! Дрова горят ярко и весело, легонько потрескивают. Иногда из смоляных сучков с шипением бьют упругие язычки. И весь огонь шумит, пыхает. Огонь, как вода или ветер, тоже умеет шуметь. А там-то, за печью в потемках-то? Может, сидит волосатый старик-овиннушко и ждет, когда дедко уйдет подальше. А потом прямо к Сережке. Возьмет да и вылезет...

Сережка весь напрягается и откашливается для смелости. Достает с изголовья репу. Зубами обдирает горькую кожуру и бросает за печь. Овиннушко не рассердился, не выскочил. Репа попалась мягкая, сладкая, Сережка навернул ее и совсем осмелел. А что? Можно даже обойти вокруг печи. Может, и нет никого!

Он глядит на то место, где небольшая дверка, через которую вылезают наверх, в гумно. Осматривает окошко на улицу, заткнутое толстым сосновым чурбашиком. Он боится смотреть в темноту, за печь, но глаза сами так и просятся поглядеть туда. Что это? По всему Сережкиному телу, от макушки до пят катится озноб. В темноте за печью светятся зеленые немигающие глаза. Сережка жмурится и весь съеживается, долго сидит так, ни жив ни мертв. С надеждой на то, что ему показалось все это, он опять глядит в темноту, но горящие зеленым огнем глаза все так же мерцают за печью. У Сережки отваливается челюсть и шевелятся на голове волосы. Он белеет от страха. Крик ужаса вот-вот вырвется из потрясенного мальчишеского нутра, но в гумне скрипит большая воротница, дед Никита возвращается в овин. Сапоги его стучат все ближе по гуменной долони, вот он уже рядом, вот открывает дверку, кряхтит и спускается в овин.

— На-ко... Заяц гостинца послал.— Дедко подает внуку капустного пирога.— Сам не ешь, грит, отдай Сереге.

— Дедо! Дедушко...

— Что, дружочек? — дедко замечает, что внук дрожит как осиновый лист.— Ты что, батюшко? Чево дрожишь-то?

— Дедо! Гляди-ко!

— А, дак ведь это Кустик. Вишь, на гумно пришел мышей половить.

И дед большой мозольной рукой гладит Сережкину голову. Мальчик потрясенно вздыхает от небывалого облегчения. Весь мир сразу становится на свое прежнее место. Родимый овин опять понятен, и так смешно шевелится дедкова борода, жующая крошки капустного пирога.

— Кис-кис...— зовет дедко.— Иди, Кустик, сюды, пирожка дам.

Кустик выходит из темноты, трется о Сережкин бок и мурлычет — настоящий простой и ласковый Кустик! Дедко подкидывает в печку дров. Сережка, облокотившись, глядит на огонь, облизывающий новые чурки, и слушает, как мурлыкает Кустик.

— Спи, спи,— говорит дедко.— Ежели молотить собираешься вутре, дак и спи.— Никита поправляет Сережкино изголовье.— Вон и Кустику спать охота.

— Только разбуди, дедушко.

Сережке кажется, что он еще не спит, глядит на огонь. Но он уже спит, и огонь затихает, расплывается во все стороны. Глохнут, отодвигаются куда-то слова деда и урчанье кота. Сладкий и крепкий сон обнимает мальчика. Дед Никита отставляет в угол Сережкины сапоги, накрывает мешком ноги внучонка. Пока горят вновь подкинутые дрова, можно подремать и ему. Дед Никита слушает кота и бормочет:

— Ангел Христов святый, к тебе припадая, молюся, хранитель мой, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения... Аз же своею леностью и своим злым обычаем прогневал твою пречистую светлость...»

Дрова в печи трещат, шепот Никиты переходит в голос, и кот замолкает, слушая старика.

— ...и отгнах тя от себя всеми студными делы: лжами, клеветами, завистью, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, яростью, объядением без сытости и опивством, многоглаголением, злыми помыслы и лукавыми, и гордым обычаем...— Дед Никита крестится и кладет голову на Сережкино изголовье. Но сон старика чуток и зыбок. Пылает в печи спокойный, ровный огонь. Широка, темна за гумном тихая осенняя ночь. Все спит на земле, только не спят старики в овинах, подкидывают дрова, греют перед огнем старые кости. Кашляют. Думают, вспоминая отшумевшую

жизнь. Сколько перепахано было земли, пролито пота? О, хлеб насущный! Многотрудный, всесильный наш!.. Господи, господи... И днем и ночью гласишь, в зиму и лето, от рождения человеческого до смертного краю... Приди в закрома! Дай силу рукам человеческим, ясную зоркость уму и торжество бессмертной душе! Младенца установи на крепкие ноги, вдовицу утешь, приласкай сироту... Недруга напитай! Пускай потухнет его лютая злоба и стихнет потрясение нестойкой души. С тобой да сгинут везде страдания и смуты...

Дрова в печи пылают сильным огнем. Дед Никита не может забыться, он кряхтит и лезет через дверку в гумно. Гумно так велико, что на деревянной долони можно играть в рюхи либо объезжать молодую лошадь. Вокруг плотная, словно бы осязаемая темнота, но старик знает гумно на ощупь, как свои последние зубы во рту. Знает, сколько шагов до разных засеков, где какой угол и штырь. Он не боится ни споткнуться, ни стукнуться в темноте, ставит лестницу и лезет высоко на подмостки, откуда сажают на овины серые снопы. Открывает плотно закрытую дверцу на первый посад. В лицо шибает прелым густым жаром, духом колосьев и травяного, сжатого вместе с рожью подсада. Снопы сохнут споро, Никита слезает вниз, опять лезет в овин и крестит сладко посапывающего внука.

Скоро утро и молотьба.

* * *

Сережка пробудился от молотильного стука. Еще не светало, и в овине было тепло и темно. В заткнутое чуркой окошко не пробивалось ни капельки света. Хоть выколи глаз. В печи краснели, гасли последние, подернутые золой угли. Зола шевелилась от воздуха, как бахрома. Пеклась посаженная кем-то картошка, но ни дедушки, ни кота не было.

«Проспал! — ужаснулся Сережка.— Обдули, не разбудили». Сапоги, как назло, затерялись, Сережка еле их обнаружил. Кое-как обулся и даже без пиджака вылез в гумно.

Его обдало студеной свежестью.

В гумне горело два фонаря, подвешенных на штыри

у засеков. Молотили уже в самом конце, значит, домолачивали. Верка, сестра, увидев Сережку, пропустила удар и низом вывела молотило:

— Ой, проспал, Сережка, без тебя измолотили!

Сережа стоял сбоку. Павел с отцом и дедко бухали втроем, мать граблями подсовывала под их цепы, ворошила ржаные пряди. Дошли до конца и остановились.

— Что, Серега? — спросил Иван Никитич.

Сережка вдруг заревел. Все начали утешать его, уговаривать:

— Ты чего ее слушаешь?

— Врет она, врет ведь! Еще овин есть.

— Намолотишься.

— Глаза-то не три, не три, а то ость попадет.

Сережка не сразу успокоился, стукнул кулачишком по Вериному бедру:

— Вот тебе.

— Ну-ко оболокись! — прикрикнула мать, и Сережка побежал обратно в овин.

— Пойду, коли печь топить, домолачивайте. Да картошку-то в овине не ешьте, опять шти останутся.— Аксинья вытрясла платок и ушла домой. Иван Никитич и Павел полезли в овин.

Синеватый, еле заметный рассвет обозначился в проеме больших гуменных ворот. Вера сгребла, вытрясла и вытаскала солому на улицу. Дедко полукруглым, сделанным из полоза пехлом, толкая, сгрудил непровеянное зерно и деревянной лопатой окидал ворох. Остатки он дочиста замел березовым голиком. Деревянный пол гумна, или долонь, стал ровным и чистым, без единой соринки.

— Ну, Сергий, полезай коли наверх! — сказал дедко.— Кидай!

Сережка заторопился по лестнице наверх. Он открыл дверку второго посада и начал рьяно скидывать. Снопы были в его рост, все еще тяжелые, хотя и сухие. Они кололись осотом и жесткими как проволока соломинами, но Сережка кидал и кидал. Вскоре пришлось залезать внутрь, в самую жару. Сережка раздвинул прожаренные колосники. Вера прилезла ему на помощь, и вдвоем они быстро скидали посад. Дедко внизу уже таскал снопы за шиворот в дальний конец гумна и клал двумя рядами

на середину колосьями. Когда Сережка спустился вниз, дедко подобрал ему молотило, которое потоньше и полегче.

— Верка, давай зови мужиков! А ты, Сергий, вставай вот тут, подле меня. Да колоти-то сперва не шибко. Не торопись, подлаживайся.

Подошел Иван Никитич, притворно удивился:

— Гляди-ко! И Сережка у нас тут!

И встал с Павлом по другую сторону. Вера серпом быстро разрезала перевясла, взяла грабли, чтобы тормошить.

— Ну, с богом! — дедко ударил.

Сережка ударил тоже, но сбил отцовский удар. Потом стукнул Павел, и опять дед. Сережка бил и бил, но все было невпопад, он сбивал молотьбу. Дед Никита как будто и не замечал этого. Вера подсовывала рожь под удары цепов, молчала, терпели и остальные взрослые молотильщики. Сережка чувствовал это. В любую минуту он готов был бросить цеп и разреветься, он видел, что ничего не выходит, что он только мешает. Удары сыпались вразнобой, иногда с большими ненужными промежутками.

— А ты, Сережа, не думай ни про чего,— не останавливаясь, крикнул дедко.— Да не торопись.

Сережка расслабился. Изловчившись, он стукнул не спеша, и получилось как раз вовремя. Потом пропустил три соседних удара и стукнул опять, и опять пришлось как раз вовремя. И вдруг его молотило слилось с общим стуком. Он ощутил какую-то удивительную легкость. Молотило будто само, без его ведома, застукало по снопам. Он не заметил, как Верка переглянулась с отцом и Павлом, как дедко, нарочно, чтобы не сбить его с толку, не трогался с места и как все уже давно колотили по одному месту. Наконец дедко сделал приступок. И все слегка передвинулись дальше. «Так-так-таки-так, так-так-таки-так»,— стучали цепы. Сережка весь ликовал от нового, никогда еще не испытанного им восторга. «Выходит! Выходит!» — хотелось ему крикнуть, но он молотил и молотил, боясь потерять найденное.

— Ух ты! — первым остановился Иван Никитич.— Не могу больше. Ну и Серега! Всех упетал.

— Молодец,— Павел поправил фуражку на Сережкиной голове.

...Жалея малолетка, посад молотили очень долго не торопились. Когда пришли обратно от ворот до овина, у Сережки затряслись на руках какие-то мелкие жилки.

— Все...— Дедко погасил фонари. Было уже светло.

— Ай да Серега! — сказал Павел, ставя цепы в угол.— Косить умеешь, молотить выучился. Теперь пахать научись да угол рубить — и можно жениться. Мужик!

— Мужик не мужик, а полмужика хорошие,— усмехнулся Иван Никитич.— Пошли-ко завтракать.

Сережка ликовал. Он улыбался во весь свой щербатый рот и не скрывал радости.

— Идите, идите, я скоро! — Вера сгребла солому.— Замок-то где, дедушко?

Дедко показал, где замок. Он открыл большие ворота, посвистел, призывая ветер. Ветру же не было. Утро начиналось солнечное, и веять зерно не пришлось. Все, кроме Веры и Павла, не торопясь пошли домой, завтракать. Сережка шел между отцом и дедом, держа руки назад, как большой.

* * *

Из-за поскотины, за сквозной молочною синевой быстро поднималось золотое нежаркое солнышко. В Шибанихе только что протопились печи, пахло печеным тестом и поджаренными сосновыми лапками. Только одна фотиевская изба не вовремя дымила широкой неказистой трубой.

Вера с помощью Павла сметала солому на перевал, на улице, около гуменных ворот. Потом окидали удвоившийся ворох зерна. Вера начисто, дважды подмела на гумне, оглянулась. Павел граблями вытягивал сверху, со сцепов волокитку гороха. Вере было смешно, что волокитка тянулась и тянулась. Он оборвал наконец гороховину, закинул оставшийся конец наверх и, кидая горошины в рот, начал лущить сухие стручки.

«Господи,— с любовью и жалостью подумала Вера.— Какой худющий... На чем и штаны держатся, одно костьё...»

Порой она ненавидела мельницу. Однажды даже пришла Вере грешная и страшная мысль: на угоре везде сухая щепа... Кинуть спичку, пускай бы сгорела, сгинула эта мучительница. Но Вера ужаснулась тогда этой страшной мысли, заругала себя. Ей ли, его жене, навек стать окаянной? Стыд за тот грех и жалость к Павлу все чаще накатывались на нее, и она помогала мужу как только могла. Иногда она вставала раньше матери, торопливо ставила для него самовар. Он еще затемно уходил на угор, весною и летом. Она каждое утро носила туда еду, часами терпеливо вертела точильный круг, когда плотники выправляли свои топоры. А теперь, когда Акимко либо Иван Нечаев не приходили из-за чего-нибудь на угор, сама садилась на штабель смолистых досок и дергала струг. Пусть и невзаправду, но научилась строгать, пилить и колоть непокорное дерево. Правда, Павел всегда сердился и гонял ее от угора. Женское ли это дело? В поле и на гумне был непочатый край работы. Особенно много времени отнимал у нее лен. Вытеребить да головки околотить, разостлать под росу. Снять да высушить на овине. Измять мялкой. Теперь вот как раз подоспела трепка. Вера уже истрепала за эти дни пятьсот кирбей. Трепать по-прежнему собирались у них под взъездом. Опустив босые ноги в груду теплой кострики, девки отчаянно били свои повесмы, на ходу пробирали кого попало либо пели. Подружки ее, Тоня с Палашкой, остались прежние. Словно и не выходила Верушка замуж. Палашка, правда, частенько ревела, когда оставались вдвоем с Верой. А все Микулин пустоглазый, не женится. Чего думает своей головой? Да и Тонька стала не та, что была. Увезли Прозорова — на игрища ходить перестала. Ох, и поговорено было про это у шибановских и ольховских баб. На что надеялась Тонюшка, чем думала? Была бы ровня тому человеку, не болело бы сердце...

Вера подошла к Павлу:

— Дай-ко горошку-то!

Он обнял жену, наткнулся невзначай на мягкое место.

— Холодно вроде,— сказал он.— Пойдем-ко в овин спустимся!

Вера засмеялась:

— Худой-то! Где уж тебе по овинам ходить?

— Ты это... чего? — взъерепенился он.

— А чего? — Вера смеялась.

— Чего... Там картошка испеклась.— Павел сердито распахнул ногой дверку в овин.

Ей было приятно, что он злится. Она знала, что тоже спустится туда, в теплую овинную темноту, но не торопилась. И все в ней сейчас ликовало. Она думала и еще о чем-то, боялась признаться в чем-то даже себе. Сказать или не сказать? Вот уже месяц, как не приходит это, женское... И срок весь вышел, и сама она чувствует, знает, что случилось с ней это, самое главное... Но она боится, что, может, ничего еще нет, кто знает? Ведь можно и ошибиться. Нет, кажется, правда. Ведь месяц уже, и каждый день что-то меняется в ней. Ей как будто не хватает чего-то, но ей почему-то приятна эта нехватка, а по ночам снятся какие-то новые непонятные сны.

«Господи, чего это я стою? Ждет ведь...» Вера оглянулась и, волнуясь, подошла к двери: «Чего это я? Как в девках, как первый раз ко столбушке».

Павел молчал. Снизу из темноты тянуло сухим теплом, запахом горячей печи, просохшей соломы и дерева.

Вера проворно спрыгнула, прикрыла дверку. Павел поймал ее за передник, притянул, обхватил рукой холодные крепкие ноги. «Нет, не скажу,— мелькнуло в ней как бы помимо ее.— Не скажу, потерплю еще». И она приникла к нему на устланный соломой рундучок, где ночевал сегодня ее брат Сережка...

Минут через пять он разжал локоть, высвобождая голову Веры.

— Ох, растрепалась вся,— сильным шепотом проговорила она.— Ну-ко, Паша, гребенку пошарь. Тут где-то...

В гумне послышался стук чьих-то шагов. Вера вскочила, перепуганная:

— Ой, дедушко идет! Иди, я за печь спрятаюсь...

Павел, усмехаясь в темноте, выбрался из овина.

На середине гумна стоял и махал хвостом климовский Ундер. Мерин зорко поглядел и, прядая большими ушами, переставил навстречу Павлу свои большие копыта.

— Что, брат? — Павел потрепал по могучему, уже не вздрагивающему плечу.— Никто не покупает тебя. И хозяин совсем забыл.

Мокрая от росы вожжина была привязана к недоуездку. Павел смотал веревку: на другом конце была привязана заостренная еловая тыча. Мерин был привязан на лугу, выдернул тычу и ни с того ни с сего притопал на роговское гумно. Павел еще раз погладил длинную голову Ундера, пощекотал под косицей. Ундер глубоко и печально всхрапнул, прислонился своей большой головой к плечу Павла и затих, словно благодарный за что-то.

Павел сказал жене, чтобы завтракали без него. Он взял из паза топор и вывел Ундера в поле на климовский отруб. Забил в землю тычу и пошел прочь. Оглянулся: Ундер, выставив уши, глядел ему вслед. Широкая глыба когда-то подвижного, вздрагивающего, горячего туловища громоздилась под осенним лужком. Мерин стоял и думал о чем-то. Павел быстро пошел к мельнице. Осеннее, едва пригревающее солнце било в спину, он шел по лужку, топча собственную тень и не глядя под ноги. Он не хотел глядеть и туда, куда шел. Он отворачивался, разглядывал небо и лесной горизонт, поля и лужки, кусты и деревни, изгороди и речки... Как далеко видать вокруг!

Молочно-синее, даже зеленоватое с ночной стороны и мигающее последней звездой небо у края продольного сизого облака разверзалось в сквозную бесконечную пропасть. Застывшее с вечера облако всю ночь темным полотнищем висело над лесом. Очень скоро его разнесет, развеет поднимающийся с земли ветерок, и тогда бесконечность, затканная невидимой пеленой, исчезнет. Но пока бесконечность разверзается у самого края перистой тучи... Чем выше небо, тем безбрежнее и синее. Оно теряет холодный зеленоватый оттенок, переходит в откровенную голубизну, и чем ближе к солнцу, тем ярче и золотистей. Само солнце, словно потеряв за ночь свои очертания, расширяясь далеко во все стороны, рассеивается и незаметно переплавляет свое яркое золото в спокойную свежую голубынь. Далеко, очень далеко видно вокруг! Павел даже сбивается с шага, он по-птичьи зорко, не по-детски озорно окидывает глазами всю эту осеннюю пестроту. Рыжеватые болотца вдали перемежаются то белым ржаным жнивьем, то темно-коричневыми дорожками разостланного по луговинам льна, то зяблевой чернотой полос, то изумрудными яркими клонами озимых. И все это оторочено темно-зеленою полосой хвойных лесов, расцвеченных желтыми, оран-

жевыми и багровыми всплесками. И везде деревни, деревни... Бесчисленные дома, гумна, сеновалы, амбары, бани и погребки наползают друг на дружку, они напоминают цвет забусевшего серебра. Это древнее, обдутое тысячью ветров, ополоснутое вековыми дождями дерево словно серебряная чеканка; ясно, отчетливо видится каждая тесовая крыша. «Ступай! Ступай!» — Павла словно кто-то подталкивает. Он ускоряет шаги, глубоко вздыхает и крепко сжимает челюсти. Волнение и радость нарастают и подступают к горлу, но он все еще боится взглянуть вперед.

Там, на угоре, клином сошелся белый свет. Сошлась и сгрудилась вся земля. И нет больше ничего дороже, все здесь, словно душа всей земли. Это тут наяву разрешались его грозные сладкие сны. Тут сгорало и не могло сгореть его сердце... Сколько уж дней? Изнемогали руки и ноги, отдавая этому месту, казалось бы, все остатки силы. Но на этом же месте брались и копились новые силы, отсюда же он черпал их, словно из бездонного кладезя. «Господи, помоги мне!» — часто, глядя на нее, взывал он, и сила рук, до конца выпитая вязким податливым деревом, снова появлялась неизвестно откуда. Опять рождались догадка и сметка, тоже неизвестно откуда. Иногда, отчаявшись, он бросал топор; видел, чувствовал, что делал не то и не так, а как надо — не знал и не мог. Но снова приходило к нему какое-то озарение и вновь получалось то, что надо. Да, он всегда чуял, где получалось как надо и где не так. Странно, что усталость во всем теле приходила к нему, как только он чуял фальшь. Руки наливались тяжестью, топор как будто не хотел тюкать. Пила захлебывалась в опилках, и долото становилось тупым, как конопатка. И тогда Павел бросал инструмент, ненавидя себя, он катал желваки, кидался из стороны в сторону, бегал вокруг нее. Мужики притворялись, что ничего не видят, невзначай роняли ободряющие слова: «Ты за дело, а дело за тебя».

И через какое-то время опять медленно копился в нем холодок непонятной и сладкой жажды. Потом голова враз прояснялась, в руках пропадала усталость и само собой, ясно всплывало то, что было надо ему. Радуясь, не веря себе и боясь ненароком вспугнуть то, что так нечаянно накатилось, он, стараясь не торопить себя, брал топор...

Павел повернулся к угору и взглянул наконец вперед, взглянул открыто и жадно.

На угоре, оттененная синим небесным разливом, высилась его громадная, еще бескрылая мельница. Желтовато-янтарная ее плоть, объединившая сотни перевоплощенных древесных тел, была так осязаемо близка, так дорога и понятна! В то же время мельница опять удивила его. Будто рожденная неожиданно, она посылала ему свой поклон, свою благодарность за то, что он создал ее, вывел из небытия.

Высоченная, стройная, она похожа была на старинную рюмку: тот же тонкий перехват в середине. Только уж больно громадна. И не прозрачный хрусталь светился на солнце, а спокойная, источающая смолу, теплая древесная плоть. Большой, но как будто игрушечный сруб, крытый двускатной тесовой крышей, покоился на нисходящей на конус клетке.

Другая клетка, только вверх конусом, держала все это, покоясь, в свою очередь, на четырех мощных двойных подпорах основного столпа. Сейчас было видно только подножье столпа: весь этот громадный и толстый стержень, проходящий из земли через перехват, чуть не под крышу, был не виден. Но это он держал на себе всю несметную и неощутимую теперь тяжесть, не давая свихнуться в сторону большому, будто плывущему в небо, амбарному срубу. Весь сруб, вся мельница была как бы надета на этот столп. Но она была не надета, ее собирали на нем по бревнышку.

Узенький перехват, на котором вся мельница будет поворачиваться вокруг своей оси, уже смазан колесной мазью. Этот перехват находился на высоте обычного дома. А там, еще выше, словно висел в воздухе еще целый дом,— мельничный сруб, и было странно, что вся эта громадина держится на тоненьком перехвате сходящихся вершинами, слегка урезанных конусов.

Везде вокруг валялась щепа и обрубки дерева, опилки, доски, чурки. Еще стояли высокие, врытые в землю, подпертые слегами столбы с блоками и веревками: это недавно поднимали, вставляли в сруб мельничный вал. По толщине это было второе после главного столпа дерево, косослойное и могучее. Павел нашел его на урочище Клюшина и срубил еще под сок.

В торец вала был вставлен круглый стальной, скованный кузнецом Гаврилом Насоновым стержень, который покоился в каменном, врезанном в балку гнезде. Перед-

ний подшипник тоже был готов: вал, обитый железными скобами, будет вращаться на полукружье второго, но большего камня, врезанного в балку противоположной стены. Павел сам отыскал в поле и обработал этот синий большой камень. Зубчатое колесо, правда в разобранном виде, и шестерня были тоже почти готовы: весной и летом дедко Никита ни дня, ни вечера не сидел сложа руки. Но ни крыльев, ни ковша, куда будут засыпать зерно, ни пестов, ни жерновов, ни мучного ларя все еще не было... Не сделаны пока и двери и лестница к настилу вокруг перехвата. Делу еще не видно конца... Павел воткнул топор в чурку, кряхнул. «Ничего... Все-таки много и сделано. Мельница-то стоит! Стоит, хоть пока бескрылая! Придет час, оживет, стронется... Ветер зашумит, пойдет строчить».

Он живо представил эту будущую, самую счастливую для него минуту, когда зашумит воздух в широких крыльях-махах, заскрипит и все тронется. И как глухо ударят песты и с мягким шорохом зашипят жернова, будут давить, перемалывать сухое зерно родной земли. Мельница оживет, запахнет вокруг дегтем и теплой мукой, замашут шестеро могучих широких крыльев.

Все будет! Все, до последней мелочи...

Он еще раз отошел подальше, задрал голову... Вспомнил старинный случай, когда в детстве, глядя вверх, на князек отцовской толчеи, он вдруг обомлел: показалось, что толчея валится на него. Тогда он в ужасе закрыл глаза, хотел отбежать, но ничего не получилось. Белые летние облака неслись в небе, над толчеей, и она будто стремилась им навстречу.

Будто валилась. Вот так же случилось летом и с Ванюхой Нечаевым. Он крыл крышу, на самом верху — смелый мужик, ничего не скажешь! Один, даже не привязываясь к стропилам, покрыл крышу, поднимал на вожжине тесины и крыл. Все сделал, и куриц врезал, и надел охлупень, но когда прибивал на князьке резного конька, вдруг закричал... Он посмотрел на небо, на летящие облака и закричал, вся мельница бесшумно валилась, падала, как он рассказывал после. Павел крикнул ему снизу, чтобы он не глядел вверх. Нечаев долго, пластом лежал на князьке...

Сейчас Павел торопливо схватил топор. Хотелось, не теряя ни минуты, начать работу. Надо было строгать плахи для пола и потолка, но ни Акимки, ни Ванюхи Нечаева еще не было.

Павел решил пока тесать «барана» — подвижной брус, на котором будет врезан камень для вертикальной иглы, вращающей верхний жернов. И то работа, делать все равно ведь придется...

«А где мужики? — подумал он.— Печи давно протопились». И снова принялся тесать.

Нечаев и Дымов, ночевавшие у него, пришли оба сразу, но без топоров и какие-то суетливые. Не здороваясь, начали закуривать.

— Что это вы? Как не выспались.— Павел воткнул топор.

— Ты что, ничего не слыхал?

— Нет. А что?

Акимко Дымов сплюнул:

— Пока ты тут тюкаешь, тебя Игнаха в кулаки записал!

Павел хмыкнул:

— Он меня давно записал, еще на казанскую. Ну и что?

— А то, что он и меня...— Нечаев подкинул топор, сильно всадил в чурку.— Полторы сотни налогу...

Акимко выматерился и встал:

— Ты бы поглядел, что в деревне делается! Надо идти. Да вон и за тобой бегут.

Павел поглядел в поле, сердце тревожно екнуло. От деревни к мельнице, без фуражки и пиджачишка, бежал Сережка.

XVII

То, что творилось в Шибанихе, было ни на что не похоже. Суматоха не суматоха, паника не паника, а какая-то сутолока, похожая на ту, которая бывала в масленицу либо на святках. Только все по-иному...

В прошедшую ночь не спала половина деревни. Во многих домах до утра горели фонари и коптилки. Поутру бабы, выпуская скотину, начали бегать из дома в дом, в иных подворьях нет-нет да и слышался женский плач либо мужицкий матерный крик. Коровы, телята и овцы, неприкаянные, бродили в проулках, вся животина чувствовала тревогу и недоуменно, надсадно блеяла, мычала, всхрапывала. Подростки и непроспавшаяся ребячья мелюзга путались в ногах у старших. Ни за что ни про что получая

тюмы и подзатыльники, иные пробовали реветь, но тут же стихали: на них не обращали внимания.

«Господи, господи...— старухи поднимали глаза к иконам, молились, не зная, чем пособить сыновьям и невесткам.— Спаси, пронеси...»

Народ копился то тут, то там.

Мужики здоровались, перекидывались невеселыми мнениями, бабы кричали напрямки через улицу. Иные уже причитали по избам и в банях.

Данило Пачин по старому с Павлом уговору привез кое-какие железные и деревянные заготовки, припасенные плашки, наконечники для пестов, скованные тем же Гаврилом Насоновым, и другую мелочь.

Хоть и не одобрял Данило затею Павла, но куда денешься? Он чем мог помогал сыну в строительстве.

Данило привязал кобылу к черемухам, вымыл в канаве сапоги. В избе он снял шапку, перекрестился:

— Ночевали здорово! — и расцеловался с дедком и Иваном Никитичем.

— Ой, сват,— Аксинья всплеснула руками,— гли-ко, ты несчастливый-то, ведь только-только со стола убрала.

— Бог с тобой, сватья, поехал — чаю напился.

Данило погладил Сережку по голове, спросил, каково учится, и подал пару глазированных пряников. Снял тяжелый, перешитый из шинели кудельный пиджак, повесил на гвоздь.

— Садись-ко, садись, сват! — обрадовался дедко Никита.— Порассказывай...

— Да чево говорить, Никита Иванович? Вроде все ладно. Скотина здоровая.

— А измолотили-то все? — спросил Иван Никитич.

— Управились, слава богу.

— А у нас ячменю еще овина на два,— заметила Аксинья.— Да и до гороху не дотыкивались.

Роговы знали, что Данило вступил в ТОЗ, все ждали разговора об этом событии, но Данило не торопился рассказывать.

Иван Никитич случайно поглядел в окно и неестественно кашлянул:

— Значит, это... Игнаха вроде идет.

— Он и есть,— дедко тоже взглянул на улицу.— Вишь, научила тилигрима рано вставать! Чужая-то сторона...

— Нет, сват, это его власть научила,— возразил Данило.— Чужой стороне Игнаху не прошибить...

Не успели опомниться, как на пороге уже стоял Сопронов:

— Дома хозяин?

Он, не глядя, прошел к столу, развернул тетрадь:

— Значит, так, товарищ Рогов. Распишитесь в новой разверстке налога. На основании решения СУКа...

— Сережка, подай-ко очки. На окошке...

Вера проворно принесла очки, Иван Никитич прочитал список и побелел:

— Две сотни... Я, Игнатей Павлович, денег не кую. Приди вдругорядь.

— Нет, Иван Никитич, в другой раз не приду,— в тон Рогову произнес Сопронов.— У меня ноги не казенные.

Он одернул зеленую гимнастерку, взял со стола и закрыл тетрадь со списками, не торопясь уложил в сумку.

Все молчали. Данило сидел на лавке, опустив белую лысую голову. Хрустел пальцами. Дедко Никита вдруг подскочил на своем месте:

— А голова?

— Что голова? — не понял Игнаха.

— Голова, у тебя, Игнашка, чья? Казенная аль своя?

Сопронов прищуренно обвел всех веселым, торжествующим взглядом. Аксинья взревела.

— Цыц! — крикнул Иван Никитич.— Идите наверх. Сережка, беги-ко за Павлом. Одна нога тут, другая там.

Сережка убежал, Вера увела мать наверх.

— Откуда ты нам такой доход приписал, а, Игнатей Павлович?

— Мельница, товарищ Рогов! Считается кустарное производство.

— Мельница?..— Иван Никитич беспомощно развел руками.— Да ведь она еще безрукая!

— А денег бы не было — не строили! — обрезал Сопронов.

— Нет, ты погоди! Ты с Павлом поговори, потом иди!

— Мне с ним говорить не о чем.— Сопронов пошел к дверям.— Счастливо оставаться.

И сильно хлопнул дверями.

Мужики ошарашенно глядели вслед Сопронову. Дедко Никита спрыгнул с места. Он затряс на дверь сухим кулачишком, рукав синей рубахи съехал на локоть:

— Супостат! — Сивая борода деда Никиты выставилась вперед, глаза горели за слезною старческой пеленой.— Супостат, вор, антихрист, прости господи. Спасе милостивый! От своего же вора, от своего же проходимца гибель приходит! Кому спасибо сказать?..

— Погоди, тятька! — оборвал старика Иван Никитич.— Дай хоть с умом собраться.

— А мало вам! — дедко Никита ястребом подскочил к сыну.— Что, дожили? Докатилися? Мохнорылые лежни! Пропойцы! Вот, расхлебывайте!

— Да кто пропойца-то, Никита Иванович? — не вытерпел Данило стариковской ругани.

— И ты молчи, Данило Семенович!

Дед Никита всхлипнул, со стуком упал перед образами на сухие колени, начал шептать что-то. Тощий кадык сновал под кожей жилистой шеи, бороденка свихнулась набок. Бабы приглушенно выли в верхней избе.

Павел ступил на порог и сразу все понял. Прошел от дверей, оглядел отца и тестя, сидевших на лавках. Дедко стоял на коленях, шептал что-то перед образами. Тоска и беспредельная боль за всех их сдавила Павлу нутро, он скрипнул зубами, скулы его напряглись. Он чувствовал, как стекленеют, наливаются холодом его глаза, как цепенеют ноги и руки. Но, с виду спокойный, он сел и хлопнул по колену смоляными однорядками:

— Сопронов приходил, что ли?

— Он, а кому еще? — у Ивана Никитича слегка дрожала губа.

— Сколько он преподнес?

— Да двести целковых, с хвостиком.

— Так...— Павел покачал головой.— А на Евграфа вон, говорят, еще больше... На Жучка тоже... столько же... Он рехнулся, видать.

— Так что делать-то будем? — спросил Иван Никитич.

Молчавший все это время Данило встал, подошел к окну.

— А вот что, Павло Данилович... Мое дело, конешно, сторона, а совет дам. Один выход — делиться...— Данило,

ободренный взглядом Ивана Никитича, продолжал: — Ты с Верой Ивановной переезжай ко мне в Ольховицу. Да и живите в верхней избе, пока время не установится. Мельница, пусть она за тобой числится, а налог со свата сразу скостят.

Павел хмыкнул:

— Тут скосят, там накинут?

— Ан нет, не накинут! — обрадовался Данило.— У меня-то семья красноармейская. Пока сын Василей служит, не накинут, есть такое установленьё.

...Павел сидел у стола, боялся взглянуть на Ивана Никитича. Сейчас, в эту самую минуту, решалась вся судьба мельницы, его судьба. Сколько снов приснилось от самого детства, сколько раз видел он наяву эту мельницу! И вот теперь, когда она, пусть еще бескрылая, стояла уже на угоре, когда столько вложено в нее ума и силы и столько пришлось пережить, передумать — все пойдет прахом. Все полетит, все развалится, и все от одной бумажки Игнахи Сопронова. И сейчас Павел молчал, боялся взглянуть на тестя... Все молчали. Откуда им было знать, что никто в Ольховской ячейке не считал Игнаху членом партии. И что партия тут ни при чем.

Дедко Никита, который незаметно поднялся с полу и слушал теперь свата, вдруг спокойно сказал:

— И мудрить нечего.

У Павла все словно оборвалось в груди.

— Вон и Никита Иванович согласный,— произнес Данило, а Иван Никитич уже искал глазами Сережку, чтобы позвать баб.

— Я гу, что и мудрить нечего! — Дедко повысил голос.— Ишь, делиться вздумали! Платить надо, а не делиться, истинно! А Пашку и так возьмут на действительную, может, и налог снимут. Худа без добра нету.

Павел не верил своим ушам. В который раз выручал его дедко, сколько раз не давал ему упасть духом, отступиться. Павлу хотелось обнять сухое дедково тело, расцеловать эту сивую бороду... Павел взглянул на отца, на тестя.

Иван Никитич дрожащей рукой пошарил по столешнице, сказал:

— Ну, авось проживем. Корову одну продать придется, а от нее и сено останется. Нет, сват, не станем делиться!

...Павел, не сдержав слез, вскочил, выбежал в сени, не

зная куда деваться. Он выдернул из-за планки топор, сунул за ремень и выбежал на улицу. Чтобы прийти в себя, он решил уйти в лес, поискать еловые курицы для подвесной мельничной лесенки.

* * *

В то утро председатель ВИКа Микулин опять проклинал себя за ошибку: не мог, пентюха, пораньше уехать в Ольховицу. И лошадь была, нет чтобы встать пораньше да и долой из деревни.

Он еще спал за шкапом, когда за ним прибежали от Северьяна Брускова, то бишь от Жучка, который, не долго думая, решил разделиться с отцом и сестрой.

Сестра Жучка, Марютка, по прозвищу Луковка, прибежала за председателем. Ядреная, но некрасивая, с косыней в глазах, похожая обличьем на овцу, она никак не могла выйти замуж. От этого много лет ходила с виноватым видом. Марютка любила отца Кузьму, но брат ее, Жучок, часто попрекал ее хлебом. Может быть поэтому она как будто даже рада была сегодняшней канители.

Микулин, недовольный, натянул за шкапом галифе, босиком прошел к умывальнику:

— Ну? Чего прибежала?

— Меня, Миколай Миколаевич, тятя послал! Беги, грит, скажи, чтобы пришел, пожалуйста. Делиться ладят.

— Передай, что сейчас приду.

Луковка проворно исчезла. Микулин надел рубаху и пиджак, по привычке нащупал в кармане печать. Мать сердито носила скотине пойло. Председатель решил сходить к Брусковым до завтрака. Накинул кепку и в одной гимнастерке, скрипя новыми сапогами, вышел на улицу.

Около Жучкова подворья скопилась небольшая толпа. Из дома слышен был крик, и Микулин опять недобром вспомнил Сопронова: «Ну, теперь будет мороки».

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался председатель.— Что за парад с утра?

— Парад! — Савватей Климов прокашлялся.— Пришел на парад, да и сам не рад.

— Что так?

Но Савватей не принял шутливого тона. Он отошел под черемухи к мужикам: там сидели на бревнах Судейкин, Новожиловы, Акимко Дымов, Кеша Фотиев и Ванюха Нечаев.

Бабы стояли отдельно, неподалеку.

Через дорогу правился дедко Петруша Клюшин, а с другой стороны торопился Евграф Миронов.

Микулин хотел было нырнуть от греха в Жучковы ворота, но бабы все сразу набросились на него:

— Это чево делается-то, Миколай да Миколаевиц?

— Нет, а ты, батюшко, остановись! Остановись!

— Ишь, лыжи-то навострил!

Ему волей-неволей пришлось остановиться.

В это время Марья, у которой осталась вчера нетронутая четвертинка, бросилась Микулину в ноги:

— Батюшко, ты пошто нас соришь-то?

— Встань! — Евграф рывком поставил жену на ноги и так тряхнул, что она сразу перестала вопить.— Ты что перед ним? Как перед богом... Ну?

Микулин растерянно пятился к воротам, бормоча: «Тише, товарищи, тише. Разберемся, тише». Воспользовавшись передышкой, он исчез в сенях, и все зашумели:

— Ишь! Ишь как он шнырнул-то!

— Налимом ушел!

— А чего Жучок-то, сразу и делиться?

— Жучок дело знает.

— Теперь хоть и с бабой делись. Бобылям жизнь.

В Жучковом дому послышался бабий крик, и Акиндин Судейкин, стоя в опорках на босу ногу, выставил ухо.

— Делятся! — сказал он.— Нашла коса на камень, кажись, до брюквы дошло. Лучину уж разделили.

— Нет, Акиндин, тамотка не одна лучина,— веско сказал Кеша Фотиев.— Ты-то не думаешь?

— А чего мне делить? — Судейкин потряс холщовой мотней.— Все хозяйство при мне, возьми его за рупь двадцать!

— Да ты списки-то видел ли? Там на тебя полторы сотни начислено,— сказал Акимко Дымов.— Погляжу вот, как будешь рассчитываться. Без Ундера-то. А то, вишь: жеребца обкарнал, теперь своими трясешь. Это тебе не песни выдумывать.

— То есть... Как так полторы? — опешил Судейкин.

— А так! Видел своими глазами.

— И я читал,— подтвердил Нечаев.— Точно, полтораста рублей.

Казалось, Акиндин Судейкин слегка растерялся.

— Мать-перемать! Он где сичас?

— Кто? Ундер или Игнаха?

Послышался невеселый смех, Акиндин, босой на одну ногу, подскочил к Дымову. Опорок остался в грязи.

— Ну, Сопронов! Он что, не знает, что я жеребца вылегчил?

— Не имеет значенья,— сказал Акимко.— Нынче все по-новому. Пусть и твой Ундер на кобыл скачет, отлынивать нечего. Мало ли у кого чего нет?

Акиндин Судейкин прыгнул прямо в грязь, сунул ногу в опорок и побежал. Куда побежал — никто не знал.

Савватей Климов покачал головой.

— Забегали! Зашевелились, распротак твою мать.

— А вот Орлов не долго думал.

— Чево?

— Корову Володе Зырину, куриц Тоньке-пигалице. Бабе приказ подал: очищай, говорит, избу...

— Чево говоришь не дело? Ох, стамоногой.

— Истинно!

— Клашку-то три раза водой отливали.

— А я, грит, что? Я, грит, в лесу заработаю больше.

— Господи...

— Вот тебе и господи. Разделиться — дурак сумеет, а вот ты так сделай! Чтобы однем разом...

— Воноко! Володя Зырин подъехал, сундуки вытаскивают.

Да, Орловы и впрямь вытаскивали сундуки. Это было так странно, так необычно, что многие сразу затихли. Даже невеселые шутки, обычные при других деревенских бедах, оказались сейчас не к месту, люди медленно осмысливали это событие. Как так? Бросить все, одним махом сняться с родного гнезда. Не веря глазам, люди медленно скапливались у орловского дома.

— Ну, Евграф Анфимович, а мы чего заведем? Что делать станем? — тихо заговорил Новожилов-младший.— Шутки-то шутками...

Евграф помолчал.

— Один у нас выход...

— Да какой?

— А Петьку Штыря искать...

— Гирипа, верно! — включился Савватей Климов.— Может, и выручит. Оп ведь около большого начальства...

— Да его в Вологде видели,— сказал Нечаев.

— Какая Вологда! В Москве Штырь!

— Нет, а я слышал, что уж не в Москве, в Ленинграде!

Так и не выяснив, где живет Штырь, они подошли к орловскому дому. Клашка, жена Орлова, уже усаживала на воз двоих ребятишек. Она заревела, обошла вокруг пустой, запертой на замок церкви и начала прощаться с бабами. Рев поднялся жуткий...

Орлов заколотил ворота, сунул топор в передок нагруженного узлами и сундуками одреца. И подозвал скопившихся вокруг ребятишек:

— Эх, мазурики! А ну, налетай, кому вяленицы!

Он раскрыл большое, плетенное из бересты лукошко, горстями роздал ребятам репную вяленицу:

— Ешьте, пукайте! Да глядите, хоть одно стекло выбьете, приеду, уши выдергаю!

— Не выбьем! Не выбьем!

— То-то, мазурики...

Он подкинул лукошко в воздухе и, к радости ребятни, так пнул по нему, что оно долго кувыркалось на тропке.

— Ну, а вы, мужики, лихом не поминайте... Даст бог, ворочусь...

Орлов обошел затихшую толпу, за руку распрощался с каждым и, чтобы не сделать чего-то лишнего, быстро подошел к возу. Володя Зырин, провожавший его, молча расправил вожжи, лошадь тронулась. Клашка взревела было опять, но из дома Новожиловых вышел Сопронов. Остановился, деловито оглядывая подводу. Его едва не задело оглоблей. Но он не отступил ни на шаг, с прищуром глядел и глядел на воз.

— Тьфу!

Затихшая Клашка изо всей силы плюнула ему в лицо. Плевок попал прямо в глаз и на щеку, Сопронов побледнел, но не сдвинулся с места. Когда Орловы отъехали, он вынул платок, обтерся и не спеша, вразвалку пошел под гору, к бане Носопыря.

— Плюют в глаза, ему божья роса! — сказал кто-то в толпе.

Подвода Орловых была уже в другом конце Шибанихи. За нею вдоль улицы, зябко дрыгая лапами, бежал кот. Порой он останавливался и громко мяукал.

— Кис-кис! — Савватей Климов, пробуя остановить кота, порылся в портах.— Куда наладился? Вишь, животное в сиротстве оставили...

Акиндин Судейкин на Ундере выехал на середину деревни. Он был пьян и, слезая с бывшего жеребца, еле-еле не сунулся в дорожную колею.

— Где Игнаха? Я ему, прохвосту, счас... счас покажу...

Он слез, встал покрепче и начал щупать между задними ногами мерина. Ундер, не желая связываться, отстранился, переставил на дороге свое большое тело, а Судейкин все щупал, щупал теперь уже один воздух.

— Где Игнаха?

Судейкину никто не ответил. Он пошел по дороге, остановился, широко расставил ноги в опорках.

Кеша Фотиев хихикнул:

— Вон идет, баба-то!

Судейкин, забыв про дремлющего мерина, пнул правой ногой, и опорок полетел в сторону жены. Повернулся и таким же путем пнул опорок в Кешу.

Павел с тоской глядел на все это. Горький комок наливался в горле, он глотал и никак не мог его проглотить. Скулы твердели снова и снова. Он отвернулся, пошел. Болела душа. Шутка сказать, двести рублей! За рожь закупочная цена нету и двух рублей, выходит, надо продать больше ста пудов ржи, чтобы заплатить один только налог. А ее и всего намолотится не больше шестидесяти. На все, и на кормежку, и на семена, и на продажу.

Он как будто даже с облегчением вспомнил, что в будущем году его очередь идти на действительную. Скорей бы служить... Он удивился таким мыслям: «На службу тороплюсь, вот до чего! Да что уж такое стряслось? Ну, ладно, я на службу, налог скинут. А куда податься божату Евграфу? Палашку-то на действительную не возьмут...

— Куда с топором-то, а, Данилович? — Павла окликнул Савватей Климов.— Ну-ко, подойди-ко поближе...

Павел подошел, сел со всеми на новожиловскую завалину. Дымов, Нечаев, Новожилов, Климов и еще человек с десять спокойных шибановцев обсуждали, кого послать на поиски Петьки Штыря.

— Он ему хвост наломает! Петька-то...— горячился Савватей Климов.

— Пошлем! Денег соберем и пошлем!

— Да кого пошлешь-то? Кешу вон не пошлешь...

После долгого разговора решили просить Степана Петровича Клюшина — книгочея и молчуна. Чтобы поехал в Москву, Павел посулил, что узнает у отца последний адрес Петрухи Гирина.

XVIII

Что думал сегодня кривой Носопырь, какие мечтания плыли через его косматую голову? В бане стоял полумрак, осеннее солнышко повернуло за угол. Запах остывших камней путался с кислым духом промокших с утра онучей. Носопырь сидел на полке, на расстеленной шубе, курил табак и жмурил здоровый глаз, шевелил пальцами костлявых ног.

Носопырь думал. Но что он думал? Никто никогда не узнает об этом. А может, он и совсем ничего не думал, курил, хрипел да шевелил пальцами костистых ног.

Баннушко давно перестал шалить, еще от самой весны. Видно, переселился в другое место. Сумка с красным крестом висела на гвозде без дела, уже никто больше не верил в Носопыря как в коновала и лекаря. Женитьба его тоже не получилась. И вот Носопырь как бог Саваоф сидел на полке в табачном дыму. Дым слоился и надвое делил полумрак бани, голова словно плавала над облаками, отделенная от сухопарого туловища. Наверно, Носопырю было все равно. Он давно уже не ведал ни горя, ни радости. Он даже не знал теперь, есть ли у него душа. Псалмы, которые он все еще пел по привычке, начали забываться, они путались в голове, и слова их перескакивали с места на место. Что было делать Носопырю? Иногда он с волнением и даже с какой-то радостью припоминал свое сватовство и особенно казанскую в Ольховице, когда шумела гроза и когда он целую ночь просидел в амбаре с дру-

гими шибановскими стариками. Это событие всегда вставало в его глазу ярко и со всеми подробностями, словно давнишний и молодецкий праздник...

Он заплевал и кинул к порогу размочаленный окурок цигарки, решил полежать и уже начал крениться на бок, но слух изловил какой-то шорох. Кому он понадобился?

Уж не баннушко ли воротился к нему, жалея нищего. Ведь сколько времени прожили вместе и не мешали друг дружке. Может, опамятовался да и воротился, а ведь добро было бы...

В предбаннике застучало, двери распахнулись. Сопронов, согнувшись чуть ли не вдвое, протолкнулся в баню. Носопырь долго глядел на него, узнавая.

— Жив, дедко? — спросил Игнаха.

— Жив, жив маленько-то,— Носопырь узнал Игнаху по голосу.— Курю вот, нет спасу.

— Ну, кури. А чего на ногах носишь?

— Да лапотки, Игнаша. Ошшо хорошие.

— Так вот, обуй-то свои лапотки да сходи к Тане.

— Пошто?

— По шти.— Сопронов подал Носопырю денежную бумажку.— Возьми вот. Да принеси потихоньку, чтобы люди не видели.

Носопырь догадался, у него сразу быстрее зашевелились ноги. В темноте зорко блеснул единственный глаз.

— Сделаю, будь без сумленья.

— Давай.

Носопырь в лаптях на босу ногу пошел на гору. Сопронов сел на полок, голова его разламывалась от неистовой боли. Он не заметил, как склонился на уступ второго полка и как провалился в тяжкий и вязкий мрак, бессонная ночь показала себя. Сопронов спал и видел опять тот же тягучий и жуткий сон: он ходит где-то в большой пустынной постройке. Нигде никого нет, он ходит и ходит, ищет себе место, чтобы прилечь и уснуть. Ему так хочется спать! Но он все ходит и ходит, не может, не умеет как бы прилечь, ему нигде нет этого места. Сердце его прохвачено какой-то болью, ему холодно и так жутко, что хочется закричать. Но он даже не может кричать и все ищет какое-то неуловимое, все время исчезающее место, где бы можно заснуть. Отдохнуть и забыться.

Голова давила виском на острую кромку полка, волосы его свесились, и нить тягучей слюны опустилась из края рта.

Носопырь стукнул дверью. Сопронов вздрогнул, проснулся, хотел вскочить, но не смог и только пробормотал:

— Что? Кто? Чего надо?

— Вот! — Носопырь, скрывая восторг, поставил бутылку на окно.— Закуски-то у меня... Ничего нет, кроме рыжиков.

— Давай рыжики,— Сопронов убрал бутылку с окна.

— Ну и хлебца есть, да, вишь, это... Не побрезгуй. Милостинки.

Сопронов не ответил. Носопырь в чайное блюдце наскреб рыжиков из кадушки, стоявшей в предбаннике. Сполоснул фарфоровую щелеватую чашку, подал Игнахе.

Сопронов за два удара вышиб ладонью пробку, нацедил Носопырю полную чашку:

— Алексей, как тебя... Пей!

Носопырь не стал дожидаться второго угощенья, взял. Он пил мучительно долго. Игнаха не мог на него смотреть и отвернулся, взял чашку, налил себе. Залпом выпил, сплюнул, зажевал горечь соленым рыжиком.

Носопырь раздвинул свою ветеринарскую сумку, потряс кусочками:

— Бери-ко любой, Игнатей! Какой на тебя глядит, тот и бери.

Сопронов схватил сумку и швырнул ее в угол. Носопырь, не обидевшись, сходил за нею, выбрал ржаной, уже засыхающий ломоть. Помакал в рыжики, поглядел на остаток в бутылке, не торопясь начал жевать:

— Скусно! Буди мед, ей-богу.

— А каково ходишь?

— Хожу. Ноги ошшо хорошие.

— Дак вот, слушай, чего в домах говорят.

— Чево?

— Слушай, говорю, чего в домах говорят! А после мне будешь рассказывать. Особо слушай в больших домах. В опушенных.

Носопырь все еще не мог взять в толк, чего от него хотят.

— Ладно, коли.

— Чего ладно? — Сопронов подвинулся ближе.— Ну, чего ладно? Ладно. Ты хоть понял, про што говорю?

— Да ведь... вроде бы понял. Рассказывать. Чего другие бают.

— Ну!

— ...особь в больших домах.

— Так! Так... Да смотри у меня, чтобы... пеняй на себя, ежели кому хоть слово пикнешь. Про што говорено.

Носопырь шлепнул себя по ляжкам:

— Игнатей! Мы ето...

— На! — Сопронов сунул Носопырю еще какую-то денежку.— Это на чай-сахар...

Носопырь уронил деньги, качнулся. Он хотел похлопать Игнаху по плечу, но не осмелился и запел:

Как на речке на белой дощечке
Девка платье мыла да громко колотила,
Сухо выжимала да на берег бросала.
Душечка-молодчик по бережку ходит,
По бережку ходит, близ волне подходит...

Сопронов отвернулся, глядя в окошко: «Черт! Сивый шкилет, еще и поет. Надо идти...»

Река светилась, холодная и словно уже застывшая. У самой бани, саженях в сотне отсюда, отражались в воде сваи моста. Сопронов прильнул к окну: по мосту, за реку, шел Павел Рогов. «Куда это он глядя на ночь? С топором. А вот поглядим куда».

Сопронов сразу же вспомнил роговский сеновал и ружье. Он дождался, когда Павел перейдет мост. Вышел из бани и встал в предбаннике. Песня охмелевшего Носопыря отвлекала, будто скоблила душу ненужными глупыми словами:

Душечка-молодчик, сшей мне башмачки
Из желтова песочку.
Душечка-девица, насучи-ко дратвы
Из дождевой капли.
Душечка-молодчик, сошей мне салопчик
Из макова цвету.
Душечка-девица, напряги-ко ниток
Из белова снегу.
Душечка-молодчик, скуй мне перстенечек
Посветлее звезды,

Где бы я ходила, тут бы воссияло.
Душечка-девица, напой добра коня
Среди синя моря.
На камушке стоя...

Игнаха оглянулся; нигде никого не было. Перебежал мост, бесшумно по скошенной луговине, прячась в кустах, он начал продвигаться за Павлом.

Листья падали с наполовину голых берез, отмякшие, они шуршали совсем глухо, еле слышимо. Земля поглощала звуки. Ветер, вздыхая, гасил шорох одежды. Сопронов бросками сокращал расстояние между ним и Павлом, приседал, прятался за кустами. Выбитые скотом тропы были удобны и просторны. Он не выпускал Павла из виду, все больше смелел и терял осторожность. Тот шел не быстро и не оглядываясь.

Азарт преследования все нарастал, заслоняя в Сопронове все остальное.

«Куда он идет? Ружье в сеновале, за ружьем...— мелькало в большой Игнахиной голове.— Ну, гад! Идет и идет...»

Сопронов окончательно убедил себя в своей правоте; надо изловить Рогова с ружьем, взять с поличным. Выпитое с Носопырем вино сделало его горячим и смелым. В груди жгло, поднималось что-то решительное: «Не уйдет, не выйдет!» Он сделал бесшумный прыжок, потерял из виду широкую спину. Затаился, настороженно выследил и снова сделал бросок. Теперь его охватило уже негодование и, как ему казалось, справедливая ярость преследования. Он тяжело дышал, сердце билось часто и сильно: «Сука! Кулацкая кость... Не уйдешь, не на того напал!»

...Павел давно, еще в поле, заметил Игнаху. Сначала ему не показалось ни смешным, ни странным то, что Сопронов вышел зачем-то в поле: «Чего это он? Видать, к яме картофельной». Вскоре Павел забыл о нем, пошел ближе к полянам. Там в молодом ельнике было легче всего найти еловые курицы-корни. Он любил ходить сюда. Лес всегда успокаивал, отодвигал куда-то сотни домашних забот. Снимая застарелую усталость в руках и в груди, лес нечаянно навевал дальние воспоминания. Вспомнились смешные и уже забытые случаи, дышалось легко. Никто не мешает тебе, как и ты никому не мозолишь глаза, не надоедаешь.

Переехав жить в Шибаниху, Павел уже привык к этим заречным лесным холмам, к этим покосам и сеновалам-сараям. Особенно любил он вот это место, с широкой роговской полянкой. Она покато уходила к реке. Сеновал стоял ближе к берегу, у края всегда даже в безветрие шепчущего осинника.

«Надо зайти, поглядеть сено,— подумал Павел.— Может, лоси повадились. А что ему надо? Игнахе-то? Идет от самого поля...»

Павел спиной чувствовал Сопронова. Ему стало интересно все это. Он решил не оглядываться, только слегка замедлил ход. Шаги сзади на секунду затихли. Павел пошел быстрее и понял, что Игнаха идет за ним. «Какого беса ему от меня надо? Не окликает, выслеживает. Будто зверя». От возмущения и гнева вспыхнули шея, щеки и уши. Противный брезгливый холод застрял между ключицами. Но ему тут же стало смешно: «Пусть... Погляжу, что из него выйдет. Как в галу играет, что маленький».

Павел подошел к сеновалу, не торопясь вынул из-за ремня топор, влепил в стену. Он хотел зайти в сеновал, посмотреть сено и уже повернулся было, как вдруг из-за угла растрепанной галкой выметнулся Сопронов.

— Стой, Рогов!

Павел хмыкнул. Хотел сказать: «Чего это ты?» Но кровь снова бросилась в лицо. От страшной обиды сделалось пусто в животе и в груди. Игнаха подвигался вдоль простенка туда, где был влеплен топор. Он был непохож на себя, перекошенный рот жевал, глаза бегали, а ноги как бы незаметно, шаг за шагом, продвигались к Павлову топору. Павел увидел это и тоже метнулся схватить топор. Лезвие блеснуло перед глазами. Павла обдало жаром...

— Не подходи, гад! — крикнул Сопронов, но от обиды Павел уже не помнил себя, прыгнул, сжал левой рукой ворот, а правой перехватил руку Игнахи, схватившую топорище. Они, тяжело дыша, прижались друг к другу, пытаясь завладеть топором. Павел сдавил запястье Игнахи, но тот сделал подножку, оба повалились на землю... Но Павел был сильнее, ему удалось схватить Игнахину руку и прижать его коленом к земле. Павел изо всех сил сжимал запястье, пока Игнаха не разжал руку, сжимавшую топорище.

— Сволочь... гад...— хрипел Игнаха, пытаясь рвануться, освободиться.

Павел вырвал и далеко в сторону отбросил топор, обеими руками схватил Игнаху за шиворот, поднял с земли и сильно встряхнул:

— Ты что, пьяный? Или рехнулся?

— Отпусти... бл... такая!!!

Павел, пересиливая в себе что-то страшное, притянул к себе Игнаху и долго глядел в бешеные, но жалкие, как у барана глаза. Он даже заметил белые комочки в углах Игнахиных век. Какое-то непонятное чувство брезгливости и презрения успокоило Павла.

— Дурак...— он оттолкнул от себя Сопронова.— Ну ты и дурак, Сопронов...

И вдруг сеновал и полянка перекувырнулись в глазах Павла. Звериная тошнотворная боль шибанула с низа живота в голову, стремительно опалила все тело. Сознание отделилось от Павла, он, корчась и словно скручиваясь, согнулся в поясе, присел. Все завертелось вокруг него. Новый удар в голову свалил Павла на влажную кошенину, но он катался не от этого удара, а еще от того, первого, нанесенного сапогом в самый низ живота... Казалось, он потерял сознание, но третий удар сапогом, в спину между лопаток, отрезвил его. Пересиливая боль и тягучую тошноту, он поднялся, устоял от четвертого удара кулаком в скулу и снова схватил Игнаху за ворот, начал наотмашь бить его по щекам, по скулам, потом отбросил его и прислонился к стене сеновала. Но Игнаха поднялся и бросился на Павла опять.

* * *

...Он бросался снова и снова, уже обессиленный, а Павел так же отбрасывал его прочь, стараясь не потерять что-то главное, что-то особенное. Но Игнаха, обезумев, опять бросался, и наконец Павел опять придавил его к земле.

— Сука...— Сопронов мотал головой.— Бл... Бей... Бей сразу... Не жалей, сука! Ежели не убьешь... я... я тебя убью все одно... Бей, говорю...

Павел вдруг оставил его и сел на траву: «Зверь... Пнул в пущее место... Зверь, нехристь... За что он ненавидит

меня? Зверь, он хоть кого зверем сделает, зверь, зверь.... Уйти, надо...— тошнота медленно проходила.— Убить велит... Убить? Человека убить... Да разве он человек? Убить... нет... это бога убить... Уйти...»

Игнаха поднялся на четвереньки, встал и, шатаясь, пошел в сеновал. Павел преодолел вновь нахлынувшую боль, тоже медленно встал:

— Ну, Игнатей... Гляди... Пускай судит тебя бог... Бог... А ты знай, никому не скажу... я...

Он поднял кепку, надел. И вдруг сделался белый как снег, волосы шевельнулись на голове. В проеме сеновала стоял Игнаха и целился в него из ружья.

— Молись своему богу, гад!

Ужас схлынул с Павла так же быстро, как охватил, душа словно бы раздвоилась, и было сейчас как будто два Павла. Один стоял на этой сенокосной полянке перед черным кружком ружейного дула, стоял весь липкий от холодного смертельного пота, стоял и ничего не чувствовал, кроме этого воздуха и спокойного вечернего леса. Другой же — вернее, его душа, словно бы наблюдала за этим Павлом со стороны...

Железный сухой звук передергивания затвора прозвучал удивительно буднично, как-то совсем по-домашнему. Тело, протестуя против всего, что происходило, страшно, недвижимо окатилось крещенским холодом, готовое броситься в ноги убийце. Но тот, другой Павел, словно бы усмехнулся и, издеваясь над первым, еще крепче поставил его на место. И все неслось перед ним бесшумной стремительной стаей: отец, мать, братья, деревенская улица в Ольховице, сосна на дальних покосах, Вера и белая, еще бескрылая мельница.

Сухой, отстраненный щелчок прозвучал в сеновале, дуло качнулось и опустилось.

Тишина разверзлась над Павлом. Она обвалилась со всех сторон, и ничего не было в мире, кроме осечки, ничего не случилось. О, какая радостная, какая необходимая и радостная была эта тишина!

Павел шатнулся, он был снова прежний, один. И тот, что только что был вне его, снова соединился с мокрым от холодного пота телом.

Он шагнул к Сопронову...

Безумный нутряной крик, не родив эха, затих над поляной.

Сопронов дрожал словно осиновый лист. Дрожал и пятился в глубину сеновала. Павел вырвал ружье, отбросил и кратко, но, как ему показалось, долго, очень долго поглядел в оловянные вращающиеся глаза. Но он не поймал их, они ускользали...

Павел повернулся и шагнул прочь. Радость из-за того, что он живет, и какой-то стыд из-за того, что он живет, и обида, и жалость ко всему живому на этой земле, и опустошающая вселенская горечь — все смешалось вокруг и в нем. Лицо его, обросшее щетиной, обрамленное на висках только что поседевшими волосами, нелепо и, как чудилось Павлу, по-дьявольски улыбалось..

Он вышел на взгорье, сел на бревнышко у картофельных ям, вытирая рукавом необлегчающие соленые слезы.

На другом берегу, там, за деревней, на возвышении роговского отруба, белела его мельница. Вечер, а может, уже и ночь стихали вокруг. Шибаниха таинственно и ехидно молчала под круглой, нечаянно ясной луной.

Содержание

Василий Иванович Белов

КАНУНЫ

Хроника конца 20-х годов

Редактор **Н. Суворова**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технический редактор **Л. Дунаева**
Корректор **М. Стрига**

Сдано в набор 12/V 1976 г. Подписано к печати 22/IX 1976 г. А 12769. Формат изд. 84×108$^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 17,93. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3175. Цена 73 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ваши отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — просим направлять по адресу:
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4,
издательство «Современник»